

Н. Я. Эйдельман

ГЕРЦЕН  
ПРОТИВ  
САМОДЕРЖАВИЯ



ГЕРЦЕН  
ПРОТИВ  
САМОДЕРЖАВИЯ



Нашими устами говорит  
Русь нарождающаяся,  
Русь вольная,  
юная, живая,  
скрывающаяся дома,  
но гласная в изгнании.  
Нашими устами говорит  
Русь мучеников,  
Русь рудников,  
Сибири и казематов,  
Русь Пестеля и Муравьева,  
Рылеева и Бестужева,—  
Русь, о которой мы  
свидетельствуем миру  
и для гласности которой  
мы оторвались от родины...  
Мы на чужбине начали  
открытую борьбу словом  
в ожидании дел.

А. И. Герцен

Н.Я. Эйдельман

ГЕРЦЕН  
ПРОТИВ  
САМОДЕРЖАВИЯ



Секретная  
политическая  
история  
России  
XVIII-XIX  
веков  
и  
Вольная  
печать



Издательство «Мысль»  
Москва 1973



9(С)1  
Э30

ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ

Э  $\frac{0164-0211}{004(01)-73}$ -79-73

© Издательство «Мысль», 1973

## ВВЕДЕНИЕ

«Велико насилие, но и протест громок, — писал А. И. Герцен, — бойцы... часто идут на галеры, скованные по рукам и ногам, но с поднятой головой, с свободной речью. Где не погибло слово, там и дело еще не погибло».

Данная книга посвящена слову — делу Герцена. В ней представлены исторические события от начала XVIII в. до 1870-х годов: речь пойдет о Пушкине, декабристах, Пугачеве, Радищеве, Фонвизине, крепостных крестьянах, военных поселниках, конституционных проектах, дворцовых переворотах и о многом другом. Столь пестрое разнообразие лиц и фактов соединено единством судеб: все «сошлись» в Вольной русской типографии Герцена и Огарева — замечательном центре русской культуры и свободной мысли, надежном убежище всего, о чем запрещалось толковать в тогдашней России.

В. И. Ленин писал, что благодаря Герцену «рабье молчание было нарушено»<sup>1</sup>. Конечно, подразумевалось молчание о многом и разном, но, в частности, и о важнейших событиях прошлого.

«Несколько любопытных материалов для уголовного следствия, начавшегося над петербургским периодом нашей истории» — так определял Герцен содержание одного из выпусков своей типографии. В «Полярной звезде», «Колоколе», «Исторических сборниках» и других свободных изданиях 1850—1860-х годов петербургское правительство было атаковано не только в его настоящем, но и в прошедшем, начиная с времен Петра I.

Борьба Герцена с самодержавием за обнародование важных исторических тайн, за «рассекречивание былого» и является основным содержанием данной работы.

Отказываясь от специального историографического обзора из-за историографического характера своего труда, автор не забывал двух потоков той громадной литературы, где разрабатывались важнейшие

---

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 21, стр. 259.

для этой книги проблемы. Речь идет, во-первых, о тысячах статей и книг, посвященных декабристам, Пушкину, политической истории XVIII—XIX вв.<sup>2</sup>; во-вторых, о множестве работ, в центре которых Герцен, Огарев и их вольные издания<sup>3</sup>. Однако совсем немного исследований находится, так сказать, на пересечении этих двух линий, где возникает тема — историческое прошлое в Вольной печати, или — лучше — взгляд на XVIII—XIX вв. через материалы Вольных изданий. Если говорить именно о таких работах, то кроме общих трудов на тему «Герцен-историк»<sup>4</sup> можно насчитать немного названий<sup>5</sup>.

В предлагаемой книге делается попытка разобраться в ряде герценовских сюжетов из секретной политической истории России, и в этом отношении она является органическим продолжением опублико-

<sup>2</sup> Впрочем, за последние годы было опубликовано сравнительно малое число работ, посвященных внутренней политике, правящим слоям, бюрократии XVIII — первой половины XIX в. Некоторые крупные эпизоды политической истории (например, 11 марта 1801 г.) освещены в основном статьями и книгами, вышедшими несколько десятилетий назад. Об этом говорилось не раз и во время дискуссии о генезисе русского абсолютизма, прошедшей в журнале «История СССР», 1968—1971 гг.

<sup>3</sup> Краткий обзор герценианы в связи с проблемой контактов Вольной русской типографии и России см. в заключении к моей книге «Тайные корреспонденты «Полярной звезды»» (М., 1966).

<sup>4</sup> В 1952 г. вышли две работы под одинаковым названием «Исторические взгляды А. И. Герцена»: статья С. К. Бушueva — в «Ученых записках» Московского университета (вып. 156) и В. Е. Иллерицкого — в «Вопросах истории» (№ 10). Точно так же называется и монография Н. М. Пирумовой (М., 1956).

<sup>5</sup> Из работ последних лет необходимо назвать статьи Л. Б. Светлова и Р. Е. Тереховой о мемуарах Екатерины II; Ю. Г. Оксмана, С. А. Рейсера, Е. Г. Бушканца — о нелегальной русской поэзии первой половины XIX в.; Е. Н. Дрыжковой, И. В. Пороха — о декабристах и Герцене; Ф. П. Гусаровой — о пушкинских публикациях «Полярной звезды»; И. А. Желваковой — о материалах «Исторических сборников Вольной русской типографии»; В. Р. Лейкиной-Свирской — о петрашевцах в Вольных изданиях; научные комментарии к факсимильным изданиям Вольной печати под рук. М. В. Нечкиной и наблюдением Е. Л. Рудницкой, а также некоторые другие исследования.

ванного в 1966 г. исследования «Тайные корреспонденты «Полярной звезды»». Однако даже в десятке книг такого объема, как эта, вряд ли бы разместился разбор всего потаенного прошлого, освобождавшегося вольным русским станком: по сути пришлось бы писать полную политическую историю XVIII—XIX вв., ибо мало о чем совсем не упоминали периодические издания Герцена и Огарева, связанная с ними печать П. В. Долгорукова, а также отдельные выпуски, где публиковались сочинения Радищева, Щербатова, запрещенные стихотворения, декабристские мемуары, записки Екатерины II и другие важные, прежде секретные, материалы, документы.

В результате эта книга сложилась как серия взаимосвязанных очерков: в центре каждого какое-либо «секретное событие», которое доводится до его появления в Вольных изданиях.

Каков же критерий отбора? Почему, например, говорится о декабристах, но нет главы о петрашевцах; много о «конституции Фонвизина—Панина» и только бегло упоминается проект М. М. Сперанского; немало об «открытии» Пушкина и ничего — о Лермонтове?

Два принципа казались автору существенными при отборе. Во-первых, отдавалось предпочтение тем эпизодам, в связи с которыми удалось выявить новые, архивные материалы. При работе над книгой обследовано несколько десятков архивных фондов, сосредоточенных в главных хранилищах Москвы, Ленинграда, Иркутска и других городов: Отделы рукописей библиотеки имени В. И. Ленина, Пушкинского дома, Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинградского отделения Института истории; Центральные архивы Октябрьской революции, Древних актов, Литературы и искусства; архивы Академии наук СССР и города Москвы, Центральный исторический архив и некоторые другие.

Во-вторых, обращалось внимание на типичность излагаемого сюжета. В данной работе, кажется, представлены все главные образцы рассекречивания: о жизни, настоящем положении народа в XVIII—XIX вв.; о крестьянских восстаниях, революционной

борьбе, а также о конституционном движении и иных формах сопротивления властям; о запрещенной литературе и других проявлениях освободительной мысли; наконец, о борьбе внутри правящей верхушки, тайных дворцовых переворотах.

Автор благодарит за помощь многих друзей и коллег.

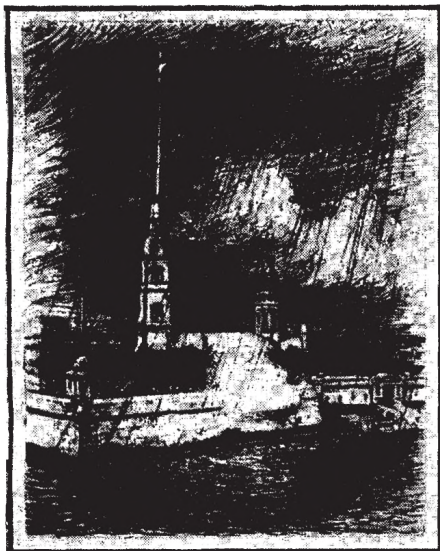
### СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- Г. — *А. И. Герцен. Собрание сочинений* в тридцати томах. М., 1954—1965.
- ИС — «Исторический сборник Вольной русской типографии в Лондоне», кн. I, II. Лондон, 1859, 1861.
- ЛБ — Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина. Отдел рукописей.
- ЛН — «Литературное наследство».
- П. — *Пушкин. Полное собрание сочинений*, т. I—XVII. М.—Л., 1937—1959.
- ПБ — Государственная публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина (в Ленинграде). Отдел рукописей.
- ПД — Институт русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский дом). Отдел рукописей.
- ПЗ — «Полярная звезда», кн. I—VIII. Лондон—Женева, 1855—1869.
- РИО — Сборники Русского исторического общества.
- ТК — *Н. Я. Эйдельман. Тайные корреспонденты «Полярной звезды»*. М., 1966.
- ЦГАДА — Центральный государственный архив древних актов.
- ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства.
- ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного управления СССР.
- ЦГИА — Центральный государственный исторический архив СССР.

Глава I,  
СКВОЗЬ  
ТРИДЦАТИЛЕТНЕЕ  
МОЛЧАНИЕ

Николай Павлович [...] держал тридцать лет кого-то за горло, чтоб тот не скавал чего-то...

Герцен



Петропавловская крепость  
(рис. Е. Лансере)

18 февраля 1855 г. в столичных газетах появился «Бюллетень № 1» о состоянии здоровья Николая I: «Его величество заболел лихорадкой[...] 13 февраля его величество выхода к литургии иметь не изволил».

В прибавлениях к тем же газетам, напечатанных в «последний час», был помещен «Бюллетень № 2»: «Лихо-

радка его величества к вечеру [17 февраля] усилилась. Отделение мокроты от нижней доли правого легкого сделалось труднее». На другой день, 19 февраля, появился «Бюллетень № 3» об усилении болезни, «что делает состояние его величества опасным». Затем «Бюллетень № 4» сообщал об «угрожающем его величеству параличном состоянии легких». 20 февраля новых известий не появилось. 21-го был опубликован манифест о кончине императора...

Между тем царь умер еще в день опубликования первого бюллетеня — 18 февраля пополудни (в Москву известие о его кончине поступило не из Петербурга, а из Западной Европы!). «Сей драгоценной жизни, — говорилось в официальном документе, составленном графом Блудовым, — положила конец простудная болезнь, вначале казавшаяся ничтожной, но, к несчастью, соединившаяся с другими причинами расстройства, давно уже таившимися в сложении, лишь, по-видимому, крепком...»

Смерть Николая была неожиданной почти для всех. 58-летний мужчина, громадного роста, демонстративно презиравший изнеженных и спавший на походной кровати под шинелью (стиль а ла Петр Великий; поэт Тютчев сказал, что у Николая «фасад великого человека»), человек, от зычного окрика которого падали в обморок и, случалось, даже умирали крепкие офицеры, он управлял Россией уже 30-й год и как будто не собирался прекращать это занятие. Однако явились «другие причины расстройства».

Дочь упомянутого выше статс-секретаря Д. Н. Блудова, Антонина Блудова, преданная династии мемуаристка, довольно верно констатирует причину мрачного настроения императора: «Крушение всего, что казалось так крепко основано, так свято утверждено»<sup>1</sup>.

Всю жизнь Николай I не сомневался в правильности всего, что он делал: в том, что отмена крепостного права большее зло, чем само крепостное право, что декабристов надо держать в Сибири — даже спустя четверть века после восстания, что внешние дела должно вести именно так, как они ведутся, что

<sup>1</sup> ЦГИА, ф. 711 (Д. Н. Блудова), оп. 1, № 35, л. 23—24.

другие державы не посмеют противиться его дипломатии и армии.

Министр и личный друг Николая граф П. Д. Киселев свидетельствует: «В последние месяцы [император] утомлялся, и, сколько ни желал преодолеть душевное беспокойство, оно выражалось на лице его более, чем в речах, которые при рассказе о самых горестных событиях заключались одним обычным возгласом: «Твори, бог, волю свою!»<sup>2</sup>

12 февраля 1855 г. курьер принес во дворец весть о поражении русских войск под Евпаторией. Приблизженные вспоминали, как бессонными ночами император «клат земные поклоны перед церковью», а в кабинете «плакал, как ребенок, при получении каждой плохой вести». В последние часы своей жизни он не пожелал выслушать новости из Крыма, содержащиеся в письме его младших сыновей Михаила и Николая. Только спросил: «Здоровы ли они? Все прочее меня не касается...»

Не успели в церквях отслужить панихиду по покойнику, не успели одни утереть слезы, а другие — тайком поздравить друг друга (в Петербурге шептали: «Христос воскрес!»), не успели лондонские мальчишки-газетчики растратить чаевые, полученные от эмигранта Александра Герцена за распространение сенсационной новости — «Impernikel is dead!»<sup>3</sup>, — не успело все это случиться, как начались толки, будто внезапная смерть императора была не чем иным, как самоубийством.

«Разнеслись слухи о том, — записал Добролюбов 3 октября 1855 г., — что царь отравлен, что оттого и не хотели его бальзамировать по прежнему способу, при котором, взрезавши труп, нашли бы яд во внутренних частях, что потому и не показывали народу лицо царя во все время, пока он стоял в Зимнем дворце [...] Но особенно замечательно, как сильно принялось это мнение в народе, который, как известно, верует в большинстве, что русский царь и не может

<sup>2</sup> Цит. по: Н. С. Штакельберг. Загадка смерти Николая I. — «Русское прошлое», 1923, кн. 1, стр. 60—62.

<sup>3</sup> «Имперникель умер!» (жаргонное «император Николай...»).



умереть естественно, что никто из них своей смертью не умер. Народ собирался перед дворцом густыми толпами и со смехом, с криком, с бранью требовал Мандта, доктора, который лечил царя. Не думайте, чтобы это было из приверженности, из любви к нему, нет, это просто из охоты *пошуметь*... Если бы Мандта выдали, народ, пожалуй, и разорвал бы его на части, но все-таки не более как для того, чтобы *потешиться* законным образом, не опасаясь того, что на толпу верноподданных вдруг наведут пушки и брызнут картечью... Мандта не выдали... Но народ едва ли не был прав в своем подозрении»<sup>4</sup>.

Герцен писал, что царь умер от «Евпатории в легких», и несколько раз намекал на самоубийство...

Перед лейб-медиком Мандтом закрыли двери всех аристократических салонов: его подозревали если не в убийстве, то в попустительстве самоубийству царя... Современники утверждали, будто Мандт тайно выехал за границу в наемной карете.

Все подробности последних дней Николая, разумеется, сразу стали государственной тайной и оттого — еще более двусмысленными. Власть, борясь со всяческими слухами, распространила много, даже слишком много, брошюрок о том, как царь мирно скончался, простившись с семьей и благословив своих подданных. Официальный свод фактов содержался в сочинении Д. Н. Блудова «Последние часы жизни императора Николая Первого», быстро переведенном на несколько европейских языков. О важности, которую придавала власть выдвинутой ею версии, свидетельствуют, между прочим, пометы и поправки нового царя Александра II на рукописи представленного ему сочинения Блудова<sup>5</sup>.

К строкам, например, где говорится, что умирающий император «поручил наследнику своему благодарить от его имени министров», Александр II приписал: «гвардию, армию, флот и в особенности геройских защитников Севастополя»; слова умирающего: «Смею думать, что я весь в боге» — Александр ме-

<sup>4</sup> Н. А. Добролюбов. Полное собрание сочинений в шести томах, т. IV. М., 1937, стр. 438.

<sup>5</sup> ЦГАДА, ф. 1274 (Паниных, Блудовых), оп. 1, № 644.

няет, убирая следы сомнений, — «смею думать, что...». Второму сыну, генерал-адмиралу Константину, Николай I завещал «все морские модели, телескопы и рупоры, медальный кабинет и собственную свою библиотеку [...], кроме секретной части, представленной царствующему императору». Выделенные строки Александр II зачеркнул.

В рукопись Блудова были внесены и другие поправки нового царя. О некоторых будет сказано ниже. Поправки, понятно, уточняли не то, что действительно говорил умиравший, но то, что он должен был бы сказать...

Официальным известиям, однако, не верили или не совсем верили, даже тогда, когда в них содержалась правда. Манифест объявлял о смерти от простуды, читатели же помнили, что задушенный Павел I умер «от апоплексического удара», а проломленный череп Петра III был «замаскирован» «геморроидальными коликами». Стоило несколько изменить принятый церемониал похорон Николая I, и последовал целый взрыв слухов, что это «неспроста». Официальной версии — «царь умер сам по себе» — противостояли слухи: «царь-самоубийца».

Какие-то важные подробности оказались в середине 1860-х годов в руках русской эмиграции. Недавно швейцарский исследователь С. Стеллинг-Мишо обнаружил письмо неизвестного лица (подпись неразборчива) к Герцену. Из содержания письма видно, что оно написано примерно в мае — июне 1865 г. и касается какой-то информации осведомленных лиц относительно смерти Николая I. Автор просит Герцена передать сообщаемые сведения другому издателью русской эмигрантской литературы — П. В. Долгорукову: обстоятельства, известные некоему господину Эмберу, очевидно, относятся к самоубийству царя — «факту, столь драгоценно увенчавшему 30-летнее царствование» (сообщено Е. Л. Рудницкой).

Материалы о смерти Николая I, по-видимому переданные Герценом П. В. Долгорукову, не отразились в печатных изданиях последнего: опубликованные «Записки Долгорукова» обрываются на времени Екатерины II, архив Долгорукова был захвачен в 1869 г. III отделением (об этом см. в главе IX).

И после того вопрос о «секретной смерти» Николая I не переставал привлекать внимание современников.

Известный историк-монархист генерал Н. К. Шильдер в конце XIX — начале XX в. начал составлять историю царствования Николая I. В свет успели выйти два больших тома. После революции были опубликованы еще некоторые материалы Шильдера — различные записи и конспекты, пометы на полях книг. Особое внимание привлекает помета в книге историка-царедворца Модеста Корфа. В том месте, где Корф констатирует: «Император Николай опочил от трудов своих смертью праведника», Н. К. Шильдер делает лаконичное замечание на полях: «отравился»<sup>6</sup>.

Только в 1914 г. в русскую печать проскользнуло маленькое, но интересное сообщение. А. А. Пеликан, дипломат и цензор, обнародовал в журнале «Голос минувшего» свои воспоминания. Когда Николай I умирал, мемуаристу было семь лет, но в ту пору дед его, Венцеслав Венцеславович Пеликан, занимал ряд важных должностей — председателя Военно-медицинского комитета, директора Медицинского департамента военного министерства и президента Медико-хирургической академии. Дед, проживший еще 18 лет, успел рассказать внуку интересные вещи. Лейб-медик Мандт был близким другом В. В. Пеликана: президент Медико-хирургической академии дорожил дружбой придворного врача, хотя к его профессиональному мастерству относился с некоторым недоверием. В Германии, откуда императрица вывезла Мандта, последний не пользовался никаким авторитетом, его новые методы лечения ни тогда, ни позже не были признаны наукой. «По словам деда, — пишет А. Пеликан, — Мандт дал желавшему во что бы то ни стало покончить с собой царю яду. Обстоятельства эти были хорошо известны деду благодаря близости к Мандту, а также благодаря тому, что деду из-за этого пришлось перенести кой-какие служебные неприятности [...] По указанию деда Венцлю Груберу [профессору анатомии в академии, прозектору знаменито-

<sup>6</sup> «Красный архив», 1925, т. 2(15), стр. 38.

го венского профессора Гиртля] поручено было бальзамировать императора [...]. Грубер был в житейском отношении человек весьма недалекий, наивный, не от мира сего. О вскрытии тела покойного императора он не преминул составить протокол и, найдя протокол этот интересным в судебно-медицинском отношении, отпечатал его в Германии. За это он посажен был в Петропавловскую крепость, где и содержался некоторое время, пока заступникам его не удалось установить в данном случае простоту сердечную и отсутствии всякой задней мысли. Деду, как бывшему тогда начальником злополучного анатома, пришлось оправдываться в неосмотрительной рекомендации...»<sup>7</sup>

Далее А. Пеликан рассказывает, что дед его один продолжал посещать и принимать Мандта после смерти Николая I. Позже, когда внук и его товарищи-студенты порицали Мандта за то, что он выполнил приказ царя и дал ему яду, дед возражал и объяснял молодежи, что император «нашел бы иной способ покончить с собой, и, возможно, более заметный», в случае неподчинения лейб-медика.

Свидетельство столь осведомленного лица, фактического начальника всей российской медицины, конечно, очень весомо. Н. С. Штакельберг, изучавшая уже после революции обстоятельства «секретной смерти» императора Николая I, пыталась обнаружить работу злополучного Грубера в немецкой печати того времени, но безуспешно. В то же время выяснилось, что бальзамирование Николая почему-то проводилось дважды, во второй раз — доктором Енохиным и профессором Нарановичем.

Обратимся к постоянному дневнику придворных событий — камер-фурьерскому журналу, тому самому «гоф-фурьерскому журналу», который был объектом герценовских насмешек («Его непременно надо запретить, потому что неприлично вести журнал о том, кто как ел и в котором часу...»). В журнале зафиксированы некоторые факты, усиливающие версию о таинственности кончины Николая I.

Прежде всего соответствующие записи в журнале вопреки обычному порядку сделаны задним числом,

<sup>7</sup> «Голос минувшего», 1914, № 2, стр. 120—121.

уже после смерти царя. Начиная с 13-го листа в журнале за февраль 1855 г. идут листы иного вида (более светлые), нежели 12 предшествующих: как раз на первой из страниц новой серии, под 9 февраля 1855 г., помещено и первое сообщение о болезни царя; под 12 февраля имеется запись, содержание которой дает возможность установить, что она внесена позже: «С сего числа государь император с докладом гг. министров принимать не изволил, но отсылал дела к его величеству государю цесаревичу»<sup>8</sup>.

Обратимся к черновым журналам, которые только после просмотра гофмаршалом или министром двора превращались в беловые<sup>9</sup>. В январе 1855 г. на каждый день отводится 1—2 листа, так что вся придворная хроника за этот месяц поместилась на 46 листах. Однако заглавие, находящееся перед первыми февральскими записями, подтверждает большую переделку черновых журналов «задним числом»: «Журнал камер-фурьерский о болезни, кончине, перевезении тела из Зимнего дворца в Петропавловский собор в бозе почившего государя императора Николая Павловича».

Далее следует связное, нехарактерное для камер-фурьерских журналов повествование о болезни царя, начавшейся с 27 января. На полях чернового журнала замечание карандашом: какой-то высокий начальник рекомендует камер-фурьеру разбить повествование по дням, придав ему обычный характер. 11 февраля тем же карандашом отмечено: «Тут надобно показать, когда прибыл курьер из Севастополя с известием дела при Евпатории».

Все это было учтено при создании белового журнала, где события в общем (но не вполне последовательно) разнесены по датам. Между прочим, при описании вскрытия тела царя (19 февраля) черновой журнал сообщал о присутствии «графа Адлерберга, гг. лейб-медиков Маркуса и Рейнгольда, лейб-хирур-

<sup>8</sup> ЦГИА, ф. 516, оп. 125/2382, 1855 г., № 2, л. 17 об.

<sup>9</sup> ЦГИА, ф. 516, оп. 34/1625, 1855 г., № 34. Эти документы изучены в цит. статье Н. С. Штакельберг. — «Русское прошлое», 1923, № 1, стр. 64—65.

Исследовательница пришла к выводу о некоторых странных обстоятельствах при составлении журнала.

га Енохина и доктора Карелля»; в беловом же журнале после того, как соответствующий текст был переписан, явно добавлено: «и был тут же некоторое время лейб-медик Мандт»<sup>10</sup>.

Н. С. Штакельберг справедливо заметила, что, согласно камер-фурьерскому журналу, состояние больного с 14 по 16 февраля улучшилось и резкое ухудшение 17-го, смерть 18-го кажутся внезапными.

Налицо противоречие: подмена листов журнала, изложение истории *post factum* должны были представить картину медленного, с конца января, нарастания болезни; сведения же об улучшении состояния больного незадолго до смерти, казалось бы, мешали этой версии. Однако не следует переоценивать «глубокого замысла» камер-фурьеров и гофмаршалов. При дворе царила немалая растерянность. Необходимость подменить листы сталкивалась, очевидно, и с хорошо известным в дворцовых кругах фактом ослабления болезни 14—16 февраля. Вслед за сравнительно оптимистической записью от 16 февраля внесены, один за другим, тексты всех четырех официальных бюллетеней о болезни и смерти императора.

Блулов в своем труде написал, в противоречие даже с камер-фурьерским журналом: «16-го опасность сделалась столь велика и очевидна, что бывшие при государе медики решились сказать о ней наследнику престола. Однако ж и на другой день поутру еще многие не знали о сей опасности. Даже один из докторов еще не переставал надеяться»<sup>11</sup>.

Александр II своею рукой переправил в этих строках «16-е» на «17-е» и вычеркнул выделенные слова. Блулов, вероятно, хотел ослабить элемент внезапности в кончине, перенести ее предысторию на сутки назад (16-е), однако новый царь не согласился: главные события — 17-го, в ночь на 18-е.

Нелегко теперь, больше, чем через столетие, представить во всех подробностях, что происходило во дворце в ту зимнюю ночь, когда в своих покоях метался умирающий самодержец и дворец был охвачен страхом перед настоящим и будущим.

<sup>10</sup> ЦГИА, ф. 516, оп. 125/2382, 1855 г., № 2, л. 68.

<sup>11</sup> ЦГАДА, ф. 1274, оп. 1, № 644, л. 8 об.



Кроме непроницаемых бюллетеней и оправдательной записки Мандта сохранились воспоминания, записанные неизвестным лицом со слов доктора Карелля, также лечившего царя. «17-го февраля он [Карелль] был истребован к императору Николаю ночью и нашел его в безнадежном состоянии и одного — Мандта при нем не было. Император желал уменьшить свои сильные страдания и просил Карелля облегчить их, но было уже поздно и никакое средство не могло спасти его...»<sup>12</sup>

Итак, суммируем неясные, порою загадочные факты: внезапность смерти; резкий перелом в состоянии больного 17 февраля (поправка Александра II в рукописи Блудова; камер-фурьерский журнал); подавленное настроение Николая I в связи с крымскими поражениями; свидетельства П. Д. Киселева и А. Д. Блудовой; свидетельство компетентного лица — В. В. Пеликана; утверждение Н. К. Шильдера; чрезмерные старания властей при создании нужной им версии события (в частности, подмена черновых и беловых записей в камер-фурьерском журнале).

Последний пункт может быть проиллюстрирован и еще одним прежде неизвестным фактом. Через два месяца после смерти царя, 21 апреля 1855 г., министр императорского двора В. Ф. Адлерберг отправил следующее «весьма нужное» и «секретное» (за № 599) послание министру народного просвещения А. С. Норову:

«Министр императорского двора [...] имеет честь сообщить высочайшую его императорского величества волю, чтобы появившаяся недавно в одной берлинской газете статья доктора Мандта о болезни блаженной памяти императора Николая Павловича не была допущена ни в переводе, ни в подлиннике к напечатанию в газетах, издающихся в России»<sup>13</sup>.

Министр народного просвещения тотчас разослал приказ по всем девяти учебным округам, повторив наивно «конспиративную» формулу о запрете статьи из «одной берлинской газеты».

Поскольку Мандт в разное время повторял одну

<sup>12</sup> «Русский архив», 1892, № 8, стр. 478.

<sup>13</sup> ЦГИА, ф. 772 (Гл. управл. цензуры), оп. 1, № 3558.

и ту же, близкую к официальной версию о предсмертной болезни Николая I<sup>14</sup>, надо думать, что в не разысканной пока статье берлинской газеты также сообщались подробности, в общем вполне безобидные, но несколько выходящие за пределы информации, дозволенной в ту пору российскими властями<sup>15</sup>. Реакция же властей на статью Мандта только содействовала распространению всяческих слухов о смерти Николая.

Недавно вышли два тома дневников А. А. Половцова, государственного секретаря Александра II. Кроме интересных свідетельств о политических событиях 80-х годов XIX в. Половцов зафиксировал несколько примечательных исторических фактов. Между ними есть и такая запись: «15 апреля 1883 года. Рассмотрение пакетов, оставшихся в кабинете покойного государя. Записка Мандта о последних днях императора Николая. Покойный государь Александр II постоянно высказывал против Мандта подозрения, в особенности ввиду режима, которому по его совету следовал в последние два года император»<sup>16</sup>.

Из этих строк следует как будто, что Николай погублен не ядом, а плохим лечением Мандта. Однако врач мог ведь сначала «не так» лечить, а потом не помешать самоубийству, и важен факт недоверия наследника к лейб-медику его отца.

Свою статью «Загадка смеоти Николая I», опубликованную в 1923 г., Н. С. Штакельберг закончила

<sup>14</sup> «Ночь с 17-го на 18 февраля 1855 г. Рассказ доктора Мандта». — «Русский архив», 1884, № 1, стр. 192—198; в примеч. указывается, что этот текст был изложен Мандтом в письме к близкому лицу за границу. См. также «Ein deutscher Arzt am Hofe Kaiser Nicolaus I von Russland. Lebens-erinnerungen von professor Martin Mandt. München und Leipzig, 1917 (2-е изд., 1923). Раздел «Смерть императора», стр. 473—490.

<sup>15</sup> Автор с большой пользой для себя ознакомился с чрезвычайно содержательной справкой на эту тему, составленной по просьбе отдела рукописей ЛБ сотрудниками Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина П. Богомоловой и С. Персон.

<sup>16</sup> «Дневник государственного секретаря А. А. Половцова», т. 1. М., 1966, стр. 81.



вопросом, допустимо ли предположение о самоубийстве Николая I, и ответила: «Да, допустимо».

Следует все же признать, что окончательного решения этого вопроса мы не имеем до сей поры. О таких фактах не оставляют документов, опасаются писать воспоминания. Однако исследователю, размышляющему над исторической загадкой, необходимо усиленно «охлаждать» себя доводами «против». Односторонний отбор фактов обманчиво ведет к результату, между тем как те же самые факты могут быть истолкованы иначе. Так, в истории кончины Николая I меры для сохранения тайны могли быть порождены обычным для самодержавия стремлением засекретить важное политическое событие, и многие подозрения современников и потомков — уже вторичный результат, прямо противоположный тому, к чему стремилась власть.

Выше уже говорилось, что вопрос о том, какой смертью умер Николай I, имел прямое отношение к политической и идеологической битвам того времени. Не случайно он привлек внимание Герцена и Добролюбова. Кроме рассекречивания еще одной правительственной тайны, тщательно скрываемой от страны, кроме уяснения еще одного обстоятельства, относящегося к болезни, разложению, смятению, кризису «верхов», в связи со слухами о таинственной смерти Николая вспоминали и о славно работавшем «законе исторического возмездия»...

То, что произошло 17—18 февраля 1855 г. в Зимнем дворце, важно для нашего повествования в двух отношениях: во-первых, это — «стереотип» российской политической тайны, сродни, например, 11 марта 1801 г., 28 июня 1762 г., и его разбор кажется уместным в начале рассказа о ряде подобных исторических «сокрытий» и «открытий».

Во-вторых, смерть Николая была одним из событий, ускоривших общественный подъем, крестьянскую реформу, появление органов Вольной печати и т. п.

«На другой или третий день после смерти Николая, — писал Герцен, — мне пришло в голову, что периодическое обозрение, может, будет иметь больше средств притяжения, нежели одна типографическая

возможность»<sup>17</sup>. В ближайшие годы Вольная печать Герцена — Огарева стала «силой и властью», по признанию даже недоброжелательного к революционерам Б. Н. Чичерина. Через три года, когда уже было объявлено о подготовке крестьянской реформы и проснувшееся общество делало первые попытки серьезно заговорить, Вольная русская печать была представлена тремя изданиями: «Полярная звезда» (в 1855—1857 гг. вышло три тома, в начале 1858 г. на выходе был четвертый); с 1 июля 1857 г. выпускался «Колокол» (8 номеров к февралю 1858 г.); с лета 1856 г. — «Голоса из России» (вышло четыре книжки). Потаенная история XVIII — первой половины XIX в. с самого начала была важнейшим сюжетом этих изданий. Читатель каждой «Полярной звезды», прежде чем прочесть в ней хоть страницу, видел обложку с силуэтами пяти казненных декабристов — напоминание о 13(25) июля 1826 г.

Уже одним этим объявлялась война официальной истории минувшего 30-летия, вызывались к жизни важнейшие события начала николаевского царствования, еще более засекреченные и запрещаемые, чем его последние эпизоды.

В манифесте Николая I, помеченном днем казни пятерых декабристов, говорилось, между прочим: «Горестные происшествия, смутившие покой России, миновались, и, как мы при помощи божией уповаем, миновались навсегда и невозвратно. В сокровенных путях провидения, из среды зла изводящего добро, самые сии происшествия могут споспешествовать во благое»<sup>18</sup>. Несколько документов о всем деле были «объявлены во всенародное известие» — приговор и обширное «Донесение следственной комиссии», а затем началось «тридцатилетнее молчание». Согласно официальной версии, молчание это было великодушно. В том же царском манифесте от 13 июля под-

<sup>17</sup> ПЗ, II, стр. 253. Об этом подробнее «Тайные корреспонденты «Полярной звезды»», стр. 7—9, 14—15.

<sup>18</sup> Манифест, как и другие главные документы о процессе декабристов, впервые после 1826 г. был перепечатан Герценом и Огаревым в книге «14 декабря 1825 и император Николай (по поводу книги барона Корфа)». Лондон, 1858.

черкивалось: «Склоняем мы особенное внимание на положение семейств, от коих преступлением отпали родственные их члены [...]. В глазах наших союз родства придает потомству славу деяний, предками стяжанную, но не омрачает бесчестьем за личные пороки или преступления. Да не дерзнет никто вменять их по родству кому-либо в укоризну: оне запрещает закон христианский».

В 1825—1855 гг. история 14 декабря если и затрагивалась в печати, то строго в рамках «Донесения следственной комиссии»<sup>19</sup> (такой была, например, известная апологетическая книга Н. Г. Устрялова «Историческое обозрение царствования государя императора Николая Павловича»).

После приговора делопроизводитель следственного комитета А. Д. Боровков составил для царя извлечение из декабристских дел — «Свод показаний членов злоумышленного общества о внутреннем состоянии государства», а также «Алфавит» — список всех мало-мальски замешанных лиц. Затем в 1827—1828 гг. дела декабристов были запечатаны и запрятаны в секретном архиве. Только в 1870—1880-х годах к ним были допущены официальные историки генералы Богданович, Дубровин и Шильдер; однако, когда Лев Толстой попытался воспользоваться архивными источниками для своей книги «Декабристы», ему было отказано. Первые значительные извлечения из тех документов появились лишь после 1905 г.<sup>20</sup>

Мысли о том, что нельзя рассказать правду о своих целях и борьбе, о запечатанных и запрятанных программных документах, беспокоили в ссылке многих декабристов. «Донесение следственной комиссии» в целом искажало истину путем тенденциозного умолчания о важнейших декабристских требованиях — отмене крепостного права, военных поселений, рекрутчины и др.<sup>21</sup> Не одному участнику событий приходила мысль, что нужно составить и распространить

<sup>19</sup> С. Гессен. *Декабристы перед судом истории*. Л.—М., 1926.

<sup>20</sup> М. В. Довнар-Запольский. *Мемуары декабристов*. Киев, 1906; В. И. Семевский. *Политические и общественные идеи декабристов*. СПб., 1909.

<sup>21</sup> М. В. Нечкина. *Движение декабристов*, т. 2. М., 1955, стр. 395—396.

истинную версию событий, чтобы дело не было забыто.

Первую серьезную попытку написать декабристскую историю декабря сделал, как известно, Лунин при помощи Никиты Муравьева и Громницкого. В 1836—1840-х годах Лунин подготавливал ряд важных работ, две из которых прямо относились к истории революционных обществ — «Разбор донесения тайной следственной комиссии в 1826 году» и «Взгляд на тайное общество в России». Когда донос известил власти об этих секретных работах, их автор был отправлен в Акатуйскую каторжную тюрьму, где и умер при неясных обстоятельствах в 1845 г. Списки сочинений Лунина попали в руки нескольких декабристов (Волконский, Пущин, Якушкин, Муравьев-Апостол) и нескольких сибирских интеллигентов, однако, судя по всему, в 1840-х годах эти работы не попали к мыслящей молодежи Москвы и Петербурга.

Известно, что арест Лунина привел к уничтожению нескольких уже начатых декабристских воспоминаний. Большая часть мемуаров составлялась только после амнистии 1856 г., исключений немного: записки и заметки М. А. Фонвизина, записки Ф. Ф. Вадковского о восстании Черниговского полка, воспоминания Николая Бестужева о Рылееве и 14 декабря...

Громадная внутренняя работа и сохранение написанных воспоминаний поддерживали в те годы дух многих осужденных, рассеянных по Сибири и Кавказу. Они сумели рассказать о себе неширокому, но примечательному кругу собеседников: вспомним впечатления юного Н. П. Огарева от встреч с декабристами на Кавказе<sup>22</sup>. Чтобы громко зазвучать с конца 1850-х годов, все это должно было сохраниться в 1830—1840-х годах.

Кроме воспоминаний главных участников восстания 1825 г. накапливались также рассказы тех лиц, которые либо избежали ареста, либо после сравнительно легкого наказания вернулись из крепости. Так, А. А. Тучков, отпущенный на свободу после допросов в Следственной комиссии, был для своих

<sup>22</sup> Н. П. Огарев. Кавказские воды. — «Полярная звезда», кн. VI, Лондон, 1861, стр. 338—358.

родственников и друзей — Герцена и Огарева живым вестником о людях, обреченных на изгнание, так же как М. И. Пущин, Б. К. Данзас, В. П. Зубков, без сомнения, рассказали Пушкину о своих очных ставках с И. И. Пушциным и другими друзьями...

Итак, правительство владело запретными декабристскими документами, декабристы владели тайными воспоминаниями. Была и третья, очень узкая, «подводная», тропа к истине — осведомленные доброжелатели.

Большинство доброжелателей, от юношей вроде Герцена до друзей вроде Пушкина, почти не имели источников информации, кроме официальных документов, рассказов немногих уцелевших, случайных вестей из Сибири, слухов... Примеры такого общественного сочувствия хорошо известны<sup>23</sup>. Большинство осведомленных были преуспевшими правительственными чиновниками, и очень редким, конечно, было совпадение знания о событиях 14 декабря и того сочувствия, которое заставляло бы знающего взяться за перо, как это произошло с упомянутым А. Д. Боровковым и другим чиновником Следственного комитета — А. А. Ивановским, прежде близкими ко многим декабристам и равнодушными к их участи<sup>24</sup>.

Основная часть известных нам ранних попыток нарушить заговор молчания о 14 декабря относится к 1840-м годам: после длительного шока наступило оживление общественной мысли, появилось новое поколение думающих людей, сами декабристы, выйдя на поселение, могли больше писать и говорить, печатается ряд сочинений за границей, так или иначе затрагивающих историю 1825—1826 гг.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Н. Пиксанов. Дворянская реакция на декабризм. — «Звенья», т. II. М.—Л., 1933.

<sup>24</sup> «Автобиографические записки А. Д. Боровкова». — «Русская старина», 1898, № 9—12; об Ивановском — «Русская старина», 1874, № 2, стр. 392—393; 1892, № 5, стр. 292.

<sup>25</sup> Н. Тургенев. Россия и русские. Париж, 1847 (фр. яз.); русск. пер. М., 1907; А. де Кюстин. Россия в 1839 г. (русское сокращ. издание под названием «Николаевская Россия». М., 1930); Л. В. Крестова. Движение декабристов в освещении иностранной публицистики. — «Исторические записки», т. 13. М., 1942. О первых русских заграничных публикациях

Все это рано или поздно должно было вызвать какие-то разъяснения, публикации верховной власти. «Донесение следственной комиссии, — писал позже Герцен, — приходит в забвение, его трудно достать в России». Этот документ, по мнению Искандера, было необходимо «протвердить молодому поколению»: «Пусть оно посмотрит на эти сильные и могущественные личности, даже сквозь темное сердце их гонителей и судей, — и подумает, что же они были, когда и такие живописцы при всем желании не умели исказить их благородных черт» (Г. XIII, 70)<sup>26</sup>.

Новые работы появились не сразу. История восшествия на престол занимает основное место в воспоминаниях, начатых Николаем I, однако они велись в глубокой тайне. В то же время отсутствие исторических работ как бы бросало тень на начало его царствования: таинственность, сколь ни полезна деспоту, всегда отчасти бьет и по нему самому. Выход был найден в том, чтобы подготовить некоторые исторические материалы, которые царь мог бы утвердить как версию для будущих поколений.

Таков был фон появления книги статс-секретаря барона Модеста Корфа «Восшествие на престол императора Николая I», с которой в свое время вступит в бой Вольная печать Герцена.

В условиях бюрократической тайны роль специалистов типа Корфа сильно возрастает. Однокашник Пушкина по Царскосельскому лицей М. А. Корф сделал блестящую карьеру вследствие своего верно-подданнического официального образа мышления и в то же время благодаря отличному знанию государственных учреждений, а также «секретной истории». Незадолго до смерти А. С. Пушкин консультировался с ним по поводу своих работ над историей Петра. Корф прислал столь большой список неизвестных материалов, что вызвал у Пушкина восторженное изумление. «Вчерашняя посылка твоя, — писал поэт

---

см. В. Сливовская. В кругу предшественников Герцена. Вроцлав, 1971 (польск. яз.).

<sup>26</sup> Здесь и далее ссылки на издание А. И. Герцена (Собрание сочинений в тридцати томах. М., 1954—1965) даются прямо в тексте с сокращенным указанием автора (Г.), тома и страницы.



14 октября 1836 г., — мне драгоценна во всех отношениях и останется у меня памятником. Право, жалею, что государственная служба отняла у нас историка. Не надеюсь тебя заменить [...]. Какое поле — эта новейшая русская история! И как подумаешь, что оно вовсе еще не обработано...»

Впоследствии Корф явился инициатором и автором нескольких исторических работ, порожденных его монополией на недоступные документы о прошлом. Само выявление и собирание различных книг и рукописей о России, так же как последующая деятельность Корфа в качестве директора Публичной библиотеки, объективно имели, конечно, положительный характер для науки. Организованное Корфом собрание иностранной литературы о России, «Россика» Публичной библиотеки, является ценнейшим подспорьем и для современного историка, филолога. Однако именно монополия Корфа (так же как Блудова и других правительственных лиц) на важные исторические материалы была основой для тенденциозного искажения событий, пусть осуществленного преимущественно путем умолчания о важных фактах.

Историю своей книги, а также источники к ней Корф кратко проанализировал во вступлении к работе. В официальном духе он говорит, что стремится «восстановить факты в их чистоте и вместе восполнить для будущего историка России такой пробел, которого не простило бы нам потомство». Корф обосновывал необходимость своей книги тем, что «иностранцы, говоря о России, часто ошибаются даже и тогда, когда хотят быть правдивыми, а русские писатели ограничены условиями сколько необходимой, столько же и благодетельной в общественном нашем устройстве цензуры. Притом в событиях политических частные лица знают большей частью только внешнюю сторону, одни признаки или видимое проявление предметов, так сказать, только свое, тогда как в делах сего рода главный интерес сосредоточивается часто на тайных их причинах и на совокупности всех сведений в общей связи. Наконец, есть подробности, которые, таясь в неоглашенных государственных актах или сохраняясь в личных вос-

поминаниях самих деятелей, недоступны для массы»<sup>27</sup>.

Между прочим, именно эти вступительные строки, как и ряд других выражений Корфа, позже подверглись резкой критике Огарева, отметившего подобострастный к высоким особам тон и апологию цензуры.

Главные свои источники Корф разделил на десять категорий (1848 г.) и еще семь прибавил в 1854 г. Он основывался на воспоминаниях и документах примерно двадцати лиц (не считая собственных заметок и некоторых безымянных свидетельств). Среди этих лиц — четыре особы царствующего дома (Николай I, императрица Александра Федоровна, великие князья Константин Павлович и Михаил Павлович). Почти все остальные свидетели Корфа — персоны в ранге министров, генерал-адъютантов, генералов (А. Н. Голицын, М. М. Сперанский, П. М. Волконский, А. И. Чернышов, А. Ф. Орлов, В. Ф. Адлерберг, Л. А. Перовский, митрополит Филарет и др.). Кроме того, Корф пользовался официальными актами следственной комиссии, Верховного уголовного суда, Государственного совета, материалами камер-фурьерских журналов и др.<sup>28</sup>

Даже анализ опубликованного вступления в книге Корфа любопытен для историка и историографа: здесь неплохо показаны стимулы создания и продвижения в свет такого рода сочинений. Однако в печатном издании Корф, понятно, не открыл всех глубинных связей, деталей того, «как это делается». Поскольку же мы имеем дело с определенным общественным полюсом, противостоящим главным героям нашего повествования, постольку необходима и важна «тайная история книги», не попавшая к ней в предисловие.

Обширные материалы для суждения на эту тему дает «Историческая записка о происхождении и издании книги «Восшествие на престол императора Ни-

<sup>27</sup> М. А. Корф. Восшествие на престол императора Николая I, изд. 3 (первое для публики). СПб., 1857, стр. VIII.

<sup>28</sup> О книге Корфа и отношении к ней русского общества см. И. В. Порох. Герцен и революционная традиция декабристов. — «Из истории общественного движения и общественной мысли в России», Вып. 2, Саратов, 1968, стр. 55—84.



колая I»», сохранившаяся в архиве Корфа. По содержанию ее видно, что она составлялась в конце 1857 — начале 1858 г. на основании дневниковых записей последнего десятилетия и под непосредственным впечатлением контрударов Вольной печати Герцена. При этом автор еще раз обращается к 10-летней предыстории событий: Корф начал собирать материалы о событиях 14 декабря еще в 1830-х годах, так как по службе в его руках бывали разнообразные секретные документы. Между прочим, в 1839 г., после смерти М. М. Сперанского, именно Корф разобрал его бумаги и нашел там «небольшую памятную записку о 1825 годе».

Осенью 1847 г. Николай I поручил статс-секретарю прочесть курс законоведения второму царскому сыну — великому князю Константину Николаевичу. К каждой теме Корф составлял Записки (т. е. предварительный план, конспект) и, «когда они касались предметов сколько-нибудь щекотливых, в особенности же истории отечественных установлений, подносил сперва из собственной осторожности на предварительный просмотр и одобрение государя»<sup>29</sup>.

Записки Корфа заинтересовали наследника, будущего Александра II, который в беседе с историком (6 января 1848 г.) посоветовал объединить отдельные фрагменты в книгу о 1825 г. «Таким образом, — сказал великий князь, — у нас будет самое достоверное целое, если не для современников, так по крайней мере для потомства»<sup>30</sup>.

Итак, высшая власть заказывает свою историю: наследник — инициатор книги Корфа... Воодушевленный статс-секретарь сделал первый вариант книги за 3—4 дня, представив его Александру 10 января 1848 г., в целом же закончил труд за 18 дней.

По воспоминаниям Корфа хорошо видно, как из дела «семейного, частного» история 14 декабря быстро превращается в нужный, секретный государственный документ.

19 февраля 1848 г. уже сам царь говорил с Корфом о его работе, сожалея, что вовремя не все запи-

<sup>29</sup> ПБ, ф. 380 (М. А. Корфа), № 1998, л. 1 об.

<sup>30</sup> Там же, л. 7.

сывал: «... но жена записывала и обещает показать свои записки». Однако через два дня в Петербург пришла весть о февральской революции в Париже. «Мой труд, — вспоминал Корф, — обратился в древнюю историю, у которой новейшие происшествия отняли всякий интерес и всякое значение [...] стал чем-то вроде высыхающей лужи перед волнуемым бурей океаном»<sup>31</sup>.

Возможно, бури 1848 г. отбивали у власти всякую охоту вспоминать о похожих событиях 1825 г. Во всяком случае, напоминания Корфа о заказанном труде вдруг перестали интересовать высочайших особ. «Цесаревич выслушал меня и принял мою мысль с таким хладнокровием, как если бы ему предложили пройти по комнате. Все сочувствие исчезло [...]. О розовых надеждах, возникавших было от работы собственно для меня, разумеется, уже не могло быть более речи»<sup>32</sup>.

Однако статс-секретарь, дожидаясь перемены настроения в Зимнем дворце, продолжал свою историю и собрал воспоминания о 1825 г. у нескольких государственных персон. Осенью 1848 г. дела историка улучшились. В гости к Николаю I приехала его сестра, вюртембергская принцесса (позже — королева) Ольга Николаевна. Возможно, привыкнув в Германии к несколько большей гласности, Ольга Николаевна первая высказалась за напечатание сочинения Корфа маленьким тиражом, «для своих».

Корфу казалось, что Николай I не захочет публикации «из скромности»: ведь рукопись представляла роль царя в очень выгодном, лестном виде. Однако через несколько дней после начала нового тура переговоров, 2 декабря 1848 г., наследник уже передал Корфу высочайшую волю о напечатании 25 экземпляров книги.

Как водилось в подобных случаях, книгу набрали в типографии II отделения Собственной его императорского величества канцелярии. За две недели все было выполнено, и 15 декабря автор вручил наследнику для передачи царю все 25 книжек, называвших-

<sup>31</sup> Там же, л. 15.

<sup>32</sup> Там же, л. 16.

ся тогда «Историческое описание 14 декабря и предшедших ему событий». Тут фортуна улыбнулась Корфу: «цесаревич дважды обнял меня»; на другой день, 16 декабря, историка пригласили на обед к государю. Николай I благодарил, его родственники «много распространялись о сочинении», 17-го Корф обедал у цесаревича...

Позже, однако, пришли некоторые критические замечания. Царь, видимо, был действительно доволен и нашел сначала только одну ошибку: казарма лейб-гренадерского полка была 14 декабря не на Выборгской стороне, как писал Корф, а на Петербургской. Зато великий князь Михаил Павлович рассердился на упоминание об его разговоре с братом перед 14 декабря: Михаил говорил тогда об опасности отречения Константина и второй присяги: *«Когда штабс-капитана производят в капитаны, это в порядке и никого не дивит; но совсем иное дело — перешагнуть через чины и произвести в капитаны поручика. Как тут растолковать каждому в народе и в войске эти домашние сделки и отчего сделалось так, а не иначе»*<sup>33</sup>.

Увидя, пусть колеблющийся, интерес верхов к теме, Корф просил критических замечаний примерно у сотни читателей 25 экземпляров и находил, что «нужно работать, пока не доищусь и не исчерпаю всех доступных мне источников»<sup>34</sup>.

Понятно, он имел в виду официальные, правительственные источники, вовсе не предполагая как-то отразить мнение другой стороны — самих декабристов...

23 января 1849 г., через месяц после завершения первого издания, расторопный историк уже приготовил обновленный текст, который отправился к «главному редактору» — Александру, а от него к Николаю I. Последовали новые поправки и пожелания. Между прочим, о материалах, представленных генерал-адъютантом Башуцким, Николай I и А. Ф. Орлов отозвались, что тот «все наврал и выдумал»;

<sup>33</sup> Там же, л. 26 об. Этот разговор в сильно сокращенном виде появился в 3-м издании книги Корфа, стр. 75—76.

<sup>34</sup> ПБ, ф. 380, № 1998, л. 30 об.

прочитав воспоминание генерала Сухожанета о том, что 14 декабря на площади были холостые выстрелы, царь, как известно, отозвался: «...кончено пятью выстрелами, но действительными и решительными». Тут Корф намекнул царю, что хотел бы иметь для нового издания частную переписку членов императорского дома и некоторые секретные бумаги. Николай отвечал: «Переписку нашу мудрено собрать, не знаю где»<sup>35</sup>. Между тем главные письма 1825—1826 гг. находились, конечно, в Зимнем дворце, но царь, возможно, не желал их показывать, опасаясь открытия некоторых нежелательных подробностей (отношения с Константином, страх перед завтрашним днем и т. п.)<sup>36</sup>. Некоторые же новые секретные бумаги Корф получил после кончины Михаила Павловича (в том же 1849 г.) и из других источников.

Рассказывая о подготовке второго издания, Корф умалчивает о том щекотливом обстоятельстве, что именно в это время он был активнейшим деятелем в одном из худших николаевских цензурных учреждений — «Бутурлинском комитете» и, по словам ядовитого придворного остроуслова князя А. С. Меншикова, «из косвенного доносчика сделался явным...».

Запреты на всякие упоминания о прежних бунтовщиках еще более усилились, и Корф усердно наблюдал за их выполнением, при этом сохраняя исключительные права официального тайного историографа.

Когда другой исследователь — Висковатов, писавший историю Измайловского полка, хотел ввести в свой труд некоторые подробности (конечно же, благонамеренные) о 14 декабря, Корф наложил вето: «Многое сказать в ней [книге] едва ли можно, а сказать только кое-что, выборочного, неудобно»<sup>37</sup>.

Цензурные холода замедляли в конце концов даже второе издание корфова трула. Было собрано уже немало нового, но требовался очередной всплеск интереса высших особ к этим сюжетам.

<sup>35</sup> Там же, л. 33.

<sup>36</sup> Сб. «Междоцарствие 1825 года и восстание декабристов в переписке и мемуарах царской семьи». М.—Л., 1926.

<sup>37</sup> ПБ, ф. 380, № 1998, л. 41 об.

Только в конце зимы 1853 г. наследник сказал автору о необходимости нового издания: очевидно, была потребность утвердить выгодную для Романовых версию в умах узкого, но влиятельного круга читателей.

18 марта 1853 г. Корф представил текст, но опять события мешают — Крымская война...

Лишь в феврале 1854 г. вышло второе секретное издание (Огарев позже смеялся над терминологией Корфа: «Как будто можно назвать изданием то, что не издано для публики! Что держится в секрете, не есть издание [...] Что это — неуважение к публике или непонимание слов?»<sup>38</sup>).

Сочинение 1854 г. имело 290 страниц (против 168 в 1848 г.) и называлось «Четырнадцатое декабря 1825 года»<sup>39</sup>.

К концу «тридцатилетнего молчания» материалы о секретных событиях, как и прежде, накапливались втайне, в недрах противостоящих общественных партий. Ссылные декабристы и носители передовых идей середины века не знали о труде Корфа; Корф не знал и вряд ли хотел знать о тайных попытках ссыльных и осужденных составить свою историю событий.

Однако пройдет немного времени, и борьба вокруг «памяти кровавой» выйдет наружу и сделается важным элементом общественного подъема, начавшегося после смерти первого врага декабристов.

<sup>38</sup> «14 декабря 1825 и император Николай». Лондон, 1858, стр. 205.

<sup>39</sup> Подготовительные материалы и документы к книге см. ПБ, ф. 380, № 55—58, а также обзор Н. С. Егорова. «Архив графа М. А. Корфа». — «Дела и дни», кн. 1. Пг., 1920, стр. 432—436.

Глава II.  
«НЕ ВРЕМЯ ЛИ  
ТЕПЕРЬ?..»

Ведь не посредством же немоты, инквизиции, ссылок и кнута могут совершаться реформы!

Герцен



Силуэты казненных декабристов  
с обложки «Полярной звезды»  
А. Герцена и Н. Огарева

На второй день после смерти Николая I Корф писал его сыновьям об истории 14 декабря: «Не время ли теперь [...] огласить эту повесть перед целою Русью?» Александр II ответил: «Теперь еще не время»<sup>1</sup>.

Николай I пережил 65 декабристов, но 56 декабристов пережили его (речь идет о революционерах, пре-

<sup>1</sup> ПБ, ф. 380, № 1998, л. 47.

данных Верховному уголовному суду с разделением на «разряды»).

Через полтора года, на коронации, последовала амнистия оставшимся в живых декабристам. Корф утверждает, будто он решил, что «этим положен вечный уже надгробный памятник» над его сочинением<sup>2</sup>. Между тем общее оживление в стране и появление «Полярной звезды» делало декабристские сюжеты современными и злободневными.

Первые с трудом добытые декабристские документы Герцен, однако, предварял следующим признанием: «Мы далеки от того, чтоб считать наш труд полным или оконченным. Совершенный недостаток материалов чрезвычайно ограничил нашу работу. А потому мы обращаемся с просьбою ко всем русским, хранящим в сердце память мучеников и героев 14 декабря, доставлять нам всякого рода сведения и подробности, могущие войти в Исторический сборник или в монографию об этом времени. Все частные события, анекдоты, письма, записки, относящиеся до них, драгоценны для нас, для потомства, для России, все это — достояние истории и не должно затеряться в рукописях. Дайте нам право нашим станком закрепить за историей и спасти от забвения или утраты рассеянные документы!» (Г. XIII. 70).

Еще за три месяца до амнистии, в мае 1856 г., вторая книга «Полярной звезды» обнародовала цикл запрещенных стихов, среди которых декабристские сочинения Рылеева, Пушкина. В третью же книгу попало первое из опубликованных декабристских воспоминаний — статья «Семеновская история», к созданию которой были, очевидно, причастны М. И. Муравьев-Апостол и И. Д. Якушкин<sup>3</sup>.

Известно, какое впечатление на многих мыслящих или начинавших мыслить произвели декабристы, возвращавшиеся из Сибири, каким значительным общественным событием было даже краткое пребывание в столицах И. И. Пущина, М. И. Муравьева-Апостола, И. Д. Якушкина, С. Г. Волконского. 23 ноября 1859 г. В. И. Штейнгель писал Г. С. Батенькову:

<sup>2</sup> Там же, л. 48.

<sup>3</sup> ТК, глава III.



«Совершенно согласен с тобою, что в подведении итогов видится много утешительного [...] Все это развитие идей, подымание вопросов, гуманных стремлений по пути к прогрессу мне кажутся обаянием, чтобы не сказать надуванием...»<sup>4</sup>

Разосланные в основном по провинциальным городам и усадьбам, декабристы тут же включались в общественную жизнь, подталкивая крестьянский вопрос, составляя воспоминания, корреспондируя в заграничные Вольные издания. До властей доходили сведения о большом сочувствии, которым повсюду пользовались вчерашние ссыльные. Кроме того, в правительстве знали об усилении в то время интереса к русским событиям на Западе. Хотя материалы по истории царствования Николая I просили для своих трудов вполне «благонамеренные» французские историки Альфонс Баллейдье и Поль Лакруа, петербургские власти долго не решались предоставить им неопубликованные документы. Между тем Корф начал опасаться, что Баллейдье просто обнародует во Франции его книгу, воспользовавшись одним из 50 экземпляров первого или второго издания. Выход из положения Корф видел либо в отказе французскому историку, либо в разрешении на публикацию собственного сочинения.

В ноябре 1856 г. (когда декабристов уже амнистировали и они постепенно покидали Сибирь), царь, запретив давать Баллейдье материалы о 14 декабря, при этом подтвердил и запрет на массовое издание книги Корфа. Тем интереснее, что уже через несколько месяцев защитный инстинкт власти подсказал ей новое решение. По рассказу Корфа, 17 апреля 1857 г. Александр II сказал ему: «Теперь наступило время обнародовать Вашу «14 декабря».

— Государь, — отвечал я, пораженный такою внезапностью, — удобно ли освежать это дело теперь, когда Вы изволили помиловать всех его участников?

— Тут столько было великого и прекрасного со стороны покойного государя, что незачем более хранить это в тайне, да такое умолчание было бы даже и противно моей совести, потому что мне известны

<sup>4</sup> ЛБ, ф. 20 (Г. С. Батенькова), 13, № 34, письмо № 39.



нелепые и превратные толки, ходящие об этом происшествии не только в Европе, но и в самой России.

— Но, Ваше величество, то обстоятельство, о котором я упомянул...

— Надо всем этим прошло уже больше 30 лет, и нужно же наконец, чтобы история взяла свое; притом большая часть участников давно умерла, а фамилии остающихся еще в живых можно как-нибудь обойти; возьмите о них справку в III отделении моей канцелярии.

— Итак, Вашему величеству окончательно угодно, чтобы книга была издана для публики?

— Да, я уверен, что это произведет очень благоприятное впечатление.

— Но не нужно ли чего-нибудь переменить или иное выпустить?

— Зачем же, все это история.

Выйдя из кабинета, я в передней нашел ожидающим своей очереди к докладу министра двора графа Адлерберга. При рассказе ему мною о последовавшем высочайшем повелении он был удивлен не менее меня»<sup>5</sup>.

Известие распространилось при дворе. Многие встревожились, особенно генерал-адъютант Ростовцев, влиятельнейший сановник, в свое время выдавший Николаю I заговор своих друзей—декабристов.

Готовя третье издание («первое для публики»), Корф познакомился с перепиской Николая I и Константина, «которую прежде никогда не могли отыскать и которая была наконец найдена по кончине императора Николая»<sup>6</sup>. Историк получил и другие материалы семьи Романовых, а также донесения адъютанта Лазарева, отправленного в 1825 г. в Варшаву с известием о петербургской приютке Николаю. Из III отделения сообщили список здравствующих декабристов для того, чтобы не упоминать их имени в печати, при этом был упущен только Кожевников, управлявший в 1857 г. гродненской палатой государственных имуществ, и Корф назвал его в своей книге среди других «бунтовщиков».

<sup>5</sup> ПБ, ф. 380, № 1998, л. 52 об.—53.

<sup>6</sup> Там же, л. 54.

В этот период Адлерберг, очевидно неплохо представлявший направление общественного мнения в стране, высказал опасение насчет того, что обвинения в адрес заговорщиков могут вызвать у них «попытки оправдаться, что пойдет по свету и будет тем опаснее, что оно не связано с определенными лицами».

Любопытно, что переписку Николая I с Константином Адлерберг рекомендовал давать не на языке подлинника, французском, но в русском переводе: «Переписка государя с братом на иностранном языке по таким столь важным предметам может произвести плохое впечатление и пролить воду на мельницу хулителей, славянофилов etc, etc»<sup>7</sup>.

Чрезвычайно интересно следующее мнение и пожелание министра двора о нераскаявшихся декабристах: Адлерберг просил Корфа переменить одно место в эпилоге книги. Было: «Благодушная мысль монарха склонилась и к тем несчастным, которые, быв увлечены. одни обольщениями самонадеянности, другие неопытностью молодости, тридцатилетними страданиями искупали свою вину». Адлерберг советует: «Не лучше ли сказать: «Тридцатилетним, но заслуженным изгнанием (или ссылкой) и чистосердечным раскаянием (хотя это последнее, как я слышал, неправда?)». Слово «страдания» может возбудить сожаление и мысль, будто они действительно были подвержены физическим, материальным страданиям, чего вовсе не было»<sup>8</sup>. Корф замеченное место изменил так: «Тридцатилетним заточением и раскаянием...»

Вообще министр двора продолжал считать публикацию преждевременной и даже еще раз пытался убедить в том царя, но тот настаивал на своем. Более того, в течение лета 1857 г., когда в типографии II отделения Собственной канцелярии готовился 8-тысячный тираж книги Корфа, Александр II все время справлялся о ходе работы<sup>9</sup>. Успех пропаганды Герце-

<sup>7</sup> Там же, л. 56—57.

<sup>8</sup> Там же, л. 58.

<sup>9</sup> Сначала предполагался громадный для того времени тираж — 12 тыс. экземпляров, Корф пояснял, что со своей стороны «особенно не спешил, имея в виду эмиграцию в то лето огромных масс из России в чужие края» (ИВ, ф. 380, № 1998, л. 63—64),

на, постоянное «присутствие» декабристской темы в «Полярной звезде», очевидно, немало влияло на настроения верхов.

Царь же пожелал, чтобы книга была переведена на европейские языки, и летом 1857 г. Корф поручил специалистам французский, немецкий, польский и английский переводы «Восшествия на престол императора Николая I». В общем Корф был горд своей работой и писал царю 21 июля 1857 г. об окончании «сего национального дела» и возложении от имени императора «на алтарь отечества сего приложения сыновней любви». Александр еще раз благодарил автора «за окончание сего труда, столь близкого моему сердцу»<sup>10</sup>.

Корф аккуратно фиксирует в Записке все признаки успеха своей работы. Издание быстро расходилось, как полагал автор, «по необыкновенному интересу собранных тут материалов и по небывалости у нас подобного, можно сказать, государственного откровения». Автор даже заметил, что пресса оказалась в щекотливом положении: не говорить о книге было нельзя, но невозможно было и «нечто вроде критики на сочинение, обязанное существованием своим высочайшей воле и имевшее, так сказать, участником своей редакции всех почти членов императорского дома»<sup>11</sup>.

Корф замечал, что лишь «Современник» в сентябрьской своей книжке «тиснул статейку с легонькою претензией на что-то вроде разбора и отважился даже сказать в ней о редакторе (называя его везде просто «бароном Корфом», без титула или имени)», что «изложение книги исполнено высоких достоинств и обличает в авторе глубокий исторический талант»<sup>12</sup>.

<sup>10</sup> Там же, л. 66, 67.

<sup>11</sup> Там же, л. 70.

<sup>12</sup> Там же. «Современник» в разделе «Современное обозрение» (стр. 130—132; автор Н. А. Добролюбов) положительно отозвался о книге Корфа прежде всего как о признаке общего «потепления»: «Факт издания книги барона Корфа слишком красноречив, чтобы мы могли что-нибудь прибавить к нему». Надо думать, что редакция журнала подразумевала декабристов, а не «положительных героев» Корфа, когда публиковала

Борьба вокруг книги Корфа весьма показательна. В напряженную предреформенную эпоху в споре о важном событии 30-летней давности резко столкнулись разные воззрения. Корф, объясняя успех своего труда, утверждал, что «в среднем образованном и читающем классе книга имела всеобщее самое благотворительное влияние» и что «большинство приняло труд как акт благородной откровенности правительства, открывающий собою новую эру в нашей политической литературе»<sup>13</sup>. Герцен и Огарев видели причину успеха Корфа в том, что «книги, печатаемые по распоряжению правительства, обычно отправляются к лицам и начальствующим в присутственных местах, губернаторам, вообще к лицам, власть имеющим. Эти господа заставляют своих чиновников брать экземпляры оной книги, вычитая за нее деньги из их жалования, или навязывают покупку оной книги и не служащим людям, имеющим с ними сношения, зная, что всякий возьмет из опасения подпасть под надзор III отделения»<sup>14</sup>.

Действительно, правительство несомненно поощряло распространение этой книги, ей была организована необычайная реклама<sup>15</sup>. Однако Герцен и Огарев все же недооценили влияние на русского читателя уже одной темы корфова труда: ведь даже официальные документы о деле декабристов были к тому времени библиографической редкостью.

Корф придавал особое значение тому факту, что впервые за много лет напечатал книгу о «запрещенном событии». В этом духе он объяснялся с возвратившимся из ссылки старинным лицейским однокашником Иваном Пушиным, обещая, что тот «будет до-

---

следующие строки: «Без сомнения, любознательность публики привлекалась самим предметом, представляющим так много возвышенных воспоминаний и столь дорогим для каждого русского, умеющего ценить великие явления своей истории» (об этом см. *И. В. Порох*. Герцен в революционных традициях декабристов. — «Из истории общественного движения и общественной мысли в России», вып. 2, стр. 73).

<sup>13</sup> ПБ, ф. 380, № 1998, л. 62—63.

<sup>14</sup> «14 декабря 1825 и император Николай», стр. V.

<sup>15</sup> «Декабристы. Летописи Государственного литературного музея», т. III. М., 1938, стр. 394.

волен». Это мнение Корфа укреплялось и немалой критикой справа, исходившей от небольшой, но очень влиятельной группы. «Против, — констатировал Корф, — лишь небольшой кружок литературных староверов, отсталых, опасующихся всякой новизны и по этому самому восстающих против всякого шага вперед в общественной жизни. Они пророчили, что мое сочинение даст повод к самым превратным толкам, даже, смешно сказать, послужит основанием к революционному движению [...] До какой степени, — восклицал царедворец Корф, — мы еще отстали от проявления гласности в чем бы то ни было!»<sup>16</sup>

«Щелчок» справа последовал и от министра двора, передавшего в августе 1857 г. «совершенно секретное» послание автору (извлечения из которого, а также ответ Корфа даются далее в переводе с французского). Адлерберг пенял Корфу и себе, что не заметил одного опасного отрывка в книге. Речь шла о публикации старинного, еще екатерининских времен, письма великого князя Александра Павловича (будущего Александра I) к Виктору Павловичу Кочубею от 10 мая 1796 г. Этот документ был нужен Корфу как предыстория идеи отречения, разочарования у Александра I, наложившей печать на вопросы престолонаследия в 1825 г.

Александр завидует близкому другу, ибо недоволен своим положением: «Придворная жизнь не для меня создана. Я всякий раз страдаю, когда должен являться на придворную сцену, и кровь портится во мне при виде низостей, совершаемых другими на каждом шагу для получения внешних отличий, не стоящих в моих глазах медного гроша. Я чувствую себя несчастным в обществе таких людей, которых не желал бы иметь у себя и лакеями, а между тем они занимают здесь высшие места, как, например, З..., П..., Б..., оба С..., М...<sup>17</sup> и множество других, которых не стоит даже называть и которые, будучи надменны с низкими, пресмыкаются перед тем, кого бо-

<sup>16</sup> ПБ, ф. 380, № 1998, л. 83.

<sup>17</sup> Так напечатано у Корфа. В подлиннике названы имена: Зубов. Пассек, Бярятинский, оба Салтыкова, Мятлев (Н. К. Шильдер. Александр Первый. Его жизнь и царствование, т. 1. СПб., 1897, стр. 277).

ятся. Одним словом, мой любезный друг, я сознаю, что не рожден для того высокого сана, который ношу теперь, и еще менее для предназначенного мне в будущем, от которого я дал себе клятву отказаться тем или другим образом [...] В наших делах господствует невероятный беспорядок; грабят со всех сторон; все части управляются дурно; порядок, кажется, изгнан отовсюду, а империя, несмотря на то, стремится к расширению своих пределов. При таком ходе вещей возможно ли одному человеку управлять государством, а тем более исправить укоренившиеся в нем злоупотребления? Это выше сил не только человека одаренного, подобно мне, обыкновенными способностями, но даже и гения, а я постоянно держался правила, что лучше совсем не браться за дело, чем исполнять его дурно...»<sup>18</sup>

Адлерберг не только предчувствует ценность этого документа для «враждебных агитаторов» (и, кстати, справедливо предчувствует); он даже цитирует в своем послании к Корфу возможные речи противников: «60 лет назад человек, призванный самодержавно управлять, признался в невозможности для одного человека, будь он даже гений, исполнять эту обязанность! Он обличает ничтожность, скажу больше, гнусность средств, которыми должен пользоваться, министров, придворных, всю знать и наконец кончает тем, что должен отречься! — Порядок вещей, — скажут, — не изменился с тех пор, наоборот, он упрочился; правительственные люди не те, что были, но они по-прежнему почти нули, такие же гнусные, как их предшественники; поскольку император приказывает опубликовать этот секретный документ у еще сравнительно свежей могилы его автора — значит он разделяет мысль своего предшественника, он признает тем самым, что устраняется от борьбы со злом и желает отречься — и он должен отречься! Так или почти так скажут те, кто желают революции и тайно работают на нее, и вот чему поверит толпа, когда это все будет провозглашаться в писаниях, тайно циркулирующих и тотчас публику-

<sup>18</sup> М. А. Корф. Восшествие на престол императора Николая I, стр. 228—229.



емых за границей! Эти опасения явились ко мне внезапно [...]. Извините мою откровенность, с которой я открыл овладевшие мною чувства. К несчастью, помочь ничем нельзя! Книга уже расходуется, и задержать ее — значит умножить зло!»<sup>19</sup>

Корф, отвечая Адлербергу, снова повторял свою версию, будто он не желал вовсе массового издания, но ему было приказано, и заверял министра, что ни в одном отзыве на книгу никто не касался письма великого князя Александра: «Если же, вопреки ожиданию, найдется некто, который воспользуется письмом для своей пропаганды, маловероятно, чтобы этот новый пророк смог найти последователей, которых обратил бы в свою веру. Это письмо, после того, что Россия и весь мир пережили с тех пор, после того, как печальная действительность вытеснила поэзию и романтику, — уже давно принадлежит истории. Если обратиться к истории Карамзина, напечатанной по приказу императора Александра I, или — еще лучше — к пушкинской «Истории Пугачева», напечатанной по приказу императора Николая, там очень легко обнаружить соблазнительные впечатления, соображения и примеры; не говорю уже о правительственном акте — знаменитом Духовном регламенте Петра Великого, самого абсолютного из наших самодержцев, где перед лицом всего света провозглашалось, что управление совещательное лучше единоличного [...].

После того как весь свет прочел письмо, не находя ни малейшего повода для политических применений, — как и я, перечитывавший его, может быть, тысячу раз, — после того, если бы его внезапно исключили из книги, именно это могло бы иметь весьма губительные последствия [...] Служащие, наблюдавшие за продажей книги, сообщили мне толки многих покупателей: «Пойду и сличу, все ли тут напечатано, что есть в моей рукописной копии»<sup>20</sup>.

Корф находил, что публикация признаний юного Александра I не компрометирует его племянника Александра II, а, наоборот, повышает авторитет пра-

<sup>19</sup> ПБ, ф. 380, № 1998, л. 71—72 (перев. с фр.).

<sup>20</sup> Там же, л. 73—75 (перев. с фр.).



вительства: «Правительство, говорю я, которое не опасается Фенеллы и Вильгельма Телля в театрах, а также исторической гласности, доказывает тем свою силу. Я уверен, что тайные писаки, на которых Вы, граф, намекаете, если и станут поносить, как это бывает, книгу, ее автора и, может быть, его героев, будут первыми, кто станет аплодировать моральной силе правительства, опубликовавшего это письмо. Что же касается тех, которые тайно работают на революцию, — дай бог, чтобы они не нашли других, более действенных способов для воспламенения умов, кроме как эти детские каракули!»<sup>21</sup>

Переписка эта интересна для выявления нетвердой, меняющейся в те годы границы между «можно» и «нельзя», гласностью и безгласностью, боязнью верхов перед расширением дозволенного и мыслями о том, как этим расширением воспользуются...

Несмотря на все заверения Корфа, основное направление критики справа вскоре сосредоточилось именно на письме Александра к Кочубею. Историк, ценивший свой придворный статут, чувствительно переносил эти удары и фиксировал их в своей Записке: «Хвала релакцию, гласно порицали идею обнаружения, в особенности же предание на суд публики письма и вообще действий по этому делу императора Александра. Вся ваша книга, говорили одни, живая критика Александра Павловича, который оставил Россию в жертву междоусобию единственно из трусости или опасаясь, чтобы второй брат не отказался наследовать ему подобно старшему, или для того, чтобы при жизни своей оберечь щекотливое самолюбие этого старшего. — Как же, замечали другие, можно было извлекать из-под спуда письмо Александра, когда сам он велел его сжечь, забывая, что это приказание отдано было великим князем единственно для сокрытия своих чувств и намерений от современников и во избежание личной для себя опасности, притом на тот лишь случай, если бы подателю не удалось лично вручить его Кочубею»<sup>22</sup>.

Тем не менее повеление Александра II насчет

<sup>21</sup> Там же, л. 75—76.

<sup>22</sup> Там же, л. 79—80.

книги Корфа оставалось в силе, и 6 сентября 1857 г. последовало объявление о четвертом издании («втором для публики») <sup>23</sup>.

Вскоре, однако, отозвалась и левая критика, которую предсказывал граф Адлерберг. В России ей невозможно было выйти в печать, но она существовала, и прежде всего в декабристских кругах. 21 августа 1857 г. И. И. Пущин писал Г. С. Батенькову о книге Корфа: «На меня она сделала очень мрачное впечатление и еще более отдалила от издателя». Через день в письме к М. И. Муравьеву-Апостолу Пущин сообщал: «Я с отвращением прочел ее, хотя он меня уверял, что буду доволен [...]. Убийственная раболепная лесть убивает с первой строаницы предисловия» <sup>24</sup>. Накануне, 22 августа, М. И. Муравьев-Апостол писал М. И. Бибикову: «Вчера вечером мы кончили знаменитое произведение Модеста Корфа. Не понимаю, что могло понудить издать неуместную похвалу человеку, который так несчастно для России кончил свое жалкое поприще. От Петра до баб, подобных Анне и Лизавете, царствование «незабвенного» самое неблистательное для России. Жду с любопытством, что скажет «Полярная звезда» при разборе панегирики. Есть простор перу» (*Г. XIII. 504, комментарии И. В. Пороха*).

Редакторы «Полярной звезды» не замедлили высказаться.

В Англию книга Корфа была отправлена довольно рано: автор желал пристроить английский перевод у известного издателя Муррея, но тот требовал сначала текст, «так как Англия в последние годы была уже наводнена во множестве книгами о России» <sup>25</sup>. Дальнейший ход событий восстанавливается по объявлениям и публикациям в Вольной русской печати и все той же Записке Корфа о своем труде. «Временник» Корфа тем интереснее, что он состав-

<sup>23</sup> Цена за книгу — 2 руб. Корф подчеркивал, что вырученные деньги (к октябрю 1857 г. 20 тыс. руб. серебром) он обратил в пользу Публичной библиотеки, что составило половину ее годового дохода.

<sup>24</sup> И. И. Пущин. Записки о Пушкине. Письма. М., 1956, стр. 327.

<sup>25</sup> ПБ, ф. 380, № 1998, л. 93.

ялся под непосредственным впечатлением от событий.

Официального историка и его переводчика (Шау) удивляло долгое молчание издателя, получившего английский текст книги: «Мы оба изъясняли себе упорное молчание Муррея влиянием индейской революции<sup>26</sup>, подчинившей себе все другие интересы в Англии, как вдруг одним утром уже в сентябре является ко мне Шау, торжественно держа в руке 1560-й номер (19 сентября) лондонского «Атенея» с объявлением о книге [...]. Но увы! На другой странице того же номера «Атенея» рисовалось вот что<sup>27</sup>: «Мистер Трюбнер и К°, 60, Патерностер роу, Лондон, спешат объявить, что они приготовили для публикации английский перевод «Восшествия на престол Николая I», составленного статс-секретарем бароном Корфом, со вступлением и критическими замечаниями Александра Герцена».

Следственно, и английскому нашему переводу являлся соперник — и какой еще! С введением и критическими примечаниями пресловутого Герцена — Искандера, который, в мстительной своей ненависти к императору Николаю, к его памяти, даже к его имени, не оставит облить все это желчью и ядом и которого работа, как нет сомнения, придется более по вкусу и более удовлетворит любопытство и чувство героев Альмы и Редана [англичан], чем наш невинный перевод! Вскоре за тем Шау, уже переехавший в город, получил телеграфическую депешу от Муррея, в которой, благодаря искусству наших переписчиков, невозможно было добраться никакого смысла, и наконец уж только 6 октября н. ст. пришло к нам обстоятельное письмо, которым Муррей уведомлял, что его издание готово, что на первый раз напечатано всего только 1000 экземпляров и что, сделав издание на свой счет, он из прибылей представляет Библиотеке половину. Неважная пожива ввиду совместничества Герцена, которого жала я непременно ожидал и еще ожидаю в русских его изда-

<sup>26</sup> Восстание сипаев в Индии, начавшееся в 1857 г.

<sup>27</sup> Следующее затем объявление дается в переводе с английского.

ниях, но никак не думал встретиться на почве английского книгоделания»<sup>28</sup>.

«Герцен недолго заставил себя ждать», — отметил Корф. Действительно, 20 сентября 1857 г., следующим днем после объявления во влиятельном лондонском «Атенее», датируется первый документ «Антикорфики» (выражение Герцена) — «Письмо к императору Александру II (по поводу книги барона Корфа)».

Эта известная герценовская декларация была напечатана в четвертом номере «Колокола», от 1 октября 1857 г. (вышел в свет в середине октября). Тот же выпуск вольной русской газеты наносил еще два удара по книге «Восшествие на престол Николая I» и ее автору (оба эпизода добросовестно зафиксированы Корфом в его Записке).

Во-первых, Герцен отозвался о 2-томном парижском издании Альфонса Баллейдье «История императора Николая (30 лет царствования)». Корф находил, что Баллейдье много у него заимствовал и «многому помешал»<sup>29</sup>. Герцен же напечатал в «Колоколе»: ««Несчастья не ходят в одиночку, — говорил Шекспир, — а толпою». Вслед за книгой статс-секретаря и кавалера Корфа явилась история императора Николая в двух томах, сочинение Баллейдье. Этой книги мы совсем не понимаем. Ну, положим, Корф, статс-секретарь, кавалер, тайный советник, библиотекарь и не знаю что, имеет право на подобострастие перед Николаем. Ну, а этот Баллейдье (Альфонс) по доброй воле, по химическому сродству написал книгу еще более верноподданническую!..

Но если «усердие все перевозмогает», то усердие с излишеством все портит. Нельзя заподозрить нас в симпатии к императору Николаю, а уж и нам что-то сделалось жалко, что Корф и Баллейдье выдают Николая и всех присных его на всеобщее посмешище, не шадя ни пола, ни возраста» (Г. XIII. 47).

Наконец в том же номере «Колокола» напечатано объявление: «Редакция «Полярной звезды» намерена в самом непродолжительном времени издать разбор

<sup>28</sup> ПБ, ф. 380, № 1998, л. 93—95.

<sup>29</sup> Там же, л. 114.

сочинения г. Корфа «Донесения следственной комиссии и Верховного уголовного суда 1826 года», причем весь текст донесения и приговора будет перепечатан» (Г. XIII. 424).

Корф заметил перемену первых планов противника и записал: «Герцен впоследствии передумал и вместо английского перевода расположился издать сперва с своими критическими примечаниями русский подлинник, обещая во всех иностранных газетах выпустить это издание свое — долженствующее иметь около 400 экземпляров — к половине декабря 1857 года»<sup>30</sup>.

Широкое распространение книги Корфа и ее перевода делали излишней перепечатку текста. Постепенно определялась форма «контратаки» — критический разбор с большими извлечениями из книги, а также статьи и материалы, посвященные подлинной истории декабризма: то, что можно было противопоставить Корфу.

После выхода четвертого номера «Колокола» Герцен и Огарев энергично работали над обещанным подробным разбором. Еще 1 октября 1857 г. Герцен писал: «Наша брошюра с текстом Доклада [следственной комиссии] произведет в России фурор — это неплохо» (Г. XXVI. 124). 12 ноября того же года Жюль Мишле получил от Герцена следующую информацию: «В России издано неким бароном Корфом сочинение о Николае. Против этого гнусного византийского раболепия и бюрократической подлости мы печатаем особый труд под заглавием «26 декабря 1825 и император Николай». Издатель хочет одновременно выпустить и французский перевод» (Г. XXVI. 135—136).

1 января 1858 г. И. С. Тургенев был извещен о том, что «книга о Корфе готова»; в новогоднем выпуске «Колокола», 1 января 1858 г., объявлялось о выходе в свет книги «14 декабря 1825 и император Николай». Вскоре в Гамбурге появился немецкий перевод, наконец тогда же, в начале 1858 г., Герцен выпустил на французском языке статью «Русский заговор 1825 года», а во введении к ней, между про-

<sup>30</sup> Там же, л. 108.

чим, объяснял связь этой работы с «Антикорфийкой»: «Редакция «Полярной звезды» недавно издала у гг. Трюбнера и К° сочинение на русском языке, озаглавленное: «26 [14] декабря 1825 года и император Николай». Это довольно пространное опровержение официального рассказа об обстоятельствах, при которых совершилось восшествие на престол Николая, — рассказа, написанного неким статс-секретарем и исправленного самим Николаем: подлое сочинение евнуха, достойное византийского ритора или бонапартистского префекта.

Идя навстречу пожеланиям *Международного комитета*<sup>31</sup>, который так братски помянул наших мучеников в годовщину 26 декабря, мы написали это небольшое сочинение, сжатый пересказ основных фактов, приведенных в нашем труде» (Г. XIII. 128).

Таким образом, Вольная русская типография по крайней мере трижды атаковала книгу Корфа: в «Колоколе», отдельным изданием и статьей о «Русском заговоре». Кроме того, Герцен избрал самого Корфа мишенью постоянного обстрела. Основные критические идеи Герцена и Огарева хорошо известны (они обстоятельно освещены в комментариях И. В. Пороха к соответствующим публикациям в XIII томе сочинений Герцена). При известной эволюции формулировок в разных изданиях Вольной печати везде много говорится о типичности такого сочинения для определенной эпохи. «Ясно, — пишет Герцен, — как эта рабелепная брошюра возникла при Николае, хотя нельзя не удивляться, как и он мог читать такую тяжелую, подъяческую, вульгарную лесть. Она носит как-то грубо вырезанную печать его времени — бедность мыслей, условные формы, узкий горизонт, официальный холод, беспощадность посредственности, отталкивающая, парадная чувствительность; не тот воздух, которым человек может свободно дышать, а какая-то давящая атмосфера второго порядка, в которой двигаются и действуют, как рыба в воде, Клейнмихели, Чернышевы, Кокошкины, Бенкендорфы — получше, похуже, но все бездарнейшие из смертных»

<sup>31</sup> Международный комитет — организация, связывавшая в 1850-х годах революционеров разных стран.



(Г. XIII. 69). По мнению Герцена, ошибка Корфа «не в каком-нибудь выражении, не в какой-нибудь подробности, ошибка в жалком, ложном, рабском воззрении на события» (Г. XIII. 37).

Корф пытался доказать, что восстание было «маскарадом распутства, замышляющим преступление», т. е. событием, не имевшим глубокого исторического смысла и важным только как опасность для императорской фамилии. Из Лондона последовали обоснованные возражения насчет этого серьезнейшего события в русской истории: «Если это была толпа развратных и буйных шалунов, воспользовавшихся нелепостью импровизированного междуцарствия для того, чтобы пошуметь на площади и через несколько часов рассеяться, — то как же объяснить страх Николая перед 14 декабря, эту *idée fixe* его царствования, которую он не забыл на смертном одре?» (Г. XIII. 37).

Действительно, в воспоминаниях Николая I говорилось о 14 декабря как о таких обстоятельствах, «кои важны, ибо дают настоящее объяснение причинам или поводам происшествий, от коих зависит участь, даже жизнь людей [...] Скажу даже, жизнь царств!» (Эта цитата выписана Корфом в его Записке о своей книге.)

Доказательство серьезности, органичности 14 декабря — сильнейшая сторона «Антикорфики». Герцен и Огарев, «дети 14 декабря», не зная многих подробностей, но зная имена и предания, ясно видели место этих событий в русской истории. Однако это следовало еще доказать печатно.

Источников практически не было: декабристские воспоминания еще не достигли Лондона. Перед Огаревым, писавшим «Разбор книги Корфа», встала не легкая задача — извлечь скрытую истину из тех официальных документов, которые как раз создавались с целью сокрытия.

Прежде всего были использованы материалы из самой книги Корфа. Тут-то Н. П. Огарев заметил письмо великого князя Александра Павловича к Кочубею и неплохо оправдал многие опасения графа Адлерберга.

«Счастливо для памяти Александра I, — говори-



лось в «Разборе», — что его письмо к Кочубею помещено целиком в книге Корфа. Как же господин штатс-секретарь не понял из этого письма, что желание отречься от престола не было у Александра ни минутным раздражением, ни глупой романтической настроенностью? [...] Не минутное раздражение, не романтическая настроенность влекли его удалиться, а живое отвращение благородного человека от среды грубой и бесчестной, в которую он, вступая на престол, должен был войти роковым образом [...] Но впрочем, не мудрено, что барону и те люди и тот порядок вещей не кажутся так отвратительны, как они казались Александру I<sup>32</sup>. Такой же порядок вещей прошлое царствование оставило на долю Александра II. Барон Корф вырос, сделался штатс-секретарем в этом порядке вещей и привык к нему. Александр I сломился в этом порядке вещей и, ударившись, с одной стороны, в мистицизм, с другой стороны, подпал под влияние тех же людей, и во главе управления явился Аракчеев. Но стремление к лучшему порядку, к действительному гражданскому устройству жило не в одной трагической личности Александра I; оно жило и в обществе»<sup>33</sup>.

Для Огарева, конечно, важна параллель — царствование Александра I и царствование Александра II. Впрочем, «теперь не времена 14 декабря, где потребность лучшего гражданского устройства чувствовалась только в высших слоях общества; теперь массы народные жаждут освобождения от помещичьей власти и власти казенных грабителей [...] Кто же будет виноват в ненужно пролитой крови и в судорожных страданиях России? Конечно, все тот же порядок вещей, все те же люди, которых Александр I не хотел иметь лакеями. Мы смело указываем на них как на врагов отечества»<sup>34</sup>.

Сопоставляя факты, добытые из донесения Блудова, манифеста Николая I, книги Корфа, Огарев гото-

<sup>32</sup> Письмо Александра Кочубею было в 1862 г. еще раз воспроизведено и использовано в работе Герцена «Император Александр I и В. Н. Каразин» (Г. XVI. 42—44).

<sup>33</sup> «14 декабря 1825 и император Николай», стр. 210—211.

<sup>34</sup> Там же, стр. 211—212.

вил в конце 1857 г. первую подлинную историю декабристов (о лунинской попытке 1840-х годов в Лондоне еще не знали). «Мудрено ли, — писал Герцен, — что мы наделали ошибок, не имея решительно никаких документов, кроме воспоминаний о двух-трех разговорах шепотом за запертыми дверями. Пусть же нам помогут — сыновья, боатья, друзья великих предшественников наших» (Г. XIII. 268).

Обращаясь к Александру II, Герцен спрашивал: «Был ли этот заговор своевременен, доказывает не только единство мнений Александра I, Ваше и их о невыносимо дурном управлении нашем, но и невероятное распространение заговора по всему государству в какие-нибудь семь лет. В нем участвовали представители всего талантливого, образованного, знатного, благородного, блестящего в России» (Г. XIII. 42).

Само послание к Александру II справедливо трактуется современными историками как проявление либеральных иллюзий Герцена и Огарева. Однако следует заметить, что письмо насчет Корфа было опубликовано до объявления об отмене крепостного права, когда Герцен был особенно непримирим к верхам. Между прочим, герценовское обращение к императору — прием весьма болезненный и для царедворца Корфа; в то же время обращение привлекало внимание многих людей, настроенных оппозиционно, но веривших в преобразования и стремившихся избавиться от «никалаевского духа».

Удары Герцена и Огарева, полные новизны для русского общества, нравственно убедительные и блестящие по форме, произвели сильное впечатление на разных политических полюсах. М. И. Муравьев-Апостол восхищался 19 января 1858 г. письмом Герцена о Корфе: «Удивительно, как пишущий ясно понял, в чем дело, точно как будто он жил в то время и знал тех знаменитостей...» (Г. XIII. 505, комментарий). 24 декабря 1860 г. тот же декабрист записывает: «Вчера я прочел [огаревский] разбор доклада следственного комитета [...], с каким приличием и достоинством он написан. Ни малейшего повода к соблазну или брани. Хотя нет сомнения, то и другое так и просилось из-под пера» (Г. XIII. 515, коммен-

тарию). Более ста сочувственных помет сделал на полях книги Герцена и Огарева декабрист И. И. Горбачевский<sup>35</sup>. «Ты будешь читать письмо Герцена, — писал И. И. Пущин жене, — и будешь очень довольна»<sup>36</sup>. Либеральный публицист К. Д. Кавелин извещал Герцена в начале 1858 г.: «Твое последнее письмо к императору по поводу книги Корфа циркулирует в списках и производит неописанное действие. Ничего подобного наша литература действительно не представляла»<sup>37</sup>.

Книга «14 декабря 1825 и император Николай» рассматривалась как агитационный документ даже теми революционными кружками, которые числили себя много левее Герцена и Огарева (в 1861 г. «Антикорфика» была отлитографирована в Москве П. Г. Заичневским и П. Э. Аргиропуло и в том же году напечатана в тайной типографии Сулина и Соуроко)<sup>38</sup>.

Осенью 1857 г. Корф получил разрешение на пятое издание книги (третье для публики), отпечатанное уже в типографии не II, а III отделения Собственной царской канцелярии. Это было самое массовое издание (не 2 рубля за книжку, как прежде, а рубль серебром)<sup>39</sup>. В Записке о третьем издании, поданной царю, Корф похвалил свой труд: «Этот исторический памятник принят публикой с благодарностью и живым сочувствием». Александр II, вообще согласный на новое издание, все же отметил на полях: «К несчастию, не всеми». Корф комментировал эту резолюцию: «Зависть, придворная недоброжелательность и обскурантизм взяли, следственно, свое»<sup>40</sup>. 18 октября 1857 г. на вечере в Царском Селе Александр II был холоден к Корфу, выражал

<sup>35</sup> Л. Н. Пушкарев. Неизвестные заметки декабриста И. И. Горбачевского. — «Вопросы истории», 1952, № 12, стр. 127—129.

<sup>36</sup> И. И. Пущин. Записки о Пушкине. Письма, стр. 345.

<sup>37</sup> ЛН, т. 62. М., 1955, стр. 385.

<sup>38</sup> М. К. Лемке. Политические процессы в России 1860-х годов. М.—Пг., 1923, стр. 16, 23, 29 и др.

<sup>39</sup> В этом издании прибавлялся один документ, отсутствовавший в предыдущих: письмо Николая I к умиравшему М. А. Милорадовичу, найденное внуком генерала в Чернигове.

<sup>40</sup> ПБ, ф. 380, № 1998, л. 105.

недовольство дурным немецким переводом... На этом Записка Корфа о своем труде прерывается.

Нам нелегко разобраться во всех оттенках официального взгляда: разумеется, Александр II мог болезненно реагировать на критику справа, со стороны Адлерберга и других сановников; в этом отношении удары Герцена своеобразно реабилитировали Корфа в глазах двора. Однако сам историк считал свой труд прогрессивным начинанием и, видимо, не был утешен этой коллизией. «Корф, прочитав вашу книгу,—сообщал Герцену и Огареву Н. А. Мельгунов, — упал в обморок — буквально упал»<sup>41</sup>.

Как известно, Корф послал 8 ноября 1857 г. записку шефу жандармов с возражениями на статью Герцена и после приготовил оправдательный документ, явно намеченный для публикации за границей<sup>42</sup>, где говорил о самом себе в третьем лице,— «Самовосхваление против Герцена». ««Колокол» в руках государя,—писал Корф,—и друзья мои, конечно, не упустят этого доброго случая мне услужить. Надо же чем-нибудь им противоречить...»

Герцен как-то узнал об этом и в 14 номере «Колокола», 1 мая 1858 г., спрашивал: «Правда ли, что Модест Корф хочет отвечать на нашу книгу «О 14 декабря 1825 года»? Просим и желаем» (Г. XIII. 268). Корф, как известно, воздержался в конце концов от полемики, царь же, утешая статс-секретаря, написал на его докладной записке: «На бранные слова Герцена советую Вам плевать, он большего не заслуживает. Вам же все благородные люди останутся вечно благодарны за сохранение для потомства одной из самых примечательных страниц истории. О личной моей благодарности не говорю — она Вам давно известна»<sup>43</sup>.

Новых изданий Корфа, однако, не было.

Так закончился довольно шумный эпизод из общественной истории 1850-х годов. Симптоматично само появление новых документов «для публики»,

<sup>41</sup> ЛН, т. 62, стр. 381.

<sup>42</sup> Б. Е. Сыроечковский. М. Корф в полемике с Герценом. — «Красный архив», 1925, т. 3(10), стр. 308—317.

<sup>43</sup> Там же, стр. 311.

разрешение как-то говорить о декабристах. Власть, предпочитавшая прежде молчаливую охранительность, искала новые средства защиты усилиями своих публицистов. Однако простые хвалители булгаринско-устряловского типа были мало действенны, хотя и продолжали стараться. Известно, что Александр II отвергал предложения некоторых реакционных публицистов выступить против Герцена, искал что-либо «солидное против лондонского короля» (*Г. XVI. 382, комментарии*). Книга Корфа в этом отношении промежуточна. Ее тон и откровенная тенденциозность сродни официальным трудам николаевского времени, однако расширение круга фактов и новых документов из правительственных тайнохранилищ — все это было в новинку. Поэтому Корф так гордился своими заслугами, но быстрое пробуждение общества после 1855 г. шло такими темпами, что невозможное вчера назавтра становилось ретроградным. Несколько тысяч экземпляров корфовой книги легко перекрывались вольными изданиями, также представленными тысячами журналов, сборников, газет; число же читателей каждого «вольного экземпляра» было значительно больше, чем у любого официального издания<sup>44</sup>. К 1857 г. передовой фронт мысли проходил на уровне «Колокола», «Полярной звезды», «Современника», решительно отвоевывавших засекреченное прошлое у его многолетних «стражей».

---

<sup>44</sup> О тиражах герценовских изданий см. В. А. Черных. К вопросу о тиражах Лондонских изданий Герцена и Огаева. — «Археографический ежегодник за 1969 год». М., 1971, стр. 123—131.

**Петр I—самый полный тип эпохи, или призванный к жизни гений-палач, для которого государство было все, а человек ничего; он начал нашу каторжную работу истории, продолжающуюся полтора века и достигнувшую колоссальных результатов.**

Герцен (1859 г.)



Петр и Алексей  
(фрагменты картины Н. Ге «Петр I допрашивает царевича  
Алексея Петровича в Петергофе»)

Извлечение на свет истории декабризма было первой, но далеко не единственной задачей Вольной печати в ее сражениях за «былое». Запрещенные строки Пушкина и других поэтов, опублико-

ванные во второй книге «Полярной звезды», как бы возвращали 1830—40-е годы; 1820 год является вместе с «Семеновской историей» (третья книга «Полярной звезды»); первым прорывом в минувший XVIII в. была знаменитая герценовская работа «Княгиня Екатерина Романовна Дашкова», также напечатанная в третьей книге «Полярной звезды». Четвертая книга альманаха, 1 марта 1858 г., извлекала из минувшего историю царевича Алексея Петровича...

В «войне за прошлое» сражение велось буквально за все утекшие века российской жизни: западники и славянофилы толковали о варяжских и киевских князьях; декабристов волновали новгородские свободы; Карамзин, публикуя том об Иване Грозном, одновременно вписывал его в историю русской общественной мысли XIX столетия, так же как Пушкин, завершая «Бориса Годунова». Однако современной, новой историей страны естественно считался период с Петра Великого. Если до 1700 г., при всех ограничениях и стеснениях цензуры, главные исторические факты и документы не были за семью замками, то по петровскому времени шла демаркационная линия суровых государственных вмешательств, запретов и тайн.

Это обстоятельство заметил Герцен, объявляя в одном из своих вольных изданий: «Времена татарского ига и московских царей нам несравненно знакомее царствований Екатерины, Павла» (Г. XIV. 296).

Так, в 1850-х годах публиковался необыкновенный курс секретной русской истории за 140 лет, начинавшийся примерно с 1718 г.

Переписка Петра I с царевичем Алексеем за 1715—1718 гг. сохранилась в кабинете Петра во многих копиях<sup>1</sup> и попала в печатные документы: в 1718 и 1719 гг. на русском и нескольких европейских языках было напечатано огромным по тем временам тиражом «Объявление» и «Розыскное дело» — официальная версия о следствии и суде над царевичем Алексеем Петровичем.

Создание мощной, обновленной централизованной бюрократической машины, с одной стороны, расши-

<sup>1</sup> ЦГАДА, Госархив, р. VI, № 32—33, 41.



ряло сферу государственной тайны, сыска, наблюдения за мнениями; некоторая патриархальность прежних методов управления сменялась более регулярными, организованными. Элементом упорядочения, регламентации стало и некоторое увеличение публичности, гласности. То, что раньше выкрикивалось на площадях или оставалось в дворцовых и церковных пределах, теперь в нужном властям виде печаталось, распространялось в России и за границей. Жестокость пыток и казней увеличивалась, но при том законно оформлялась и объявлялась. Это было вызвано и возросшей грамотностью правящего сословия, и расширением международных сношений, и сознательным (иногда инстинктивным) пониманием того, что без определенного уровня законности, регламента не может существовать и самая неограниченная монархия. Петр I не пожелал, чтобы дело его сына было безгласной тайной, подобно убийству Иваном Грозным своего сына, и хотя «Объявление» и «Розыскное дело» многое скрывали, многое подавали преприро- ванно, но представляли также и важные подлинные документы.

«В 11 день октября 1715 при Санктпитебурхе» Петр I обращался к сыну: «...я, с горестью размышляя и видя, что ничем тебя склонить не могу к добру, за благо изобрел сей последний тестамент тебе написать и еще мало пождать, аще нелицемерно обратишься. Ежели нї, то известен будь, что я весьма тебя наследства лишу, яко уд гангранный, и не мни себе, что... я сие только устрастку пишу: воистину исполню, ибо за мое отечество и люди живота своего не жалел и не жалею, то како могу тебя непотребного пожалеть? Лучше будь чужой добрый, неже свой непотребный»<sup>2</sup>.

Алексей, как известно, просил «монашеского чина», а осенью 1716 г. по пути в Копенгаген, к отцу, скрылся во владениях германского императора Карла VI, дяди его недавно умершей жены. В «Объявлении» сообщалось о письмах Петра I к Карлу VI

<sup>2</sup> Этот и другие документы о конфликте Петра I и Алексея цит. по приложению к кн. Н. Г. Устрялова «История царствования Петра Великого», т. VI. СПб., 1859.

с требованием выдать царевича, однако их точный текст появился лишь в следующем столетии: резкие выражения Петра в адрес коронованного собрата в 1718 г. еще не подлежали печати.

Вслед за тем на сцене появляется важное действующее лицо всей этой истории — Александр Иванович Румянцев.

Указом Петра I (Амстердам, 7 марта 1717 г.) капитану гвардии Румянцеву предписывалось: «...ежели помогающе богу достанут известную персону, то выведать, кто научил, ибо невозможно в два дни так изготавиться совсем к такому делу...»

Всякими мерами трудиться [это] исполнить, для чего поступать не смотря на оную персону, но как бы ни возможно было.

Господам генералам, штаб и обер-офицерам: когда доноситель сего капитан Румянцев у кого сколько людей для караула требовать будет, также ежели кого арестовать велит, кто б оный ни был, тогда повинны все его слушать о том...»

19 апреля 1717 г. из Кале Петр I писал Румянцеву: «Получил я твое письмо из Вены марта от 31 числа, из которого о всем уведомился... И надобно тебе, конечно, ехать в Тироль или в иное место и проведывать, где известная особа обретается; и когда о том уведашь, то тебе жить в том месте инкогнито и о всем, как он живет, писать; и буде же куды поедет, то секретно за ним следовать и не выпускать его из ведения и нас уведомлять...»

Весной и летом 1717 г., огорченный бегством сына, Петр Великий странствует по Европе. В Париже у могилы кардинала Ришелье он будто бы произносит: «О великий министр, я отдал бы тебе половину своего царства, чтобы научил, как управлять другою половиной».

Капитан Румянцев меж тем инкогнито бродил по Австрии. Отыскать царевича, охраняемого авторитетом и силой его близкого родственника германского императора, отыскать в самой его империи, где он под секретом и большой охраной содержался в тирольском замке, а затем с еще большим секретом и большей охраной в Неаполитанском замке — все это было делом «д'артаньяновской» трудности. Одна-

ко мало было узнать, где царевич, требовалось невозможное — вернуть.

Когда Румянцев сообщил царю, что Алексей Петрович находился в Тироле, а затем переведен в Неаполь, последовала «инструкция тайному советнику Толстому и капитану от гвардии Румянцеву» (курорт Спа, 10 июля 1717 г.), где им предписывалось ехать в Вену и любой ценой добиваться выдачи царевича.

Петр Андреевич Толстой, тайный советник, государственный человек в ранге министра, посылался для официальных переговоров с высокими персонами венского двора. Капитан Румянцев же был придан Толстому для таких действий, которые производить самому вельможе и тайному советнику было бы не совсем прилично. Кроме инструкции им было вручено секретное и весьма грозное письмо Петра I императору Карлу VI с требованием «решительной резолюции» насчет возвращения Алексея, «дабы мы свои меры потом воспринять могли». Венский двор был напуган. Министры на тайном совещании решили, что «по своему характеру царь может ворваться в Богемию, где волнующаяся чернь легко к нему пристанет». В конце концов император разрешил Толстому и Румянцеву отправиться в Неаполь для свидания с беглым наследником: «Свидание должно быть так устроено, чтобы никто из москвитян (отчаянные люди, на все способные) не напал на царевича и не возложил на него руки, хотя я того и не ожидаю».

Толстой сообщил Петру, что царевич «был в том мнении, будто мы присланы его убить, а больше опасался капитана Румянцева...».

Тайный советник и капитан выполнили поручение: два месяца длилась операция с применением всех видов давления. Они встретились с царевичем, обещали отцово прощение, подкупили всех вокруг вплоть до вице-короля Неаполя, запугали Алексея — что непременно будет убит, если не вернется, запугали и уговорили повлиять на царевича любовницу Алексея Евфросинью (Толстой докладывал: «Невозможно описать, как ее [царевич] любит и какое об ней попечение имеет»; в письмах же Румянцева мелькает презрение красавца гвардейца к наследнику, «обожа-

ющему простую некрасивую девку»). Наконец все австрийские власти запуганы угрозой военного вторжения войск Петра, и в результате всего этого 4 октября 1717 г. Алексей пишет отцу: «Всемилоостивейший государь батюшка!.. Надеюсь на милостивое обещание ваше, полагаю себя в волю вашу, и с присланным от тебя, государя, поеду из Неаполя на сих днях к тебе, государю, в Санктпитербурх. Всенижайший и непотребный раб и недостойный назваться сыном *Алексей*».

Царевич сдался, поехал домой. На последней австрийской станции их все же догнал посланец Карла VI, чтобы окончательно уяснить, добровольно ли возвращается царевич. Толстой был недоволен этим допросом, отвечал холодно. Алексей подтвердил, что возвращается добровольно...

3 февраля 1718 г. царевич отрекается в Москве от прав на престол и получает отцовское прощение. Получает при условии, что выдаст сообщников, которым прощение не было обещано. Алексей выдал, но не всех, и вскоре уж в Петербурге меряют широту Невы «для узнания, какою кратчайшею линиею ездить государю для делания застенков в крепость». Позже Петр I обратился к судьям по делу царевича: «Прошу вас, дабы истиною сие дело вершили, чему достойно, не флатируя [угодая] мне и не опасаясь того, что ежели сие дело легкого наказания достойно, и когда вы так учините осуждением, чтоб мне противно было... в том отнюдь не опасайтесь, також и не рассуждайте того, что тот суд надлежит вам учинить на моего, яко государя вашего, сына; но, несмотря на лицо, сделайте правду и не погубите душ своих и моей, чтоб совести наши остались чисты и отечество наше безбедно».

Был опрошен немалый круг лиц. «Духовенство, — по словам Пушкина, — как бабушка, сказало надвое»: привели для царя цитаты из Ветхого завета, позволявшие наказывать непокорного сына, и евангельское прощение блудного сына. Царю предлагалось избрать ту часть, «куда рука божья тебя преклонит». Гражданские же чины порознь объявили единогласно и беспрекословно, что царевич достоин смертной казни. Приговор подписали 127 человек — первым Алек-

сандр Меншиков, затем генерал-адмирал граф Апраксин, канцлер — граф Гаврила Головкин, тайный советник князь Яков Долгорукий. На 9-м месте — тайный советник Петр Толстой, на 43-м — «от гвардии капитан Александр Румянцев»; гвардии подпоручик Иванов расписался за себя и «он же вместо подпоручика Коростылева за его безграмотностью», и еще двое расписались за себя, а также за неграмотных прапорщика и капитана. Четверо подписавших только что вышли из крепости, где сидели как заподозренные в связях с Алексеем, число же не сидевших в крепости, но так или иначе замешанных трудно было и сосчитать: многие прежде тайно поддерживали контакты с Алексеем как возможным будущим царем (даже Яков Долгорукий, даже сам Меншиков). Из видных приближенных Петра не подписал приговора только Шереметев.

«Борис Петрович Шереметев суд царевичев не подписал, говоря, что «он рожден служить своему государю, а не кровь его судить», и не устрасился гнева государева, который несколько времени на него был в гневе яко внутренне на доброжелателя несчастного царевича» — это строки из известного сочинения князя М. М. Щербатова «О повреждении нравов в России»<sup>3</sup>.

Известный описатель дел Петра И. И. Голиков настаивал, что Шереметев был болен, находился в Москве и только потому не подписал... Однако Щербатов, писавший «Повреждение нравов...» в 1780-х годах, имел разнообразные возможности проверить свою версию — в беседах с Шереметевыми и другими представителями знатных фамилий, а также по многим документам начала XVIII в., бывшим в его распоряжении (Щербатов некоторое время был историографом при дворе Екатерины II).

История «заговора Алексея», конечно, еще требует дополнительного изучения. Принятая основная версия — о стремлении консерваторов, противников реформ, сменить Петра I и вернуться к «старине», ко-

---

<sup>3</sup> «О повреждении нравов в России» князя М. Щербатова и «Путешествие...» А. Радищева. Лондон, 1858, стр. 15.

нечно, верна и подкреплена сотнями убедительных фактов. Однако нужно отметить чрезвычайную сложность реальной ситуации: с одной стороны, известные народные надежды на «идеального» царевича; с другой — сочувствие Алексею некоторых сподвижников Петра, вряд ли мечтавших о полном повороте вспять. Существенные подробности боярского заговора не всегда легко выделить из массы сомнительной информации; полученные на дыбе и в застенке показания не просто сопоставлять с тем, что было на самом деле. Современники неоднократно отмечали, что «заговор Алексея» во всяком случае относился к категории «намерения» и был далек от исполнения. Так, Вольтер, находившийся в неплохих отношениях с русским двором, ставил в заслугу Петру открытое перед всем светом признание того, что он предпочитает нацию сыну (в отличие от Филиппа II Испанского, избавившегося от сына, дона Карлоса, без всяких «объявлений»). Однако при этом Вольтер заметил, что ни один из сотни с лишним судей не просил даже о смягчении наказания Алексею<sup>4</sup> и что если бы подобный процесс происходил, например, в Англии, то среди судей не нашлось бы ни одного, который бы потребовал подобного приговора<sup>5</sup>.

Официальная версия о смерти Алексея заключалась в том, что, «узнав о приговоре, царевич впал в беспамятство, через некоторое время отчасти в себя пришел и стал паки покаяние свое приносить и прощение у отца своего перед всеми сенаторами просить, однако рассуждение такой печальной смерти толь сильно в сердце его вкоренилось, что не мог уже в прежнее состояние и упование паки в здравие свое придти и [...] по сообщении пречистых таинств скончался [...] 1718-го июня 26-го числа».

В «Поденных записках по делам князя Меншикова» за 26 июня 1718 г. сообщалось, что «Его светлость, прибыв в дом свой, лег опочивать. День был

<sup>4</sup> Легенда или быль о Б. П. Шереметеве до Вольтера, очевидно, не дошла.

<sup>5</sup> Интересные соображения и обширную сводку материалов о Петре I и Алексее в народном сознании см. К. В. Чистов. Русские народные социально-утопические легенды. М., 1967, стр. 91—124.



при солнечном сиянии, с тихим ветром. В тот день царевич Алексей Петрович с сего света в вечную жизнь переселился». За гробом царевича «изволил высокою своею особою идти его царское величество, а за его царским величеством генерал-фельдмаршал светлейший князь Меншиков и министры и сенаторы и прочие знатные персоны. А потом изволила идти ее величество государыня царица, а за ее величеством госпожи, вышеописанных знатных персон жены».

В то же время австрийский резидент Плейер доносил: «Носится тайная молва, что царевич погиб от меча или топора... В день смерти было у него высшее духовенство и князь Меншиков. В крепость никого не пускали, и перед вечером ее заперли. Голландский плотник, работавший на новой башне в крепости и остававшийся там на ночь незамеченным, вечером видел сверху в пыточном каземате головы каких-то людей и рассказал о том своей теще, повивальной бабке голландского резидента. Труп кронпринца положен в простой гроб из плохих досок; голова была несколько прикрыта, а шея обвязана платком со складками, как бы для бритвы».

Голландский резидент Яков Де-Би: «Кронпринц умер в четверг вечером<sup>6</sup> от растворения жил». Затем сообщались разные подробности. Деша была перехвачена, допрашивали резидента, затем его повивальную бабу и голландского плотника, который признал, что действительно сидел в крепостной башне ночью, но большего не открыл...

Едва закончилось дело царевича, Румянцев уже срочно скачет в Казань набирать корабельных плотников и строить 15 генботов; затем (уже в чине майора гвардии) по флотским делам несется в Англию, оттуда — послом в Швецию, с которой только что подписан мир; затем — на Каспийское море штурмовать Дербент. Петр вдруг запрещает Румянцеву жениться на выгодной невесте с тысячью душ и выдает за него знатнейшую и богатейшую красавицу Марию Андреевну Матвееву<sup>7</sup>. Однако счастливого

<sup>6</sup> Т. е. 26 июня.

<sup>7</sup> Версия о страсти Петра I к М. А. Матвеевой-Румянцевой — в изданных за границей на французском языке «Мемуарах П. В. Долгорукова», т. 1. Женева, 1867, стр. 174.



супруга за три месяца до появления первенца отправляют послом, по тогдашним понятиям, за тридевять земель — в Турцию и Персию. Следующая депеша извещала нового посла, что императрица Екатерина явилась восприемницей новорожденного Петра Румянцева, которому пожелала «счастливого воспитания на увеселение вам». Так появился на свет Румянцев второй — будущий великий полководец граф и фельдмаршал Румянцев-Задунайский, отец Николая и Сергея Румянцевых — государственных деятелей, из библиотеки и коллекций которых образуется позже знаменитый Румянцевский музей.

В те годы из Константинополя в Петербург путь был очень долгим, и Александр Румянцев увидел будущего полководца лишь через пять с лишним лет; за это время на берегах Босфора ему пришлось поволноваться: через месяц после известия о сыне Екатерина известила посла, что «по воле всемогущего бога его величество государь император, наш прелюбезнейший супруг, от сего временного жития в вечное блаженство отошел». Императрица, понятно, благоволила к Румянцеву, но через два с половиной года на ее месте был уже Петр II, сын царевича Алексея. Меншикова сослали, печатные издания «Розыскного дела» уничтожили и запретили, сняли с колов и виселищ казненных 10 лет назад приближенных царевича; многих судей его без чинов прогнали в деревни, а самого Петра Андреевича Толстого били кнутом и сослали в Соловки, где он и умер<sup>8</sup>. Румянцев один уцелел, потому что, пока думали и «перебирали людишек», Петр II успел умереть, посол же благополучно отсиделся в Турции. Потом, уже при царице Анне Иоанновне, возвратился домой, усмирил башкирцев, раскрыл заговор на Укоаине<sup>9</sup>.

Правда, был момент, когда Бирон велел его взять, и, казалось, счастливцу не миновать казни, но... прямо из-под ареста его посылают управлять Казанской

<sup>8</sup> Его прямыми потомками были три писателя: Лев Николаевич, Алексей Константинович и Алексей Николаевич Толстые.

<sup>9</sup> Румянцев поразил казацких старшин, пригласив их к себе в гости с женами, что было в новинку. Ласково с ними всеми беседуя, он все, что нужно, узнал и позже, кого хотел, арестовал.

губернией, а оттуда — «воевать турок». Между прочим, в это время (1736 г.) еще преследовали самозванцев — Алексея Петровичей: согласно К. В. Чистову, легенды об Алексее — «избавителе» бытовали в 1713—1738 гг.

Затем на престоле оказалась Елизавета Петровна, которая стала собирать уцелевших «птенцов гнезда петрова»: Румянцева отправляют заключать новый мир со шведами, после чего делают сенатором, повышают в чине, наделяют новыми деревнями. В 1749 г., на 70-м году, он благополучно скончался.

Дело же царевича Алексея меж тем лежало запечатанным в секретном государственном архиве, печати свидетельствовались ежегодно, и толковать на эту тему было опасно: сундуки Тайной канцелярии знали ведь и печальную судьбу тех, кто пытался проникнуть в ее секреты или разгласить их. Около 1743 г. секретарь коллегии иностранных дел Степан Писарев захотел перевести с греческого на русский сочинение Катифора «Житие Петра Великого» (вышедшее в Венеции в 1737 г.). В этом сочинении были, между прочим, воспроизведены главные официальные документы по делу Алексея. Катифор взял их из напечатанного «Розыскного дела» и перевел на греческий. Писарев же теперь сделал обратный перевод с греческого на русский (печальный парадокс: русское издание «Розыскного дела» было прежде истреблено, и русского подлинника в руках переводчика не было). Императрица Елизавета сначала милостиво разрешила эту работу, «но, — как жаловался позже Писарев, — по некоторым обстоятельствам, а более по воспрепятствованию от некоторых моих недоброхотов не напечатана. Многие, желая ее у себя иметь, поставляли за удовольствие оную переписывать. Но как не все могли сие желание исполнить, то я при нынешней моей шестидесятипятилетней старости потщился, к удовольствию их, издать ее в печать от себя яснейшим пред прежнего выправлением слога, с прибавлением в некоторых местах к сведению других примечаний...»<sup>10</sup>.

<sup>10</sup> «Житие Петра Великого, императора и самодержца Всероссийского, отца отечества». Пер. с греч. Изд. 2. М., 1788. Вступление.

Перевод Писарева, выполненный в 1743 г., появился в 1772 г. Румянцев и другие участники дела Алексея не хотели даже в 1740-х годах вспоминать о 1718 г.: кто знает, как отнесется к этому следующий монарх, да и Елизавете Петровне царевич Алексей все же брат... Только в личных архивах наиболее влиятельных фамилий (Воронцовы, Куракины, Румянцевы) хранились под замком ранние или поздние копии тех секретных документов, время которых «еще не настало»...<sup>11</sup>.

Документы дремали в сундуках, кончался XVIII век, легенды множились, споры не утихали.

Автор многотомных «Деяний Петра Великого» купец-историк Иван Голиков в конце XVIII в. обращался к «не зараженному предубеждением читателю»: «Слезы сего великого родителя [Петра] и сокрушение его доказывают, что он и намерения не имел казнить сына и что следствие и суд, над ним производимые, были употреблены как необходимое средство к тому единственно, дабы, показав ему ту пропасть, к которой он довел себя, произвесть в нем страх следовать впредь теми же заблуждения стезями». Голиков защищает официальную версию о смерти царевича «от огорчения», подчеркивая, что Петр еще не успел утвердить приговор; при этом царь продолжал заниматься делами, чего, по мнению историка, не могло бы быть, если бы произошло таинственное убийство<sup>12</sup>. Еще раньше, 9 ноября 1761 г., Вольтер писал И. И. Шувалову: «Люди пожимают плечами, когда слышат, что 23-летний принц умер от удара при чтении приговора, на отмену которого он должен был надеяться»<sup>13</sup>.

<sup>11</sup> В архиве Воронцовых копии писем Петра I и к нему «от фамилии его», а также копии 28 документов А. И. Румянцева. Отдел рукописей Института истории. Ленинградское отделение (ЛОИИ), ф. 36 (арх. Воронцовых), оп. 1, № 1308. По материалам из архива Воронцова Н. Мурзакевич издал в 1849 г. «Письма царевича Алексея Петровича к его родителю Петру Великому, государыне Екатерине и кабинет-секретарю Макарову».

<sup>12</sup> И. И. Голиков. Деяния Петра Великого. Изд. 2, т. VII. М., 1838, стр. 118, 126.

<sup>13</sup> Цит. по: И. Л. Фейнберг. Незавершенные работы Пушкина. Изд. 5-е. М., 1969, стр. 148.

Не верил официальной версии и многознающий Георг Гельбиг, секретарь саксонского посольства при дворе Екатерины II (царица не любила этого многознания и в 1796 г. писала: «Негодяй Гельбиг отозван»).

Наступил XIX век. 1812 год оставил в этой истории некоторый след, что отражено в старинном архивном документе: «Следственное дело о царевице Алексее Петровиче и о матери его царице Евдокии Федоровне хранилось в особом сундуке, но в нашествии на Москву французов сундук сей злодеями разбит и бумаги по полу все были разбросаны, но по возвращении из Нижнего [Новгорода] архива вновь описаны и в особой портфели положены». Позже были переизданы официальные документы 1718 г. о деле царевица.

Как известно, в ту пору состояние архивных фондов было таково, что даже верховная власть не знала и не могла дознаться до многих обстоятельств своего прошлого, являясь как бы государственной тайной «для самой себя».

В конце 1820-х — начале 1830-х годов по приказу Николая I и под руководством Д. Н. Блудова (в ту пору еще только выдвинувшегося в высшие бюрократические круги) шла большая работа по упорядочению, описанию и соединению различных секретных материалов в единое государственное архивохранилище (мы еще не раз в ходе повествования коснемся этой важной операции).

Необходимость для самодержца хотя бы «под рукой» иметь все бумаги о прошедшем приближала, облегчала последующее обнародование существенных исторических фактов (большой частью вопреки желанию власти).

Один из первых комплексов документов, который заинтересовал Блудова, был связан с делом Алексея. Из переписки Блудова с министром иностранных дел К. В. Нессельроде видно, что из Московского главного архива министерства иностранных дел пересланы для Блудова (и царя) «секретные дела, касающиеся до замечательнейших происшествий царствования Петра Великого». Только о царевице (не считая его сообщников) в архиве имелось 13 больших

дел<sup>14</sup>. Примерно тогда же были переизданы официальные документы XVIII в. о деле царевича<sup>15</sup>. Позже, в 1843 г., Д. Н. Блудов извещал Николая I: «Суд несчастного царевича Алексея Петровича сопровождался розысками и последствиями, пробуждающими тяжкое воспоминание, и тайна которого, несмотря на торжественность главных действий суда, может быть, и теперь еще не вполне раскрыта»<sup>16</sup>.

В 1830-х годах Пушкин устремился к закрытым архивам XVIII столетия. «Сколько отдельных книг, — писал он М. П. Погодину, — можно составить тут! Сколько творческих мыслей тут могут развиться!» (П. XV. 53)<sup>17</sup>.

12 января 1832 г. Нессельроде запрашивал царя: «Благоугодно ли будет Вашему императорскому величеству, чтобы титулярному советнику Пушкину открыты были все секретные бумаги времен императора Петра I, в здешнем архиве хранящиеся, как-то: о первой супруге его, о царевиче Алексее Петровиче»<sup>18</sup>. Соответствующее разрешение было Пушкину дано. И. Л. Фейнберг установил, что поэт-историк сумел ознакомиться с рядом важных секретных документов о царевиче<sup>19</sup>.

После гибели Пушкина тетради его архивных выписок были представлены в цензуру, и царь нашел, что рукопись издана быть не может «по причине многих неприличных выражений на счет Петра Великого». Тетради были опубликованы П. С. Поповым почти 100 лет спустя.

<sup>14</sup> ЦГАДА, Госархив, р. VI, № 561.

<sup>15</sup> «Собрание писем императора Петра I к разным лицам с ответами на оные», ч. I—IV. СПб., 1829—1830 гг.

<sup>16</sup> ЦГАДА, Госархив, р. VI, № 587, л. 291.

<sup>17</sup> Здесь и далее ссылки на сочинения А. С. Пушкина (Полное собрание сочинений. Изд. АН СССР, т. 1—17. М.—Л., 1937—1959) даются в тексте с сокращенным указанием автора (П), номера тома и страницы.

<sup>18</sup> Сб. «Пушкин. Документы государственного и Санкт-Петербургского главного архива министерства иностранных дел, относящиеся к службе его в 1831—1837 гг.». Сост. Н. Гастфрейнд. СПб., 1900, стр. 17—18.

<sup>19</sup> И. Л. Фейнберг. Новые данные о работе Пушкина над историей Петра (Пушкин и «дело царевича Алексея»). — «Вестник АН СССР», 1955, № 1, стр. 83—95.

Среди записей Пушкина, между прочим, находим: «25 (июня 1718) прочтено определение и приговор царевичу в Сенате.

26 царевич умер отравленным» (П. X. 246).

Откуда узнал Пушкин об отравлении? Сюжет этот был еще столь опасен в то время, что лишь с помощью криминалистов И. Л. Фейнберг прочел тщательно зачеркнутые строки в дневнике переводчика Келера о его беседе с Пушкиным: «Он раскрыл мне страницу английской книги, записок Брюса о Петре Великом, в которой упоминается об отраве царевича Алексея Петровича, приговаривая: «Вот как тогда дела делались»<sup>20</sup>.

Пушкин верно понял, что именно так тогда дела делались, но подробности насчет отравления были недостоверны: записки Брюса считаются едва ли не подделкой конца XVIII в. Как видим, даже Пушкин, жадно вылавливающий каждую деталь тайной истории Петра, не смог прийти к истине.

Через несколько лет этими же сюжетами занялся историк Н. Г. Устрялов — человек весьма благополучный и верноподданный, но притом усердный, дошный исследователь. Пока царствовал Николай I, Устрялов издавал по сути не историю Петра, а документальный панегирик прапрадеду своего императора. В 1846 г. историк приступил к розыскам в Петербургском архиве. «Меня особенно интересовала мысль, — вспоминал он, — нет ли в архиве бумаг о царевиче Алексее; по описям они не значились. Я уж думал, не уничтожены ли (они) при Петре II, как вообще говорили. Спросил Поленова [начальника архива], нет ли дела о царевиче? Он сказал: «Дело есть в секретном отделении, но дать его не может без особого дозволения канцлера». Я просил его доложить. Вскоре Поленов объявил мне, что граф Нессельроде, тогдашний канцлер, желает со мною лично познакомиться. На другой день я отправился к графу. Он принял меня в кабинете, посадил подле себя на диване и долго разговаривал по-русски чисто, правильно, только с немецким акцентом. Он объявил в заключение готовность содействовать мне во всем.

<sup>20</sup> Там же, стр. 93—94.



После того в следующий день дело о царевиче было принесено в нескольких картонах из секретного отделения и положено на стол в той комнате, где я обыкновенно занимался. Было оно в моих руках три месяца, с 3 июня 1846 г. Все бумаги сохранились, как видно из реестра, приложенного еще при Петре I графом Толстым. Оно хранилось долго в крепости, в кованом сундуке за царскими печатями, которые свидетельствовались ежегодно. Я переписал из него все любопытное, часто оставаясь в департаменте один, когда уходили домой директор со всеми чиновниками [...] Я догадывался, что в деле собрано не все, что касалось царевича...»<sup>21</sup>.

Однако к делам тайной экспедиции Устрялов не был допущен министром юстиции В. Н. Паниным на том основании, что «дела упраздненных тайных экспедиций преданы вечному забвению, а по случаю разбора их в 1836 г. последовало вновь высочайшее повеление, коим строжайше подтверждалось хранить те дела в тайне и никому не сообщать»<sup>22</sup>.

Когда же работа Устрялова о Петре I была закончена, правительство не торопилось разрешать издание этого вполне лояльного труда, и, конечно, дело Алексея играло тут известную роль. Когда Устрялов представил рукопись первого тома своей истории Николаю I, он получил ответ министра народного просвещения Ширинского-Шихматова (от 13 февраля 1850 г.), где сообщалось, что граф Блудов доложил о рукописи царю и общее впечатление «наверху» благоприятное. Тем не менее автору предлагалось «не спешить изданием в свет первого или и первых томов сей истории, которые могут и должны быть еще дополнены и исправлены; особливо же для того, чтоб иметь время и возможность, с одной стороны, воспользоваться еще некоторыми для истории Петра Великого источниками, из коих иные, вероятно, остались Вам неизвестны или не вполне известны; с другой же, лучше окончательно обработать даже и гото-

<sup>21</sup> Н. Устрялов. Воспоминания о моей жизни. — «Древняя и новая Россия», 1880, август, стр. 635.

<sup>22</sup> ПД, ф. 14 (Н. Г. Устрялова), № 80. Письмо В. Н. Панина — Н. Г. Устрялову от 10 июля 1847 г.



вые уже части сочинения, и наиболее те, которые относятся не к одной какой-либо эпохе, а к общему, так сказать, свойству века и действий первого из наших императоров»<sup>23</sup>.

Прошло еще четыре года. Устрялов исправлял первый том и заканчивал следующие. Наконец он решился снова попросить власти о публикации.

9 ноября 1854 г. другой министр народного просвещения, А. С. Норов, отвечал историку:

«Так же как и тогда, граф Блудов находит и теперь, что это сочинение достойно быть украшено посвящением имени государя императора; но что для усовершенствования самого труда, столь важного и замечательного во многих отношениях, и чтоб Вы имели время и возможность, с одной стороны, воспользоваться некоторыми для истории Петра Великого источниками, из коих иные, вероятно, были Вам неизвестны или не вполне известны, а с тем вместе и лучше окончательно обработать даже готовые части этого сочинения [...] должно бы, кажется, не спешить изданием в свет первого или и первых томов сей истории. Они могут и должны быть еще дополнены и исправлены, как, по мнению графа Блудова, Вы, конечно, сами почувствуете необходимость этого при продолжении и по мере успехов работы Вашей.

Его императорскому величеству благоугодно было удостоить и ныне, так же как в 1850 году, все эти замечания и мысли графа Блудова своего высочайшего одобрения»<sup>24</sup>.

Лишь после смерти Николая I Устрялову было разрешено печатать в типографии II отделения «Историю царствования Петра Великого» (каждый том большим по тем временам тиражом — 3000 экземпляров); в марте 1859 г. Александру II по всеподданнейшему докладу Блудова «благоугодно было всемилостивейше соизволить на напечатание шестого тома»<sup>25</sup>, посвященного делу Алексея. Время ушло

<sup>23</sup> ЦГАДА, ф. 1274, оп. 1, № 685, л. 2.

<sup>24</sup> Там же, л. 3; сравни *Н. Устрялов. Воспоминания...* — «Древняя и новая Россия», 1880, август, стр. 667—671.

<sup>25</sup> Там же, л. 3—4.

вперед: уже давно появилось словечко «устряловщина», символ искажения и умолчания истории, и если даже сам Устрялов выпускал «опасный» том, это говорило о духе эпохи.

Герцен не обошел вниманием новое издание и в одной из своих статей заметил: «Золотые времена Петровской Руси миновали. Сам Устрялов наложил тяжелую руку на некогда боготворимого преобразователя» (Г. XIV. 349).

Перед выходом своей книги Устрялов отправился к профессору К. И. Арсеньеву, прежде читавшему русскую историю наследнику, чтобы «узнать у него наверное, как умер царевич». «Я рассказал ему, — вспоминал потом Устрялов, — все, как у меня написано, т. е. что царевич умер в каземате от апоплексического удара [...] Арсеньев мне возразил: «Нет, не так! Когда я читал историю цесаревичу, потребовали из государственного архива документы о смеоти царевича Алексея. Управляющий архивом Поленов принес бумагу, из которой видно, что царевич 26 июня (1718) в 8 часов утра был пытан в Трубецком раскате, а в 8 часов вечера колокол возвестил о его кончине»<sup>26</sup>.

Это была запись в гарнизонной книге Санкт-Петербургской крепости: последовательность событий кажется достаточно ясной — царевича пытали утром его последнего дня (после приговора) и он оттого скончался.

Казалось, все выяснилось. Один из рецензентов Устрялова восклицал, что «отныне процесс царевича поступил уже в последнюю инстанцию — на суд потомства». Однако именно в 1858 г., когда Устрялов закончил свой труд и отдал его в типографию, появился странный документ о той же истории, и вокруг него начались любопытные споры и разговоры.

Весной 1858 г., как известно, вышла четвертая книга «Полярной звезды». На странице 279 помещался заголовок: «Убиение царевича Алексея Петровича — Письмо Александра Румянцева к Титову Дмитрию Ивановичу».

---

<sup>26</sup> Н. Устрялов. Воспоминания о моей жизни. — «Древняя и новая Россия», 1880, август, стр. 680.

В конце письма находилось примечание, очевидно сделанное Герценом и Огаревым: «Мы оставили правописание нам присланного списка». Под письмом дата — июля 27 дня 1718 г., из С.-Петербурга, т. е. ровно через месяц после смерти царевича. Вот как начинается документ: «Высокопочтеннейший друг и благодетель Дмитрий Иванович!

Се паки не обинуясь, веление ваше исполняю и пишу сие, его же не поведал бы, ни во что вмняя всяческие блага, и отцу моему, мне жизнь даровавшему, понеже бо чту вас, яко величайшего моего благодетельца [...] А как я человек живой, имеющ сердце и душу, то всего того повек не забуду, и благодарствовать Вам, аще силы дозволят, потщуся. От искренности сердца возглаголю, что как прочитал я послание ваше да узнал, каких вестей требуете от меня, то страх и трепет объял мя, и на душу мою налегли тяжкие помышления...»

Румянцев размышляет далее, что, открыв страшную тайну, будет «изменник и предатель» своего царя, но не может отказать «благодетельцу своему» и, конечно, молит его — «сохраните все сие глубоко в сердце своем, никому не поведавая о том из живущих на земле».

Затем начинается собственно сама тайна. Рассказ об Алексее ведется с того времени, когда его привезли из Москвы (где он отрекался от наследования) в Петербург, и при этом открылись новые провинности царевича. Заметим (это важно для последующего изложения): в рассказе нет никакой предьстории насчет бегства царевича за границу, роли Румянцева в его доставлении домой и т. д. Все происходит уже после отречения.

Румянцев кратко рассказывает о следствии и суде, «о царевичевой девке» Евфросинии, давшей ценные показания, «за что ей цо царскому милосердию живот дарован и в монастырь на вечное покаяние отослана». Затем сообщается о пытках и казнях разных сообщников Алексея, о смертном приговоре ему: «Светлейший князь Меншиков, да канцлер граф Гавриил Головкин, да тайный советник Петр Толстой, да я и ему то осуждение прочитали. Едва же царевич о смертной казни услышал, то зело поблед-

нел и пошатался, так что мы с Толстым едва успели под руки схватить и тем от падения долу избавить. Уложив царевича на кровать и наказав о хранении его слугам да лекарю, мы отъехали к его царскому величеству с рапортом, что царевич приговор свой выслушал, и тут же Толстой, я, генерал-поручик Бутурлин и лейб-гвардии майор Ушаков тайное приказание получили, дабы съехаться к его величеству во дворец в первом часу пополудни».

Румянцев не понимал, зачем его вызывают, а когда явился, застал кроме Петра также царицу и троицкого архимандрита Феодосия. Петр плакал, сетовал на Алексея, но заявил: «Не хочу поругать царскую кровь всенародную казнию, но да совершится сей предел тихо и неслышно». Румянцев далее рассказывает, как был поражен этим приказом, «ибо великость и новизна сего диковинного казуса весь мой ум обаяла, и долго бы я оттого в память не пришел, когда бы Толстой напamятованием об исполнении царского указа меня не возбудил». Четверо исполнителей идут в крепость. Ушаков отсылает стражу к наружным дверям — «якобы стук оружия недугующему царевичу беспокойство творит», и в крепости не остается никого, кроме царевича. Входят в камеру, Алексей спит и стонет во сне. Пришедшие рассуждают, как лучше: убить ли царевича, пока спит, или разбудить, чтобы покаялся в грехах. Решились на второе. Толстой разбудил Алексея и объяснил ему, что происходит:

«Едва царевич сие услышал, как вопль великий поднял, призывая к себе на помощь, но из того успеха не возмев, начал горько плакаться и глаголя: «Горе мне, бедному, горе мне, от царские крове рожденному! Не лучше ли родиться от последнего подданного!» Тогда Толстой, утешая царевича, сказал: «Государь, яко отец, простил тебе все прегрешения и будет молиться о душе твоей, но, яко монарх, он измен твоих и клятвы нарушения простить не мог... прими удел свой, яко же подобает мужу царской крови, и сотвори последнюю молитву об отпущении грехов своих». Но царевич того не слушал, а плакал и хулил его царское величество, нарекал детоубийцею. А как увидели, что царевич молиться

не хочет, то, взяв его под руки, поставили на колени, и один из нас, кто же именно, от страха не упомяну, говорит за ним: «Господи! в руки твое предаю дух мой!» Он же, не говоря того, руками и ногами прямися и вырваться хотяще. Тогда той же, мню, яко Бутурлин, рек: «Господи! упокой душу раба твоего Алексия в селении праведных, презирая прегрешения его, яко человеколюбец!» И с сим словом царевича на ложницу спиною повалиши, и взяв от возглавия два пуховика, главу его накрыли, пригнетая, ондеже движения рук и ног утихли и сердце битися перестало, что сделалось скоро, ради его тогдашней немощи, и что он тогда говорил, того никто разбирать не мог, ибо от страха близкия смерти ему разума потрясение сталося.

А как то совершилося, мы паки уложили тело царевича, якобы спящего, и, помоляся богу о душе, тихо вышли. Я с Ушаковым близь дома остались, да кто-либо из сторонних туда не войдет, Бутурлин же да Толстой к царю с донесением о кончине царевичевой поехали. Скоро приехали от Двора господа Крамер и, показав нам Толстаго записку, в крепость вошла, и мы с нею тело царевича опрытали и к погребению изготовили, облекли его в светлые царские одежды. А стала смерть царевича гласна около полудня того дня, сие есть 26 Июня, якобы от кровяного пострела умер. На третий же того день тело его с полобающию сыну цареву честью перенесено из крепости в Троицкий собор, а 30 числа в склеп поставлено в Петропавловском соборе близь тела его царевичевой супруги.

И все то делалось уже, погребение и перенесение, при великом стечении народа и всякого чина и звания людей по церемониалам, от самого государя апробованным, и были красно и чинно, а настоящей же смерти царевича никто не ведал. А на похоронах царь с царицей был и горько плакал, мню, яко не о смертном случае, а припамятуся, что из того сына своего желал доброго наследника престолу сделать, но ради скверных его свойств многие страдания перенес и вотще труд и желание свое погубил... Вся сия от искренности моя поведав, паки молю, да тайна от Вас пребудет, и да не явлюся изменник моего

пресветлого доверителя, в чем несомнен пребываю, ибо, не зная Вас, того и под страхом смерти не написал бы.

Вашему сыну, а моему вселюбнейшему благодарию Ивану Дмитриевичу мое почтение отдайте, а я вам, низжайше творя поклонение, по гроб мой пребуду Вашим вернейшим услужником.

Александр Румянцев».

Вот какое письмо появилось в печати в 1858 г., ровно через 140 лет после описываемого в нем события.

Письмо злое и сильное. Оно как будто освещает темную страницу, почти полтора столетия скрытую от мира. Кажется, какая разница, сам ли царевич умер после пыток или был задушен по приказу отца? Разница действительно невелика, но ведь не зря же сто сорок лет отрицалась насильственная смерть Алексея. Власти боялись, чтобы лишние глаза не взглянули за стену, ширму, завесу, отделяющую парадную, официальную историю самодержавия от секретной, откровенной, кровавой. Кроме всего прочего нельзя забывать и о том времени, когда появилась публикация: 1858—1859 гг. — канун реформы, острая борьба нового и отживающего, стремление лучших сил русского общества атаковать своих противников не только в настоящем времени, но и отбить у них захваченное, оболганное прошлое. Никогда не утихавший спор о значении петровских преобразований разгорался вновь: что победит — заложенное в тех новшествах прогрессивное, просвещенное начало (по Пушкину, «свобода — неминуемое следствие просвещения...»)? Или верх возьмут другие элементы тех же коренных реформ 1700-х годов — деспотизм, крепостничество, жестокость?

«Мы не верим ни призванию народов, ни их предопределению, мы думаем, что судьбы народов и государств могут по дороге меняться, как судьба всякого человека, но мы вправе, основываясь на настоящих элементах, по теории вероятности, делать заключения о будущем», — написав эти строки в 1859 г., Герцен не скрыл своей надежды: «То, что было с московским периодом, то будет неминуемо с петербургским. И так, как реформа Петра убила москов-



ский порядок, так предстоящая реформа убьет петербургский» (Г. XIV. 54).

В эту же пору о тех же сюжетах с осторожностью высказываются и в России. Даже весьма умеренный историк М. П. Погодин 14 марта 1860 г. вызывает «бурю рукоплесканий» в петербургском пассаже, заявив, что «появление новых документов о процессе царевича Алексея напоминает о праве и возможности произнести откровенный исторический суд над событиями и лицами эпохи русского преобразования»; аудитории были сообщены страшные подробности пыток и казней 1718 г. Затем Погодин, впрочем, отказался «судить преобразователя, особенно здесь, в Петербурге, где... каждый камень говорит о нем, на каждом шагу встречается его имя и память», и просил бога «отпустить прегрешения и даровать мир душе Петра»<sup>27</sup>.

Примерно в это же время отрывки из письма Румянцева к Титову просочились в русскую легальную прессу. Хотя в газете «Иллюстрация» в начале 1859 г. публикация этого документа оборвалась посередине — как объявила редакция, «по причинам, от нас не зависящим», — газета успела сообщить, что «это письмо давно уже ходит по рукам любителей отечественной истории»<sup>28</sup>.

Действительно, в 1850-х годах письмо передавали из рук в руки, переписывали. Мне удалось выявить восемь списков этого документа, не считая, понятно, публикации «Полярной звезды» и копий, явно заимствованных оттуда<sup>29</sup>.

<sup>27</sup> О взгляде Погодина на Петра I см. Н. Л. Рубинштейн. Русская историография. М., 1941, стр. 270—271.

<sup>28</sup> «Иллюстрация» 7, 21 мая и 4 июня 1859 г.

<sup>29</sup> Пять списков в ПД: список Н. Г. Устрялова (ф. 14, № 16, л. 26—30); безымянный, вместе с письмом А. Татищева — А. А. Ивановскому от 14 августа 1826 г. (№ 9291/LIII 6.69.11—12); почерком М. И. Семевского — вместе с «Описанием смерти Павла I» (р. 1, оп. 24, № 86); с карандашной пометкой «от Б. Модзалевского 1916 г.» (р. II, оп. 1, № 383); М. И. Семевского («Михайлованова»), близкий к списку № 3 (ф. 274, оп. 1, № 438, л. 105—124). Кроме того, три списка в ПБ: из сборника материалов о XVIII в., (ф. 73 архив Бильбасова. В. 8, л. 5—13); из архива И. В. Помяловского (№ 71, л. 214—222); из собрания М. И. и А. И. Семевских (ф. 683, № 16, л. 1—8).



Отличие списков и текста, опубликованного Герценом, незначительно: чаще всего это опечатки. Здесь же заметим только, что по крайней мере три списка из восьми восходят к М. И. Семевскому. Это объясняется особой ролью историка и публициста в распространении «Письма Румянцева к Титову». Именно Семевский пытался опубликовать «Письмо» в «Иллюстрации», и по близкому сходству его списков с публикацией Герцена можно заключить, что Семевский был в этом случае (как позже еще не раз) тайным корреспондентом «Полярной звезды»<sup>30</sup>.

Как и следовало ожидать, вокруг «Письма Румянцева» вскоре закипели споры. Первым высказался Н. Г. Устрялов, который напечатал письмо в своей книге и объявил его подложным<sup>31</sup>. Доводы историка весьма основательны: он нашел у Румянцева несколько неточностей и несообразностей. Кое-какие сподвижники Алексея, упомянутые в этом письме от 27 июля 1718 г. как уже казненные, на самом деле погибли только в конце того года; никакого Дмитрия Ивановича Титова среди известных лиц петровской эпохи не находилось. Наконец, одним из самых серьезных аргументов Устрялова было то, что письмо это распространилось лишь в середине XIX в. Действительно, все известные его списки относятся примерно к концу 1840—началу 1850-х годов. Где же пролежал этот документ почти полтора столетия, почему о нем никто прежде не слышал — Пушкин, например, который был знаком с разнообразной литературой, ходившей в списках, и даже имел сверхсекретные мемуары Екатерины II?

Новейшая подделка, заключил Устрялов, и это

---

<sup>30</sup> Об этой деятельности М. И. Семевского см. ТК, особенно главы 7 и 13, а также в данной книге глава VII. Любопытно, что список «Михайлованова», явно предшествующий IV книге ПЗ, даже завершается почти таким же примечанием, как публикация ПЗ: «Надо думать, что язык сего любопытного манускрипта изуродован против подлинника невежеством переписчиков, а главное — их небрежностью в обращении с языком сборника» (ПД, ф. 274, оп. 1, № 438, л. 124).

<sup>31</sup> Н. Г. Устрялов. История царствования Петра Великого, т. VI, стр. 294 и сл. Текст письма там же, стр. 619—626.

заявление его чрезвычайно не понравилось либеральной и революционной публицистике, враждебно относившейся к консервативному историку. В начале 1860 г. ему отвечали два знаменитых русских журнала — «Русское слово», где уже начал печататься юный Писарев, и «Современник», который тогда вели Чернышевский, Добролюбов и Некрасов. Послушаем их доводы.

В «Русском слове» снова выступил Михаил Семевский, который, кстати, сообщил, что именно он познакомил Устрялова с письмом (о чем последний не счел нужным упомянуть). Поскольку же скорее всего именно Семевский передал Герцену послание Румянцева, его полемика с Устряловым как бы защищала честь заграничной публикации; историк сумел, между прочим, напомнить читателям, что «письмо Румянцева было напечатано в одном из русских сборников 1858 года»<sup>32</sup>.

Некоторые неточности документа, по мнению Семевского, идут от переписчиков: может быть, на самом деле Румянцев писал не в 1718-м, а в 1719 г.; про кого написано, что они уже казнены, могло быть прежде, «будут казнены» и т. п. Относительно неизвестного Титова Семевский замечает, что, во-первых, было несколько Титовых при Петре (правда, среди них нет Дмитрия Ивановича и его сына Ивана Дмитриевича). «Но, — продолжает Семевский, — еще вопрос: к Титову ли писал Румянцев? [...] П. Н. Петров, близко знающий отечественную историю и занимающийся ею в связи со своей специальностью — историей гравирования в России, сообщил нам, что на одном довольно старинном списке письма Румянцева он видел надпись: Татищеву»<sup>33</sup>.

Семевский резко и во многом справедливо нападает на Устрялова за то, что тот, хотя и опубликовал впервые в своей книге многие важные документы, но как бы нехотя, без должного разбора: «... не представил состояние общества, в котором оно находилось, когда из среды его исторгали почетных лиц,

<sup>32</sup> М. И. Семевский. Царевич Алексей Петрович Н. Устрялова. — «Русское слово», 1860, № 1, отд. «Критика», стр. 50.

<sup>33</sup> Там же, № 2, стр. 93—94.

именитых женщин, гражданских, военных и духовных сановников, когда хватали толпы слуг, монахов, монахинь — заковывали в железа, бросали в тюрьмы, водили в застенки, жгли, рубили, секли, бичевали кнутами, рвали на части клещами, сажали живых на колы, ломали на колесах. Представить бы нам страх и смятение жителей Петербурга и Москвы, когда прерваны были по высочайшему повелению сообщения между тем и другим городом, а по домам разъезжали с собственноручными ордерами денщики, сыщики, палачи»<sup>34</sup>.

Разумеется, в этих строках ясно видны политические симпатии юного Семевского, и его пафос относится не столько к 1718 г., сколько к своему, 1860 г. Именно исходя из этой страстной предпосылки, Семевский защищает подлинность письма Румянцева: «Нельзя же отвергать его так легко, мимоходом, как это делает г. Устрялов. За письмо говорит многое: этот современный колорит, эта живость красок при описании самых мелких подробностей, эта необыкновенная выдержанность рассказа, тон — именно такой, каким должен был говорить верный денщик Петра Алексеевича. Подлоги литературные — достояние того периода, в котором литература получила последнее развитие: они являются в эпоху роскоши литературы. Кому бы вздумалось, для кого и для чего составлять частное письмо с таким старанием, с таким знанием и таким искусством, что почти каждый факт, каждое слово, если иногда не соглашается с официальными историческими известиями, то всегда согласны с характером Петра, с характером окружающих его лиц? Устрялов не поднял всех этих вопросов...»<sup>35</sup>. В этой и других своих работах Семевский сообщал, между прочим, об интересе к письму Румянцева А. С. Хомякова, полагавшего, правда, что «румянцевская записка есть полуофициальный документ, составленный по приказанию Петра»<sup>36</sup>.

Одновременно, также в первом номере за 1860 г.,

<sup>34</sup> Там же, стр. 12—13.

<sup>35</sup> Там же, стр. 50.

<sup>36</sup> Там же, стр. 49; сравни «Иллюстрация», 1 мая 1859 г., стр. 318.

с отзывом на книгу Устрялова выступил «Современник». Любопытно, что автором статьи «Сведения о жизни и смерти царевича Алексея Петровича» одно время считали Добролюбова. Комментатор статьи в добролюбовском Полном собрании сочинений<sup>37</sup> находил в ней «последовательность революционного демократа» и другие особенности добролюбовского подхода к истории и считал курьезной ошибкой, что статья об Алексее Петровиче в «Русском биографическом словаре» «приписана Пекарскому, тогда как это есть работа Добролюбова».

Между тем П. П. Пекарский, несомненно, и был автором этой работы, и в последнее собрание сочинений Добролюбова статья «Сведения о жизни и смерти царевича Алексея Петровича» уже не внесена. В фонде П. П. Пекарского (Рукописный отдел Публичной библиотеки в Ленинграде) хранится черновой автограф основной части этого сочинения<sup>38</sup>.

Составитель приведенного комментария, убежденный в авторстве Добролюбова, исходил при оценке статьи не только из ее содержания. Тот же текст, написанный П. П. Пекарским, пусть одним из лучших представителей либеральной исторической школы, не вызвал бы некоторой части приведенных характеристик.

Однако перед нами не просто научный курьез. Серьезное ядро этого эпизода в том, что нужно точнее представлять реальные взгляды и отношения между деятелями революционной демократии 1850—1860-х годов и историками типа Пекарского. Расхождение, разрыв демократии и либерализма уже наметились, но далеко еще не завершились. Спустя два-три года, в 1862—1863 гг., статьи, написанные представителями разных школ, отличались бы уже резче (хотя и тут торопливому исследователю грозит опасность попасть впросак при оценке какой-нибудь анонимной статьи). Анализируя литературные и общественные отношения того времени, мы заметим еще

<sup>37</sup> Н. А. Добролюбов. Полное собрание сочинений в шести томах, т. 4, стр. 496—499. Комментарии А. В. Предтеченского. Подробнее об этом эпизоде см. С. А. Рейсер. Палеографии и текстология. М., 1970, стр. 220.

<sup>38</sup> ПБ, ф. 568 (П. П. Пекарского), № 56.

сохраняющуюся немалую общность различных антикрепостнических течений. Пекарский печатался в «Современнике», и это не было случайностью. Более того, специалисты, причислив эту статью к добролюбовским, хоть и ошибались, но, видимо, не тяжко. Роль Добролюбова в редактировании этого материала очень вероятна. Именно он обычно «вел» в «Современнике» материалы, относящиеся к Петру I (сам написал известную статью «Первые годы царствования Петра Великого» и другие работы о Петре и против Устрялова). Известно, что Пекарский придерживался в то время весьма критических воззрений на исторические методы Устрялова, но, возможно, Добролюбов еще более усилил эту позицию. Вот пример: в черновике Пекарского отсутствует одно очень острое место, появившееся в печатном тексте, и не исключено, что оно вписано (или рекомендовано) революционером-редактором. Говоря о принцессе Шарлотте, жене Алексея, Пекарский писал, что она испытывала нужду и огорчения «и, наконец, даже была лишена утешения переписываться со своими родными». А дальше следуют «подозреваемые» нами строки: «И, несмотря на то, некоторые ставят в вину Шарлотте, что она была рыжевата, не сближалась с Россиею и перед смертью не послала ни одного благословения народу, которого она должна была сделаться царицею! Странное требование для времени, когда сильные мира даже не понимали, что существует народ, а знали, что есть масса рабочих сил, годных иногда, чтобы подставить под неприятельскую картечь и ядра, иногда же, чтобы таскать землю и рыться в петербургских болотах»<sup>39</sup>.

<sup>39</sup> Сравни материалы ПБ (ф. 568, № 56, л. 3) и в собрании Н. А. Добролюбова (т. 4, стр. 200, 2-й абз.). Автограф и печатный текст расходятся еще в нескольких местах, причем иногда опубликованные строки выглядят более острыми, но порою мысли Пекарского смелее в черновике. Так, в печати исчезли выделенные ниже строки из следующего отрывка: «Мы не можем согласиться с теми, которые, как г. *Щебальский*, который со свойственной ему элегантностью в стиле и еще большей решительностью в приговорах, объявил, что процесс царевича поступил уже в последнюю инстанцию — на суд потомства» (ПБ, л. 1; Добролюбов, т. 4, стр. 194); фраза об Устрялове, который старался «прискакать такие обстоятель-

Статья «Современника», понятно, затрагивала куда более общие вопросы, чем подложность или истинность интересующего нас письма. В ней тоже ясно видны проблемы 1860 г., во многом перекликавшиеся с событиями 1718 г.

«Разумеется, — писал Пекарский, — большинству читающей русской публики известно, что у нас даже не приступлено к изданию материалов по части новой русской истории, а без их неудобомыслимо серьезное историческое произведение, которое бы удовлетворяло всем требованиям науки».

В статье, между прочим, поднимался вопрос и о причинах сочувствия Алексею со стороны народа (что заметил еще Пушкин и пытался определенным образом объяснить Устрялов): «Разъяснение привязанности народа к царевичу должно искать не в том, что Алексей толковал о старцах от писаний, что он не любил нововведений, а также что желал гибели Петербургу, а в причинах, которые увлекали народные массы за Разиным, Пугачевым и которые главнейше зависели от недовольства обычным ходом жизни и существовавшими порядками»<sup>40</sup>.

Напомним, что это писалось в то время, когда власть опасалась нового Разина или Пугачева и в стране усилилось недовольство «существовавшими порядками».

Журнал упрекнул Устрялова и за то, что он пользовался в основном официальными материалами: «Замечательно, что из 202 документов, относящихся

---

ства, которые бы сильнее обвиняли царевича и оправдали меры, против него взятые» (ПБ, л. 4). появилась в «Современнике» без выделенных слов (стр. 202); не попала в печать и следующая запись Пекарского: «По словам одного из величайших германских историков [Шлоссера? — Н. Э.], история должна быть наставницей человечества, предназначение ее — защищать несчастных и угнетенных против насилий и деспотизма; она будет романом или собранием всякого хлама и ветоши, если в ней нет уважения к святой вере в благородство и возвышенность человеческой души посреди окружающего ее развращения и испорченности света» (ПБ, л. 4 об.).

<sup>40</sup> Н. А. Добролюбов. Полное собрание сочинений в шести томах, т. 4, стр. 203; в рукописи Пекарского этот абзац был чуть мягче: вместо слов «разъяснение [...] должно искать» было: «разъяснение [...] историк должен искать» (ПБ, л. 6).



до жизни царевича, в труде г. Устрялова только один не имеет официального характера, написан не по служебной обязанности и не с розыску, а просто по влечению сообщить приятелю и благодетелю о подробностях смерти Алексея; но по странному стечению обстоятельств и этот единственный частный документ о царевиче признан г. Устряловым подложным... Мы говорим о письме Румянцева благодетелю его Дмитрию Ивановичу Титову». Затем Пекарский сообщает, что письмо появилось в Петербурге «лет пять тому назад», и полагает, что если бы документ был поддельным, то в нем как раз не было бы некоторых ошибок и неточностей, которые легко мог бы преодолеть «лжеавтор». В конце статьи читаем: «Пишущий эти строки списал несколько лет тому назад копию письма с копии, принадлежавшей покойному профессору Д. И. Мейеру, который сказывал притом, что она сообщена ему одним знакомым, бывшим в отпуску в деревне и списавшим для себя копию с этого письма у одного из соседей — потомка Титова».

Кроме всех этих любопытных рассуждений и доводов Семевский в «Русском слове» и Пекарский в «Современнике» напомнили Устрялову об одном обстоятельстве, которое еще более усиливало их мнение относительно подлинности письма. Дело в том, что письмо Румянцева к Титову было как бы посланием № 2: еще за 16 лет до его появления в печати стало известно другое послание Александра Румянцева — «письмо № 1».

1844 год. В четвертой книге знаменитого петербургского журнала «Отечественные записки» публикуются стихи Огарева «Когда во тьме...» и «Хандра», первые стихи Фета, продолжением идут «Парижские тайны» Эжена Сю; наконец, самый притягательный для читателей материал номера в разделе критики: «Сочинения Ал. Пушкина, статья 6-я» — В. Г. Белинского...

Издатель журнала Андрей Краевский, хитрый и опытный литературный делец, умело собирает авторов, стараясь при этом не поспориться со вспыльчивыми николаевскими властями.



Среди материалов второго отдела (наука) печаталась большая статья (32 страницы) — «Материалы для истории Петра Великого». Статья подписана: «Князь Влад. К-в; г. Глинск, 25 ноября 1843 г.»<sup>41</sup>. Это имя встречается в журнале не раз. Еще в 1842 г. им подписана работа «Реляции о Чесменском сражении», причем редакция благодарила «почтенного автора» за «прекрасный подарок»<sup>42</sup>. В «Современнике», «Московских ведомостях», опять в «Отечественных записках» и снова в «Современнике» в течение 1840-х годов подпись «Князь Вл. К-в» появляется около 10 раз в связи с различными историческими материалами и публикациями, все больше о Петре I. Иногда около сокращенной фамилии князя-историка появлялось указание «Ромны» или «Глинск»: это Полтавская губерния (и гоголевские времена!). В заштатном Глинске было меньше жителей, чем в Миргороде; выходит, что там, среди «иванов ивановичей и иванов никифоровичей», находился и тот человек, чьи исторические материалы печатали первейшие журналы столицы.

Полное имя князя было установлено историками только в 1920-х годах — Владимир Семенович Кавкасидзе (иногда писали — Кавказидзев)<sup>43</sup>. Необычная фамилия, напоминая о Кавказе, объяснялась историей рода: в XVIII в. предки переехали с Кавказа и были включены в российские родословные книги.

Какими же особенными материалами о Петре мог располагать в украинской глуши князь Кавкасидзе? В статье его 14 документов, большей частью относящихся к делу царевича Алексея. Четыре письма Петра к сыну и пять писем Алексея к Петру за 1715—1717 г., два письма Петра I в Вену (1717), документы об отречении царевича и манифест о том.

Зачем «Отечественные записки» печатали эти материалы, хотя к тому времени имелось на русском

<sup>41</sup> «Отечественные записки», 1844, № 3—4, отд. II, стр. 77—109.

<sup>42</sup> «Отечественные записки», 1842, № 4, отд. «смесь», стр. 69.

<sup>43</sup> «Сборник Российской публичной библиотеки», т. 1, вып. 1. Пг., 1920, стр. 72, 84.

языке несколько печатных изданий, где эти материалы воспроизводились (книга Голикова, перевод Капитора, «Розыскное дело о царевиче», переизданное в последний раз в 1829 г.)?

Дело в том, что, во-первых, те книги все же не удовлетворяли интереса публики, были достаточно дороги и редки. Во-вторых, Кавкасилзев прислал документы в журнал с любопытными отличиями и дополнениями против прежних изданий (о чем будет сказано ниже). В-третьих, в его статье среди известных текстов были кое-какие документы, которые вообще прежде нигде не появлялись. Так, двенадцатым по счету (из 14) документов шло странное письмо Александра Румянцева к некоему Ивану Дмитриевичу (фамилия не обозначена): Румянцев сообщает своему «милостивцу и доброприятелю» Ивану Дмитриевичу о событиях, происшедших за «недолгое время» (т. е., очевидно, за время после встречи адресата и корреспондента или после поелыдущего письма). Речь идет о событиях начала 1718 г., когда царевич Алексей был доставлен Толстым и Румянцевым в Москву. Далее подробно описывается процедура первой встречи беглеца с отцом, его отречение и начало следствия по делу царевича и его сообщников. «А как тое случится, — писал Румянцев, — к вам я паки в Рязань отпишу, когда к тому такая же благоприятная оказия будет. Драгому родителю вашему мое нижайшее поклонение отлайте, а об Михайлушке своем не жалеите на меня: его сам светлейший к ученью назначил, паче же радуйтесь, ибо его величество ученых много любит и каждодневно говорить нам изволит: «учитесь, братцы, ибо ученье свет, а неученье тьма есть». А затем прощайте и добром поминайте вашего усеолного услужника Александра Румянцева: Москва 1718».

И Семевский и Пекарский, возражая Устрялову в 1860 г., вспомнили об этом письме из «Отечественных записок». Ведь связь его с письмом Румянцева к Титову очевидна: в последнем адресат — Дмитрий Иванович Титов, благодетель Румянцева и, очевидно, человек пожилой, причем Румянцев передает привет сыну Дмитрия Ивановича «вселяюбезнейшему доброприятелю Ивану Дмитриевичу». Письмо же,

публикуемое Кавкасидзевым, обращено именно к «благоприятелю Ивану Дмитриевичу», родителю же его (очевидно, Дмитрию Ивановичу) отдается «нижайшее поклонение», и еще упоминается представитель третьего поколения той же семьи — Михайлушка, очевидно, Михаил Иванович...

В письме № 1 (так назовем публикацию Кавкасидзева) Румянцев рассказывает довольно откровенно об определенном этапе в деле царевича — примерно с начала февраля до марта 1718 г. При этом Румянцев обещает продолжить отчет о событиях, что и делается в письме № 2 от 27 июля 1718 г. (описание убийства царевича). Важная подробность из первого письма — что письмо отправляется в Рязань (а оттуда, возможно, в ближайшую вотчину). Однако в первом документе нет никакой фамилии. Еще заметим, что если второе письмо, о гибели царевича, известно во многих списках, то первое — только в публикации «Отечественных записок».

Откуда же получил князь Кавкасидзев такие документы и где они были с 1718 по 1843 г.?

На это сам он дает любопытный ответ в предисловии к своей публикации: «Представляю вниманию любознательных читателей несколько актов, взятых мною из бумаг моего покойного соседа; но прежде, чем изложу содержание их, считаю себя обязанным упомянуть о том, каким образом достались они моему соседу, предварив сперва читателей, что эти сведения почерпнуты мною из изустного рассказа его». Далее сообщается, что в 1791 г. сосед, служивший тогда в чине поручика при воронежском и харьковском генерал-губернаторе В. А. Черткове, был послан своим начальником в имение Вишенки, где жил на склоне лет фельдмаршал П. А. Румянцев-Задунайский. Поручик славился как искусный каллиграф и получил от фельдмаршала для переписки тетрадь исторических документов. За ночь офицер не только переписал рукопись, но и сделал копию для себя. Румянцев, восхищенный почерком, взял поручика к себе, сказав: «Если этот офицер будет так же хорошо работать шпагой, как работает пером, то я сделаю из него человека». Кавкасидзев, сообщая, что именно копия, снятая когда-то с ру-

мянцевых бумаг, «и досталась мне... по смерти моего соседа», к сожалению, не указывает его фамилии, но зато приводит сохранившееся среди тех бумаг письмо, нечто вроде посвящения фельдмаршалу Румянцеву от некоего Андрея Гри... (фамилия, очевидно, не разобрана или нарочно сокращена). Последний объявляет, что, разбирая архив покойного Александра Румянцева, «обрел некоторую рукопись, относящуюся к царствованию Петра Великого», связанную с отцом полководца, и, между прочим, как то свидетельствует и самое «письмо его руки», все это сшил в одну книжицу и преподносит фельдмаршалу...

Итак, у П. А. Румянцева был архив, где, понятно, сохранялись и бумаги, оставшиеся от его отца. При разборе бумаг обнаруживаются материалы о царевиче Алексее (что довольно естественно, учитывая роль Румянцева-первого в этом деле), а также «письмо его руки» (очевидно, авторская копия или послание, возвращенное адресатом). Документы эти пролежали с 1718 по 1790-е годы в архиве Румянцевых. Это также объяснимо: слишком мрачные и опасные сюжеты в них затрагивались. Затем сосед Кавкасидзева снимает для себя копию, от него она позже попадает к самому Кавкасидзеву и достигает печати... Довольно ясно, отчего этот документ не появлялся больше столетия. Но мало того: «письмо Ивану Дмитриевичу» ведь явно родственно «письму к Дмитрию Ивановичу». Поэтому очень и очень вероятно, что у Кавкасидзева в руках было и письмо № 2, полученное тем же путем. Однако в 1844 г., при Николае I, было, разумеется, немисливо мечтать о напечатании документа, где описывается убийство члена российской императорской фамилии. Поэтому второе письмо Кавкасидзев мог в лучшем случае пустить по рукам, а если так, то очень понятно, почему списки с него пошли только в 1850-х годах: ведь лишь в 1840-х оно оказалось в руках князя.

Интересное косвенное подтверждение только что высказанной гипотезы находится в архиве журнала «Отечественные записки». Архив поступил в императорскую Публичную библиотеку в 1913 г. вместе с бумагами историка В. А. Бильбасова (который был

женат на дочери издателя журнала Краевского). Там находится, между прочим, рукопись одной из статей Кавкасидзева (к сожалению, не той, про которую идет речь). Однако рядом с этими документами, даже под близким архивным номером, среди бумаг редакции хранился один из списков письма Румянцева к Титову, выполненный неизвестной рукой примерно в середине XIX в.<sup>44</sup> Вероятно, он тоже от Кавкасидзева... Позже, сопоставляя на страницах «Современника» оба румянцевских письма, Печкарский резонно заметил: «Если предположить, что второе письмо подложно, то наобно заподозрить и первое, сообщенное князем Кавкасидзевым [ошибочно назван Козловым], который говорит, каким путем досталось оно не только ему, но и прежнему владельцу копии». «Современник» высоко оценивал письма Румянцева «собственно не потому, что в них описывается возвращение царевича в Россию и кончина его, а по тем подробностям, которые драгоценны для историков, так как в них проглядывает современная эпоха, совершенно независимо от официальностей, допросных пунктов и т. п...».

Однако до наших дней вопрос об этих письмах окончательно так и не разрешен. В книгах по истории Петра чаще всего сообщается, что царевич погиб вскоре после пытки, как сказано, в «Гарнизонной книге», открытой Устряловым. Однако еще несколько раз (например, в журнале «Русская старина»<sup>45</sup>) письмо Румянцева к Титову перепечатывалось как существенный исторический документ. В недавно вышедшей Советской исторической энциклопедии статья «Алексей Петрович» заканчивается так: «По существующей версии, он был задушен приближенными Петра I в Петропавловской крепости».

Попробуем разобраться в этой загадке, которой от времени появления писем — более столетия, а от времени, протекшего после описанных событий, — четверть тысячелетия. Есть три главных пути: за Румянцевыми, за Титовыми, за Кавкасидзевым.

<sup>44</sup> ПБ. ф. 73 (архив Бильбасова). В. 5, В. 8.

<sup>45</sup> «Русская старина», 1905, № 8.

В просмотренных бумагах Румянцевых ничего относящегося к изучаемому вопросу не нашлось<sup>46</sup>.

Ничего не дали и розыски Титовых, дворянской фамилии, сосредоточенной в основном в Рязанской губернии, куда и писал Румянцев<sup>47</sup>. Пекарский в «Современнике» ссылался на свидетельство профессора Д. И. Мейера, получившего копию (через посредников) у потомков Титова. Любопытно, что в черновом автографе статьи Пекарский сначала написал, что Мейер получил письмо «в Рязанской губернии», потом зачеркнул, написал «в разных...» и наконец зачеркнул окончательно<sup>48</sup>.

Однако, может быть, как полагал Семевский, «Титовы» — это ошибка, искажение реальной фамилии? Кроме свидетельств П. Н. Петрова о «Татищевых», сохранилось и примечание неизвестной рукой в списке Б. Л. Модзалевского: «Подлинная рукопись хранилась в семействе Титовых и вместе с именем последних досталась Капнисту»<sup>49</sup>.

Розыски в колоссальном архиве П. Н. Петрова<sup>50</sup>, а также среди материалов Татищевых и Капнистов были тщетными.

Наконец, Кавкасидзев. Если бы образованность этого человека была бы не слишком велика, на уровне его «тоголевских» соседей, тогда можно было бы поверить, что князь передал в «Отечественные записки» те материалы, что попали в его руки, а не присочинил их сам... Однако при более близком «знакомстве» с князем иллюзии насчет непросвещен-

<sup>46</sup> ЛБ, ф. 255; ЦГВИА, ф. 44; ЦГАОР, ф. 1057; ПБ, ф. 655; ЦГАДА, Госархив, р. XI, № 2; ф. 11, № 14—18. Впрочем, остались еще не обследованными в связи с интересующим нас сюжетом некоторые бумаги Румянцевых, находящиеся в Рязанском и украинских архивах, а также среди документов различных деятелей XVIII—XIX вв. Библиография печатных работ о П. А. Румянцеве — в книге «Петр Александрович Румянцев. Сборник документов», т. 3. М., 1955. При ознакомлении с главными румянцевскими фондами заметно отсутствие многих документов и писем, которые должны бы были там находиться. Известно, что часть бумаг погибла («Русский инвалид» № 127, 8 апреля 1854 г.).

<sup>47</sup> А. В. Селиванов. Род дворян Титовых. Рязань, 1893.

<sup>48</sup> ПБ, ф. 568, № 56, л. 5 об.

<sup>49</sup> ПД, разд. II, оп. 1, № 383,

<sup>50</sup> ПБ, ф. 575,



ности рассеиваются. Во-первых, о многом говорит обилие его статей, а также родственные связи: переехавший из Грузии в Россию в 1741 г. князь Мельхиседек Кавкасидзев был, между прочим, организатором первой грузинской типографии в Москве. Его внук Семен Ефремович не один год был роменским уездным предводителем дворянства и, видимо, считался человеком просвещенным и достаточным, если за него отдали Анастасию Васильевну Полетику, которая стала матерью Владимира Семеновича Кавкасидзева.

Полетика — одна из известных дворянских украинских фамилий. Отцом Анастасии Васильевны и дедом В. С. Кавкасидзева был известный историк Василий Полетика, вероятный автор (вместе со своим отцом и прадедом Кавкасидзева, Григорием Полетикой) книги «История руссов».

С одной стороны, принадлежность к такой семье объясняла, откуда у князя такой вкус к старине — по семейным связям он мог действительно иметь доступ к редким историческим материалам. Но с другой стороны, эта же образованность могла и поощрять его воображение...

Случайно сохранившийся в архиве «Отечественные записки» автограф одной из статей Кавкасидзева про Петра I сопровождается собственноручным письмом князя, отправленным из Ромен 3 ноября 1847 г.<sup>51</sup> Для характеристики автора письмо дает немало. Тонкая бумага, изысканный аристократический почерк... Передавая в редакцию список так называемого «Жития Петра Великого», князь демонстрирует тонкое и глубокое знание литературы и вполне приличный для того времени источниковедческий уровень.

Понятно, были предприняты поиски бумаг князя в различных архивах Москвы, Ленинграда, Украины. Ни в одном хранилище СССР личного фонда Кавкасидзевых не сохранилось, хотя письма чисто семейного характера имеются в Чернигове. Самое позднее упоминание о князе отыскалось в памятной книжке Полтавской губернии за 1865 г., где встречается

<sup>51</sup> ПБ, ф. 73 (архив Бильбасова), В. 5, стр. 1.



«кандидат в мировые посредники по Роменскому уезду губернский секретарь князь Владимир Семенович Кавкасидзев».

Интересные сведения сообщил недавно автору этой книги член-корреспондент Академии наук СССР А. А. Сидоров, внучатый племянник В. С. Кавкасидзева: в имении Николаевка Путивльского уезда (ныне Буринский район Сумской области) находилась в начале XX в. громадная библиотека и архив Кавкасидзевых, где были интересные исторические материалы: семья находилась в тесном культурном общении с другими известными в истории украинской культуры дворянскими родами — Полетиками, Гамалеями, Череповыми. К сожалению, судьба книг и бумаг неизвестна. Часть библиотеки была вывезена в 1918 г. в Путивль, остальное, должно быть, погибло в годы гражданской войны. О Владимире Семеновиче Кавкасидзеве близкие родственники вспоминали как о либеральном деятеле.

Таким образом, культурная традиция и связи В. С. Кавкасидзева несомненны, и, повторим, это довод и «за» и «против» его публикаций. Был произведен подробный анализ статьи Кавкасидзева 1844 г. о деле Алексея и тех 14 документов, среди которых было письмо Румянцева к Ивану Дмитриевичу (и, вероятно, «невидимый» 15-й документ — письмо Румянцева к Титову!).

Первое же письмо Петра к Алексею (октябрь 1715 г.) поражает расхождением с подлинным текстом (который уже не раз печатался до Кавкасидзева — Голиковым и др.). Так как князь, по его же словам, все время пользовался изданием грека Катифора (переведенным на русский язык Писаревым), пришлось положить рядом три текста петровского письма: 1) подлинный, 2) по Кавкасидзеву и 3) по Катифору (напомним, что Катифор издал письма Петра по-гречески, а русский переводчик перевел обратно с греческого на русский...) <sup>52</sup>. Разбор пока-

<sup>52</sup> Сравни Н. Г. Устрялов. История царствования Петра Великого, т. VI, «Житие Петра Великого, императора и самодержца Всероссийского, отца отечества» и «Отечественные записки», 1844, № 3—4, отд. II, стр. 77—109.

зал, что большая часть документов из публикации Кавкасидзева (9 из 14) заимствована из русского (писаревского) перевода книги Катифора с некоторыми добавлениями. Значит, эти документы были переписаны не раньше 1743 г. (дата завершения писаревского перевода), а возможно, и после 1772 г. (когда перевод был напечатан).

Три документа (два письма Алексея Петру и письмо Петра I Карлу VI) «смонтированы» на основании тех упоминаний об этих письмах, которые сохранились в официальных документах по делу Алексея. Эти официальные материалы, между прочим, также были в книге Катифора, так что можно предположить: Катифор был источником для 12 документов из 14.

Два документа — письмо Петра I какому-то духовному лицу (у Кавкасидзева — № 10, 16.VII. 1717 г.) и письмо Румянцева к Ивану Дмитриевичу — не имеют никаких видимых источников. Поэтому либо они существовали на самом деле (но, кроме составителя этого сборника документов, ни прежде, ни после никто к ним не имел доступа), либо и эти письма полностью сочинены...

Остановимся на последнем. Если все это компиляция, ловкое сочинение — то чье? Подозрение, конечно, прежде всего падает на Кавкасидзева: князь сам признается, что под руками у него Катифор и другие книги. Знание эпохи, хороший слог — все это позволило бы ему конструировать нужные документы. Семевский писал, что не видит мотивов для литературной подделки. Но, во-первых, столичные журналы неплохо платили за публикацию, а во-вторых, такое желание, как сочинить документ в духе какой-либо эпохи, выдать свое сегодняшнее за чужое прошедшее, часто не поддается достаточно рациональному объяснению. Ограничимся выводом, что Кавкасидзев мог это сделать — и мог, следовательно, сочинить также и письмо Румянцева к Титову. Если бы это подтвердилось, пришлось бы признать, что он был весьма способным и дерзким мастером подделки: ведь сам в письме к Краевскому пишет о своем знакомстве с Катифором и т. п. А ведь у многих крупных русских знатоков в те годы были в руках

Катифор и Голиков; и незадолго перед тем, в 1829 г., было переиздано «Розыскное дело» об Алексее, где еще раз перепечатывались основные документы... Но, несмотря на это, князь сумел напечатать и свои.

В России в ту пору уже знали отменных мастеров фальшивки — Бардина, Сулакадзева и др. Правда, они специализировались на подделках под куда более древние рукописи.

И все же князь или другой «автор» не очень-то рисковал: если бы его публично начали разоблачать (а этого, заметим, не произошло), он всегда мог бы сослаться, что у него-де был список именно таких документов: он за старых переписчиков не отвечает и откуда такие документы попали в архив Румянцевых — ведать не ведает.

В общем улики против князя серьезные, и это пока главная версия, объясняющая всю историю. Но все же не будем торопиться... Не «выплескивается ли с водой и ребенок»?.. Нет ли в этом странном компилятивном собрании хоть крупинцы истинных петровских тайн?

Если не князь все это сочинил, то главным подозреваемым лицом становится Андрей Гри... будто бы работавший на Румянцева. Он (или кто-то перед ним) мог составить для фельдмаршала экстракт из писаревского перевода книги Катифора. Это имело бы смысл делать, пока та книга еще не вышла, но была в списках, т. е. между 1743 и 1772 гг. (ведь сам переводчик Писарев признавался в предисловии к изданию 1772 г., что прежде с его рукописи сняли немало списков). Андрей Гри... как видно из его письма, помнил и знал самого Александра Румянцева, умершего в 1749 г. (именует того своим «высоким благодетелем», «незабвенным и достохвальным, в бозе почившим родителем вашего сиятельства»), так что тут противоречия нет.

Но зачем же даже в середине XVIII в. украшать и придумывать целые письма?

Заметим, что в ту пору на это смотрели еще иначе, чем в наше время и во времена князя Кавкасидзева. История еще не полностью отделилась от литературы. Принцип строгой научности еще не вытеснил

окончательно наивного своеволия древних летописцев, вводящих в чужие тексты различные вставки и вовсе не подозревавших, что это — «нельзя»...

Приведем недавно опубликованное интересное рассуждение на эту тему современных специалистов. В статье под названием «Историк — писатель или издатель источников?» И. Добрушкин и Я. Лурье обсуждали сложный дискуссионный вопрос об «Истории российской» В. Н. Татищева (1686—1750), где имеются спорные и сомнительные места, иногда рассматриваемые как фальсификация.

«Даже если мы придем к выводу, — пишут авторы, — что те или иные известия не заимствованы Татищевым из древних памятников, а принадлежат ему самому, это вовсе не будет равносильно обвинению историка в «недобросовестности» или «нечестности» и уж тем более никак не поставит под сомнение ценность «Истории российской»<sup>53</sup>.

Если Андрей Гри... действительно скопировал и украсил из лучших побуждений, для фельдмаршала Румянцева, отрывки из писаревского перевода Катифора — если он это сделал, то уж придумать самому «письмо руки Александра Румянцева» к Ивану Дмитриевичу, разумеется, никак не мог. Значит, если составителем-компилятором документов был Андрей Гри... тогда очень вероятно, что письмо № 1 (к Ивану Дмитриевичу) подлинное.

А письмо № 2 об убийстве царевича Алексея?

Если рассуждать очень строго, то реальность письма № 1 еще не доказывает подлинности письма № 2, его тоже могли подделать, руководствуясь именно первым документом... Но тут мы уж заходим слишком далеко: фактов нет, всяческие умозрительные построения слишком легки, а история наша не закончена.

Прямо или косвенно к запутанной истории письма Александра Румянцева причастны многие исторические деятели двух веков. Споры вокруг дела Алексея в 1858—1860 гг. были одной из самых современных тем.

Через несколько месяцев после выхода «Полярной

<sup>53</sup> «Русская литература», 1970, № 2, стр. 24.

звезды» с подлинным или мнимым письмом Румянцева к Титову Герцен уже воспользовался им для своей пропаганды. «Подумайте, — писал он в «Колоколе», — как росла русская мысль, чем убаюкивалась, что помнила, что видела [...] Она складывалась в виду Алексеевского рavelина, возле которого пиrowал со своими клеветами пьяный отец через несколько часов после того, как задушил измученного пытками сына, — из которого она не могла сделать мученика, так он был слаб и пошл; в виду Ропши, в которой развратная жена отравила мужа<sup>54</sup>, — и не могла не согласиться, что от него надобно было отделаться; в виду Михайловского дворца, где сын велел казнить бешеного отца<sup>55</sup>, — и не могла не благословить его решения.

Какое воспитание!

Но оно не оканчивается этим...» Г. XIV. 48).

---

<sup>54</sup> Подразумеваются Екатерина II и Петр III, убитый в Ропше в 1762 г.

<sup>55</sup> Александр I и Павел I.

Глава IV  
«СТОЛЕТЬЕ  
БЕЗУМНО И МУДРО»

Счастье и добродетель и  
вольность пожрал омут  
ярый,  
Зри, всплывают еще стра-  
шны обломки в струе.  
Нет, ты не будешь забвен-  
но, столетье безумно  
и мудро...

А. Н. Радищев.  
Осьмнадцатое столетие»

Кто может—грабит, кто не  
может—крадет...  
Души унывают,  
сердца развращаются,  
образ мыслей становится  
низок и презрителен...

Д. И. Фонвизин  
(впервые опубликовано  
Герценом в 1861 г.)



Д. Фонвизин



А. Радищев

В начале 1858 г. уже ясно  
видно сплетение современной  
и исторической темы в Воль-  
ных герценовских изданиях.  
Герцен и Огарев стремились  
представить злободневное и  
в связи с предшествующим



историческим развитием: 1830—1840-е годы, декабристские и пушкинские десятилетия, XVIII век.

Как известно, приближение апогея общественной борьбы 1860-х годов не только не ослабило битвы за прошлое, но, наоборот, число исторических публикаций в Вольных изданиях увеличилось, особенно к 1861 г.: с 1858 до конца 1861 г. Герцен и Огарев напечатали 269 материалов, относящихся к периоду до 1855 г., — документы, мемуары, статьи, запрещенные стихотворения, публицистические сочинения XVIII—XIX вв. Такое изобилие публикаций отражало несомненную общественную потребность в подобных документах, хорошо понятую в Лондоне. Кроме того, конечно, играла роль активизация русского общества, расширение круга тайных корреспондентов Вольной русской типографии. Сейчас известно, что главными «поставщиками» исторических материалов были деятели круга «Библиографических записок» и некоторые другие историки-публицисты: М. И. Семевский, П. И. Бартенев, Е. И. Якушкин, А. Н. Афанасьев, П. А. Ефремов, В. И. Касаткин и др. Публикации Вольной русской печати являются в немалой степени памятником их смелой, благородной деятельности.

Для новых документов — корреспонденций Герцен и Огарев время от времени предпринимали новые издания, такие, как «Исторические сборники Вольной русской типографии», «Записки декабристов», а также отдельные неперIODические выпуски исторических материалов, особенно по XVIII в.

«Потаенный XVIII век» был для конца 1850-х годов одним из актуальных и распространенных сюжетов как в вольных, так и в подцензурных изданиях. По числу публикаций и статей он первоначально опережал или по крайней мере шел наравне с новыми материалами о XIX столетии. Это понятно: более горячие, почти современные темы — о декабристах и Пушкине, например, — значительно труднее проходили в легальной печати; к тому же многие свидетели событий были живы, многие мемуары только еще создавались. Соотношение изменится лишь через несколько лет, когда в 1861—1863 гг. в Вольных изданиях станут явно преобладать документы XIX

столетия. С середины 1860-х годов значительно вырастет число таких материалов и в подцензурной печати (появится журнал «Русский архив», несколько позже «Русская старина» и др.).

Между тем в 1850-х годах в легальной литературе и публицистике выделялись новые, существенные публикации о политической истории конца XVIII в. «Современник», «Русское слово», «Библиографические записки» и другие журналы печатали статьи и документы о Н. И. Новикове, Д. И. Фонвизине, М. М. Щербатове, Е. Р. Дашковой, наконец, о восстании Пугачева и первом русском революционере А. Н. Радищеве. Один из главных издателей «Библиографических записок» — А. Н. Афанасьев выпускает книгу «Русские сатирические журналы 1769—1774 годов» (цензурное разрешение 16 октября 1858 г.), что вызвало известную статью Н. А. Добролюбова «Русская сатира в век Екатерины» (напечатана в октябрьской книжке «Современника» за 1859 г.).

Не стремясь подробно осветить все оттенки общественно-политических мнений о наследстве XVIII в., отметим только их широчайший спектр — от охранительной позиции Устрялова до революционно-демократического подхода «Современника». Обратим внимание также на разнообразие сюжетов — от публикаций документов, вышедших из-под пера самодержцев и их верных адептов, через различные направления просветительства, оппозиции к революционной платформе Радищева.

В этих исторических условиях среди важных публикаций и дискуссий выходили в свет различные Вольные издания, посвященные как «вчерашнему дню» — первой половине XIX в., так и «позапрошлому времени» — XVIII столетию. Связь с борьбой за былое, которая велась в самой России, здесь очевидна — обсуждаются те же вопросы, почти тот же круг лиц. Как известно, различные размышления о месте XVIII в. в русской истории находятся едва ли не во всех крупных сочинениях Герцена периода вольного книгопечатания. Остановимся подробнее на одной из важнейших проблем, представленной как в легальной, так и в бесцензурной печати, — соотно-

шении различных групп и течений русской мысли XVIII в.

В Вольных изданиях появляются сочинения и биографии разных исторических деятелей предшествовавшего столетия. Символично, что в одном и том же 1858 г. Вольная типография Герцена опубликовала два секретных сочинения с прямо противоположных полюсов русской жизни — «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева и «Записки императрицы Екатерины II». Между ними — Е. Р. Дашкова, Н. И. и П. И. Панины, М. М. Щербатов, Д. И. Фонвизин и другие мыслители и деятели<sup>1</sup>. Такой широкий охват лиц и мнений был достигнут не сразу. Даже один из самых просвещенных людей той эпохи — А. И. Герцен до 45—50 лет не знал многих важнейших памятников русского свободомыслия. В первом крупном очерке освободительной борьбы, известном труде А. И. Герцена «О развитии революционных идей в России», написанном в 1850 г., за главой «Петр I» (Г. VII. 170—192) сразу следует раздел «1812—1825». Правда, вторая часть главы о Петре посвящена общественной мысли второй половины столетия, и, конечно, нужно учитывать, что работа предназначалась для западных читателей, но все же круг чтения, знаний, представлений Герцена о временах отцов и дедов обозначается достаточно четко. «Цивилизации» Екатерины II противопоставлены Пугачев и Московский «чумной бунт» 1771 года. Посредине же упоминается о «французской философии на русской почве» и первых шагах литературы, которая «по сути дела являлась лишь благородным занятием нескольких умных людей и не оказывала никакого влияния на общество» (Г. VII. 189).

<sup>1</sup> О соотношении различных идеологических течений во второй половине XVIII — начале XIX в. см. Е. Г. Плимак. Основные этапы в развитии русского просвещения XVIII века. — Сб. «Проблемы русского просвещения в литературе XVIII века». М.—Л., 1961, К. В. Сивков. Подпольная политическая литература в России в последней трети XVIII века. — «Исторические записки», т. 19. М., 1946. Об идейном наследии Радищева в начале XIX в. см. В. П. Семенников. Радищев. Очерки и исследования. М.—П., 1923; Ю. М. Лотман. Источники сведений Пушкина о Радищеве (1819—1822). — Сб. «Пушкин и его время». Вып. I. Л., 1962.

Впрочем, уже в 1850 г. Герцену ясно, что в XVIII в. находятся некоторые истоки современного свободомыслия. О Н. И. Новикове говорится, что он «был одной из тех великих личностей в истории, которые творят чудеса на сцене, по необходимости погруженной во тьму, — одним из тех проводников тайных идей, чей подвиг становится известным лишь в минуту торжества этих идей». О Д. И. Фонвизине: «Ум сатирический, видел изнанку вещей; он горько смеялся над этим полуварварским обществом, над его потугами на цивилизованность [...] неутомимый протест неотступно преследовал эту аномалию. Он был горячим, беспрестанным» (там же).

Кое-что Герцен уже знает и об оппозиции Н. И. Панина, хотя, очевидно, не подозревает роли Д. И. Фонвизина. «Оппозиция, встреченная цивилизацией в начале XVIII столетия, была консервативной. И даже та, которую образовали в царствование Екатерины II несколько вельмож, подобно графу Панину, не выходила из круга строго монархических идей: порою она бывала энергичной, но всегда оставалась покорной и почтительной» (Г. VII. 196).

Как видно из приведенных строк, Герцену неизвестно о выступлении Радищева (так же как о своеобразных общественно-политических воззрениях Щербатова, Дашковой и других, чьи имена столь часто будут встречаться в герценовской печати всего через несколько лет). Красноречивое доказательство немалых, хотя временных успехов многолетней системы секретов и запретов!

Известно, что исторические судьбы революционных сочинений Радищева были сложны. У нас не слишком много данных о прямом воздействии его идей на декабристов (даже после глубоких изысканий Ю. М. Лотмана). Примечателен упрек Пушкина одному из лидеров декабристской литературы А. А. Бестужеву (в письме от 13 июня 1823 г. из Кишинева): «Как можно в статье о русской словесности забыть Радищева? Кого же мы будем помнить? Это умолчание непростительно [...] — а от тебя я его не ожидал» (П. XIII. 64). Понятно, что прямое использование или неиспользование радищевского наследия перед 1825 г. еще не исчерпывает

проблемы — первый революционер и первые революционные общества в России. Вопросы, поднятые в 1790 г., витали в воздухе, порою прямо (Пушкин), иногда косвенно, через посредство различных свободомыслящих начала XIX в., мысли из радищевского «Путешествия...» попадали в декабристскую литературу, публицистику. Однако косвенное влияние тут, несомненно, преобладало над прямым (чего нельзя, например, сказать о другом, менее радикальном свободомыслии Фонвизина — Панина. Об этом будет сказано ниже). Одна из главных причин такой исторической судьбы Радищева — невероятная трудность ознакомления с крамольным «Путешествием...», жесткое изъятие книги, сделавшее из нее библиографическую редкость, недоступную даже большинству декабристов и Герцену. Тем более значительными представляются многолетние попытки Пушкина вернуть Радищева потомкам-читателям, сначала в лицейском «Бове» («Петь я тоже вознамерился, но сравниюсь ли с Радищевым?»), в декабристских по духу «Заметках по русской истории XVIII века» (1821—1822). Затем от послания «Цензору» (1822 г.) — «Радищев, рабства враг, цензуры избежал» — к статьям 1830-х годов «Путешествие из Москвы в Петербург», «Александр Радищев» и к черновой строке «Памятника» — «Вослед Радищеву восславил я свободу».

Как известно, ничего из этого не было напечатано ни при жизни Пушкина, ни в 1840-х годах. Даже «Бова» появился в посмертном издании пушкинских сочинений без строк о Радищеве. Положение меняется лишь с конца 1850-х годов, во времена «Полярной звезды...»

Герценовское «мы очень мало знаем наше XVIII столетие» находится в начале его статьи «Княгиня Екатерина Романовна Дашкова», законченной в 1856 г. и опубликованной в 1857 г.

Из записок Дашковой, источника интересного, богатого, хотя и весьма субъективного, читатели впервые узнавали о некоторых существенных фактах и процессах прошедшего века. Пересказывая — анализируя записки Дашковой, Герцен впервые упоминает Радищева: «Екатерина испугана брошюрой Радищева; она видит в ней «набат революции». Радищев

схвачен и сослан без суда в Сибирь. Брат Дашковой Александр Воронцов, любивший и покровительствовавший Радищеву, вышел в отставку и уехал в Москву» (Г. XII. 406).

Герцену еще не видно значение этого эпизода: слова о набате революции заключены в кавычки; куда больше, чем о Радищеве, говорится, например, о преследованиях Княжнина... В то же время прибавляются и новые сведения о так называемой «панинской оппозиции». Со ссылкой на Дашкову сообщается о Никите Панине, который «ненавидел капральский тон Петра III, мундиры и весь этот вздор» (Г. XII. 379). «Панин был государственный человек и глядел дальше других, — пишет Герцен в другом месте той же работы; — его цель состояла в том, чтоб провозгласить Павла императором, а Екатерину правительницей. При этом он надеялся ограничить самодержавную власть. Он, сверх того, думал достигнуть переворота какими-то законными средствами через Сенат» (Г. XII. 381—382).

В статье о Дашковой кроме вопроса о предшественниках, тех, кто сто лет назад по-своему сопротивлялся власти, Герцена явно интересует и другая проблема, очень важная для его исторической и философской концепции, — формирование независимых, оригинальных, свободных личностей. Он ясно понимает, на какой почве, какими средствами возвращались в XVIII в. оригинальные люди, но считает этот процесс важнейшим явлением русской жизни.

Через все последнее 20-летие герценовской жизни и борьбы, как известно, проходит мысль о значении внутреннего освобождения для внешней свободы, о необходимом увеличении числа свободных людей как надежной гарантии против рабства. Как ни далека, чужда, например, Дашкова для пробуждающейся России 1850-х годов, но Герцен отмечает в ее характере немало поучительного для «очеловечивания рабов», и статья заканчивается восклицанием: «Какая женщина! какое сильное и богатое существование!» Эта оценка деятелей прошлого и по объективной их роли в освободительной борьбе, традиции, и по их субъективному миру, степени внутреннего освобождения, позволяет нам понять, отчего Герцен и Огарев



так внимательны и к своим прямым предшественникам по революционным битвам, и к некоторым лицам, находящимся, казалось бы, в стороне от главной традиции...

В 1858 г. Вольная типография опубликовала в одной книжке два значительно отличающихся сочинения: радищевское «Путешествие из Петербурга в Москву» и «О повреждении нравов в России» М. М. Щербатова. 15 апреля 1858 г. в «Колоколе» появилось объявление: «Печатается: князь М. Щербатов и А. Радищев (из екатерининского века). Изд. Трюбнера с предисловием Искандера»<sup>2</sup>. В предыдущих объявлениях о новых и готовящихся изданиях, помещенных в «Колоколе» от 1 марта 1858 г. и четвертой книге «Полярной звезды», датируемой примерно тем же днем, никаких упоминаний о «двойной» книге. Таким образом, текст сочинений Радищева и Щербатова попал в Лондон в марте или начале апреля 1858 г., причем за это время уже сложился план будущей книги в виде сборника — конволюта, соединяющего два труда из екатерининского века с предисловием Герцена.

Под известным введением Искандера стоит дата «25 мая 1858 года». 15 июля того же года «Колокол» уже сообщал, что книга М. Щербатова и А. Радищева «поступила в продажу».

Герцен писал в предисловии: «Радищев гораздо ближе к нам, чем князь Щербатов; разумеется, его идеалы были так же высоко на небе, как идеалы Щербатова — глубоко в могиле; но это наши мечты, мечты декабристов. Радищев [...] сочувствует страданиям масс, он говорит с ямщиками, дворовыми, с рекрутами, и во всяком слове его мы находим с ненавистью к насилью — громкий протест против крепостного состояния [...] И чтобы он ни писал, так и слышишь знакомую струну, которую мы привыкли слышать и в первых стихотворениях Пушкина, и в «Думах» Рылеева, и в собственном нашем сердце» (Г. XIII. 273).

Кроме общего введения Герцен предпослал еще одно краткое предисловие ко второму разделу конво-

<sup>2</sup> «Колокол», 1858, л. 13, стр. 108.

люта, тексту «Путешествия из Петербурга в Москву». Там разбирается вопрос об оценке Радищева Пушкиным и публикуется краткая биография Александра Радищева, почерпнутая из одноименной пушкинской статьи. Мы не будем здесь вдаваться в сложную дискуссионную проблему об отношении Пушкина к первому революционеру и заметим только, что, несомненно, существует связь между герценовской публикацией 1858 г. и пушкинской статьей, впервые напечатанной в седьмом, дополнительном томе сочинений поэта, изданном П. В. Анненковым в 1857 г.

Герцен черпает материалы не только из основного текста пушкинской статьи, но и из напечатанных Анненковым «прибавлений» к ней, где впервые цитировались выдержки из записок статс-секретаря Храповицкого (описание гнева Екатерины II при чтении книги Радищева). Этим, однако, не исчерпывается связь герценовского «Радищева и Щербатова» с анненковским Пушкиным. В «щербатовской» части книги находятся примечания об известном столкновении А. Г. Орлова с А. М. Шванвичем<sup>3</sup>. Примечание это является точным, отчасти дословным пересказом пушкинского текста — из черновиков «Замечаний о бунте», представленных Николаю I (П. IX. 479—480; подробнее о «Замечаниях...» см. в главе VII). В России этот отрывок был впервые опубликован только год спустя в статье Е. И. Якушкина «Проза Пушкина»<sup>4</sup>.

Известно, что Е. И. Якушкин пользовался в этом случае материалами П. В. Анненкова, которые не вошли в изданные им сочинения Пушкина. Соответствующий пушкинский автограф находился в те годы и позже именно у Анненкова. Ясно, что снабдить текст Щербатова таким примечанием мог либо сам Анненков, либо кто-то из лиц, которым он доверил неопубликованный текст.

Автором примечания, очевидно, написано также и письмо к Герцену, опубликованное в начале книги Щербатова: «Нет, кажется, надобности доказывать

<sup>3</sup> «О повреждении нравов в России» князя М. Щербатова и «Путешествие...» А. Радищева с предисловием «Искандера». Лондон, 1858, стр. 80—81.

<sup>4</sup> «Библиографические записки», 1859, № 6, стб. 181.

подлинность сочинения «О повреждении нравов в России». В нем заключаются такие подробности придворной жизни, которые могли быть описаны только современником Екатерины II. Во всем рассказе виден живой человек, весь проникнутый мыслью, которую он старается доказать, человек, принадлежащий к XVIII столетию, ненавидящий Екатерину, перетолковывающий ее поступки, слова и даже мысли, отзывающийся о ней с тою раздражительностью, к которой мог быть способен только современник, недовольный императрицею по личным отношениям. Едва ли нужно говорить, что мы нисколько не сочувствуем направлению Щербатова, признаем основную мысль его совершенно ложною и что сочинение его имеет в наших глазах одно значение — богатого исторического материала! (Из письма, при котором мы получили рукопись М. М. Щербатова)»<sup>5</sup>.

В приведенных строках звучит подчеркнутый западнический тон, ибо Щербатов идеализировал прежние времена, когда еще не было «повреждения нравов в России». Герцен заметил, что Щербатов «дошел до своей славянофильской точки зрения» (Г. XIII. 273), однако при том не судил историка XVIII в. столь строго и не находил его мысль «совершенно ложною».

Судя по живости слога и сформулированной позиции, нельзя исключить, что цитированное выше письмо написано П. В. Анненковым. Как раз в то время, когда Герцен впервые объявил о подготовке к печати «Щербатова и Радищева», Анненков выехал из Петербурга за границу и, очевидно, дал о себе знать старым друзьям Герцену и Огареву. 24 апреля 1858 г. Герцен писал М. К. Рейхель в Дрезден: «Анненкова жду» (Г. XXVI. 172), по-видимому, в Лондоне получили через посредство Рейхель или от самого Анненкова сообщение о его прибытии в Европу. Хотя Анненков (вместе с И. С. Тургеневым) приехал к Герцену только в начале мая 1858 г. (Г. XXVI. 174), но рукопись для Вольной типографии, как это обычно делалось, могла быть послана вперед, как только корреспондент оказался за грани-

<sup>5</sup> «О повреждении нравов...» и «Путешествие...», стр. I—II.

цей. Если так, то возможная дата получения материалов от Анненкова, середина апреля 1858 г., совпадает с объявлением о начале печатания Щербатова и Радищева в Вольной типографии. Анненков, несомненно, доставил или прислал Герцену и Огареву вышедший за несколько месяцев до того седьмой, дополнительный том своего пушкинского издания, где были материалы о Радищеве; есть серьезные основания полагать, что именно Анненков и Тургенев передали в это время в Лондон и ряд стихотворений, которыми позже открывалась пятая книга «Полярной звезды»<sup>6</sup>.

Глубоко изучая разнообразные источники пушкинских работ, Анненков, без сомнения, познакомился и с радищевским «Путешествием...», получив книгу или список с нее. После того как текст попал в Лондон, Герцен и Огарев, вероятно, сами произвели некоторое подновление стиля «Путешествия...», чтобы сделать его более доступным для читателей<sup>7</sup>.

Знаменитый, уничтоженный палачом труд Радищева впервые публиковался после 68 лет запрета и изъятия. Трудно переоценить это событие, имея в виду уже отмеченную чрезвычайную недоступность, редкость книги. Именно с 1858 г. начинается новая, вторая жизнь «Путешествия...» и растущее влияние его на освободительную борьбу в стране. Отныне на страницах Вольных изданий имя Радищева регулярно появляется в перечне главных предшественников. Герцен обращается к корреспондентам с просьбой о присылке биографии и портрета первого революционера, который «написал серьезную, печальную, исполненную скорби книгу» (Г. XVIII. 178). Руководители Вольной печати вступят в контакт с сыном Радищева Павлом, пытавшимся опубликовать биографию и сочинения отца<sup>8</sup>.

<sup>6</sup> ТК, стр. 109—110.

<sup>7</sup> Комментарий Я. Л. Барскова в книге «А. Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву», т. 2.— «Материалы к изучению «Путешествия...»». М.—Л., 1935, стр. 324—325.

<sup>8</sup> ЛН, 62. М., 1955, стр. 504—505. Характерны недружелюбные строки умеренно либерального историка П. И. Бартенева, сообщавшего Я. К. Гроту (27 января 1866 г.) о престарелом Павле Радищеве, «который повторяет наизусть безумные строфы о вольности, некогда написанные его отцом».

Сложным, мало изученным вопросом является сопоставление герценовских оценок различных исторических деятелей XVIII столетия. Выше говорилось об интересе вольных издателей к разнообразным политическим мнениям и литературным течениям. Несмотря на предисловие Герцена к книге Щербатова и Радищева, где сопоставлялись и отчасти противопоставлялись взгляды двух авторов, несмотря на ясное герценовское «Радищев гораздо ближе к нам, чем князь Щербатов», соединение столь разных исторических деятелей требует известных объяснений<sup>9</sup>.

Не вдаваясь в подробности, отметим только, что для Герцена и его современников «Путешествие...» Радищева и «О повреждении нравов в России» Щербатова сближались прежде всего общностью судеб. Рукопись Щербатова также около 70 лет находилась под спудом, чудом избежала гибели и была открыта М. П. Заблоцким-Десятовским вместе с некоторыми другими сочинениями историка только в 1855 г.

Интерес к Щербатову объяснялся и тем, что для 1850—1860-х годов его протест, разоблачение двора Екатерины II были актуальны, выступали на первый план (недаром только небольшие отрывки из рукописи были пропущены в легальную печать), в то время как аристократический, консервативный характер оппозиционности Щербатова был уже анахронизмом и меньше бросался в глаза. Об этом ясно говорят и удивленные, иногда восторженные, всегда живые отклики в предреформенной литературе на «своевременное появление» щербатовских работ<sup>10</sup>.

---

Он считает его мучеником свободы». — Архив АН СССР, ф. 137 (Я. К. Грота), оп. 3, № 55, л. 29. Сохранилось и письмо самого П. А. Радищева к Гроту от 29 января 1866 г. с просьбой о возвращении рукописи-биографии А. Н. Радищева (там же, № 788).

<sup>9</sup> Краткий анализ широких интересов Герцена к разным деятелям XVIII века см. в комментариях к статье «Княгиня Екатерина Романовна Дашкова» (Г. XII, 560); см. также И. А. Желвакова. Материалы А. И. Михайловского-Данилевского в «Историческом сборнике Вольной русской типографии». — «Археографической ежегодник за 1969 год». М., 1971, стр. 110—122.

<sup>10</sup> «Атеней», 1858, кн. 3; «Чтение общества истории и древностей российских», 1860, кн. 1; «Московские ведомости»,

В-третьих, как отмечалось, для Герцена большую ценность представляла внутренне свободная, протестующая личность, а эти черты он, конечно, находил в оппозиционном историке екатерининского времени. «Лишь бы люди, — писал Герцен, — не шли вспять, как князь Щербатов, и не предавались бы полному отчаянию, как А. Радищев» (Г. XIII. 277).

Важно отметить как единство, так и известное различие во взглядах на XVIII в. у Герцена и деятелей революционной демократии лагеря «Современника». В статье «Русская сатира в век Екатерины» Добролюбов убедительно доказывал слабость и недостаточность обличительной литературы как в минувшем, так и в своем столетии, конечно, выделяя Радищева, «едва ли не единственное исключение в ряду литературных явлений того времени»<sup>11</sup>. В статье множество примеров, иллюстрирующих «печальное бесплодие», «бессилие» обличительной сатиры: намек на иные, революционные меры, способные освободить крестьян, дать свободу слова, преодолеть суеверия, взяточничество, лихоимство, неправосудие. При этом любопытно, что наиболее сильные примеры тяжелейшего положения народа в «просвещенный век Екатерины» Добролюбов берет из новонайденных сочинений М. М. Щербатова<sup>12</sup>.

Революционно-демократические лидеры «Современника» сходились с Герценом и Огаревым в констатации народных бедствий, необходимости коренных перемен, находили современные примеры у вольнодумцев прошлого, с громадным интересом и вниманием относились к таким предтечам, как Радищев, декабристы. Однако Герцен и Огарев придавали большее значение традиции для сегодняшней борьбы, стремились найти рациональное зерно даже в воззрениях и сочинениях деятелей, хронологически и идейно далеких; они высоко ценили процесс личного освобождения, в чем неперемное участие принимали смех, сатира, даже с виду бесполезные.

---

1859, № 142, 143, 154, 172, 177; «Библиографические записки», 1858, № 12—15; 1859, № 6, 14, и др.

<sup>11</sup> Н. А. Добролюбов. Полное собрание сочинений в шести томах, т. 2. М.—Л., 1935, стр. 141.

<sup>12</sup> Там же, стр. 195—200.



«Пусть историки литературы, — писал Добролюбов, — восхищаются бойкостью, остроумием и благородством сатирических журналов и вообще сатиры екатерининского времени; но пусть же не оставляют они без внимания и жизненных явлений, указанных нами. Пусть они скажут нам, отчего этот разлад, отчего у нас это бессилие, эта бесплодность литературы?»<sup>13</sup> Иначе пишет о том же несколько лет спустя Герцен: «Смех, это самобичевание, был нашим искуплением, единственным протестом, единственным мщением, возможным для нас, да и то в весьма ограниченных пределах [...] Жаловаться, протестовать — невозможно! Радищев попробовал было [...] Он осмелся поднять голос в защиту несчастных крепостных. Екатерина II сослала его в Сибирь, сказав, что он опаснее Пугачева. Высмеивать было менее опасно: крик ярости притаился за личиной смеха, и вот из поколения в поколение стал раздаваться зловеший и исступленный смех, который силился разорвать всякую связь с этим странным обществом, с этой нелепой средой; боясь, как бы их не смешали с этой средой, насмешники указывали на нее пальцем». Первым настоящим насмешником Герцен назвал Фонвизина: «Этот первых смех [...] далеко отозвался и разбудил фалангу насмешников, и их-то смеху сквозь слезы литература обязана своими крупнейшими успехами и в значительной мере своим влиянием в России» (Г. XVIII. 178).

Так были названы разные пути, связывавшие настоящее с прошлым, среди них один путь — от Радищева, другой — от Фонвизина. Пути борьбы и самоосвобождения («как бы их не смешали с этой средой...») Герцен видел в своей деятельности продолжение обеих линий: Радищев — «наши мечты, мечты декабристов», Фонвизин — первый в «фаланге великих насмешников». Отсюда стремление Герцена и Огарева еще и еще печатать про Радищева (к сожалению, другие материалы Радищева и о Радищеве в то время опубликовать не удалось). Отсюда и прямое «сотрудничество» Дениса Фонвизина в Вольных изданиях Герцена и Огарева.

<sup>13</sup> Там же, стр. 204—205.

«Нет ли у вас писем, собственноручных бумаг, ненапечатанных сочинений Фонвизина? Не помните ли анекдотов о нем, острых слов его?» — спрашивал людей, знавших писателя, его первый биограф П. А. Вяземский<sup>14</sup>. На вопросы эти, задавшиеся в XIX в., не совсем отвечено и до сей поры. Пушкин называл Фонвизина «другом свободы» и считал, что ему не избежать бы судьбы Радищева, Новикова, «если б не чрезвычайная его известность». Возможно, о том Фонвизине, которого «боялась Екатерина II», Пушкин знал больше, чем известно в наши дни.

Одной из фонвизинских тайн, которой интересовались его первые биографы и почитатели и которую немного осветила печать Герцена, скоро 200 лет, если вести счет от некоей официальной церемонии.

В 1773 г. по случаю бракосочетания 19-летнего наследника престола великого князя Павла Петровича (будущего Павла I) императрица Екатерина II жалует графу Никите Ивановичу Панину «звание первого класса в ранге фельдмаршала, с жалованьем и столовыми деньгами, получаемыми до того канцлером. 4512 душ в Смоленской губернии; 3900 душ в Псковской губернии; сто тысяч рублей на заведение дома; серебряный сервиз в 50 тысяч рублей; 25 тысяч рублей ежегодной пенсии, сверх получаемых им 5 тысяч рублей; ежегодное жалованье по 14 тысяч рублей; любой дом в Петербурге; провизии и вина на целый год; экипаж и ливрею придворные»<sup>51</sup>.

Современному читателю трудно представить, что эти подарки воспитателю наследника в связи с завершением работы и совершеннолетием ученика, что эти ценности — форма немилости, желание откупиться, намек на то, чтобы одариваемый не вмешивался не в свои дела. Описываемое событие — существенный эпизод и в биографии Д. И. Фонвизина, так как связано с политической тайной, вышедшей «наружу» почти через столетие в Вольной русской печати.

<sup>14</sup> «Новонайденный автограф Пушкина». Подготовка текста, статьи и комментарии В. Э. Вацуро и М. И. Гиллельсона. М.—Л., 1968, стр. 59.

<sup>51</sup> П. Лебедев. Опыт разработки новейшей русской истории по ненаданным источникам. Графы Никита и Петр Панины. СПб., 1863, стр. 174.

Граф Панин раздал пожалованные души своим секретарям; впрочем, остальные подарки принял; в государственных делах, особенно во внешней политике, был столь опытен, что императрица хотела бы, но не могла без него обойтись. Так просто — миллионами — от этого человека не отделаться. Еще в 1762 г. Панин немало способствует возведению на трон Екатерины II, но через несколько недель подносит ей продуманный проект, где довольно живыми красками изображает «временщиков, куртизанов и ласкателей», сделавших из государства «гнездо своим прихотям», где «каждый по произволу и по кредиту интриг хватал и присваивал себе государственные дела» и где «лихоимства, расхищение, роскошь, мотовство, распутство в имениях и в сердцах».

Средством исправить положение вельможа и воспитатель наследника считал ограничение самодержавия, контроль за императорской властью со стороны особого органа — Императорского совета из 6—8 человек и к нему четыре департамента: иностранных, внутренних, военных и морских дел. Понятно, совет был бы в руках нескольких влиятельных аристократов и лишь отчасти уравновешивался сенатом, которому предписывалось поднимать тревогу, если совет или сам монарх «могут утеснять наши государственные законы или народа нашего благосостояние»<sup>16</sup>.

К концу августа 1762 г. совет, казалось, мог вот-вот появиться: в рукописи манифеста о возвращении из опалы канцлера А. П. Бестужева последний именовался «первым членом вновь учреждаемого при дворе императорского совета», но 31 августа в печатном тексте манифеста эти строки не появились<sup>17</sup>. Разумеется, как и в 1730 г., многие при дворе увидели в панинском совете-сенате аристократическое ограничение самовластия и нашли это невыгодным. О колебаниях и борьбе за каждую букву новых установлений говорит то обстоятельство, что 28 декабря 1762 г. манифест об императорском совете-сенате был подписан царицей, но затем подпись надорвана, т. е. не вступила в силу<sup>18</sup>.

<sup>16</sup> РИО, т. 7. СПб., 1871, стр. 200—221.

<sup>17</sup> Там же, стр. 143 (см. примечание на стр. 141).

<sup>18</sup> Там же, стр. 200.

Проект Панина был похоронен. И лишь через 64 года только что осудивший декабристов Николай I обнаружил этот документ среди секретных бумаг, прочитал и велел припрятать, так что в руки историков текст попал только через 45 лет.

После того как Екатерина II «надорвала подпись», Никита Панин не утратил влияния и в течение почти 20 лет, независимо от формально занимаемых должностей, в сущности был тем, что позже называли министром иностранных дел. Он ждал своего часа и, 12 лет воспитывая наследника, немало преуспел во влиянии на Павла. Дожидаясь своего, Панин, вероятно, нарочно культивировал при дворе собственную репутацию ленивого, сладострастного, остроумного обжоры, который, по словам Екатерины II, «когда-нибудь умрет оттого, что поторопится». Между тем он искал верных единомышленников и в 1769 г. взял на службу и приблизил к себе 24-летнего Дениса Фонвизина, уже прославившегося комедией «Бригадир». Тут, несмотря на отвергнутую «конституцию 1762 г.», начались новые проекты...

Совершеннолетие Павла (1772 г.) и его брак с принцессой Дармштадтской (переименованной в Наталью Алексеевну) сопровождалось слухами о смене правителя; Екатерина II, понятно, имела меньше прав на царствование, чем ее наследник, правнук Петра Великого, и на первых порах, после переворота 1762 г., царица еще говорила о себе как о матери, представляющей интересы сына. Однако, укрепившись на престоле, Екатерина, как известно, больше не вспоминала об этом щекотливом обстоятельстве, все больше отдаляла сына, все сильнее не доверяла и редко бывала милостива. Между тем даже на далекой Камчатке польские и русские ссыльные, восставшие во главе с известным графом Беневским, клялись именем великого князя Павла Петровича, толкуя о его милостях и возможной амнистии в случае законного вступления на престол<sup>19</sup>.

<sup>19</sup> Об этом — в письме Д. И. Фонвизина П. И. Панину от 26 января 1772 г. — Д. И. Фонвизин. Собрание сочинений в двух томах, т. 2. М.—Л., 1959, стр. 370; Г. П. Макогоненко. Денис Фонвизин. Творческий путь. М.—Л., 1961, стр. 156—157.

18-летие Павла было, конечно, замечено Никитой Паниным, а также его родным братом генералом Петром Паниным (большим авторитетом для Павла в военных вопросах), который, сидя в Москве и подмосковных владениях, задавал работу правительственным сыщикам, не успевавшим передавать императрице адресованные ей хулительные выражения: «болтовня Панина», «все и всех критикует», — докладывал московский главнокомандующий князь Михаил Волконский.

Слухи о правах царевича в 1772—1773 гг. внезапно добавили электричества в надвигавшуюся пугачевскую грозу: разумеется, не эти слухи ее породили, но Пугачев и казаки знали о совершеннолетии наследника. «Ожидание» Павла вдруг осложняется появлением его «отца» — царя Петра III, Емельяна Ивановича Пугачева. Победы крестьян и казаков вызвали растерянность Екатерины, и, когда Никита Панин предложил назначить главнокомандующим своего решительного брата, царица согласилась: «Перед всем светом первого врага и мне персонального оскорбителя [...], боясь Пугачева, выше всех смертных в империи хвалю и возвышаю»<sup>20</sup>. Потемкину она жаловалась: «Господин граф Панин из брата своего изволит сделать властителя с беспредельной властью в лучшей части империи»<sup>21</sup>: диктаторские права Петра Панина над многими краями на всякий случай не распространили на Москву — и в противовес его влиянию был вызван Суворов.

Как известно, Петр Панин прибыл к концу кампании, восставшие уже были разбиты, но курьер главнокомандующего с известием об аресте Пугачева обогнал более раннего, да медленного курьера от генерала Павла Потемкина (недруга Панина, в ставку которого был вначале привезен Пугачев) — и вся честь формально досталась Панину.

К этому времени, по-видимому, относится вторая (после 1762 г.) попытка исправления государства хитроумным вельможей и его талантливым секретарем.

<sup>20</sup> Цит. по: «Русский биографический словарь», т. 13. СПб., 1902, стр. 200.

<sup>21</sup> П. Лебедев. Графы Никита и Петр Панины, стр. 116—117.

Шестьдесят лет спустя, в сибирской ссылке, декабрист Михаил Александрович Фонвизин, племянник писателя, генерал, герой 1812 г., записал свои интереснейшие воспоминания, где, между прочим, ссылался на рассказы своего отца (родной брат автора «Недоросля»): «Мой покойный отец рассказывал мне, что в 1773 или 1774 году, когда цесаревич Павел достиг совершеннолетия и женился на дармштадтской принцессе, названной Натальей Алексеевной, граф Н. И. Панин, брат его, фельдмаршал П. И. Панин, княгиня Е. Р. Дашкова, князь Н. В. Репнин, кто-то из архиереев, чуть ли не митрополит Гавриил, и многие из тогдашних вельмож и гвардейских офицеров вступили в заговор с целью свергнуть с престола царствующую без права Екатерину II и вместо нее возвести совершеннолетнего ее сына. Павел Петрович знал об этом, согласился принять предложенную ему Паниным конституцию, утвердил ее своею подписью и дал присягу в том, что, воцарившись, не нарушит этого коренного государственного закона, ограничивающего самодержавие. Душою заговора была супруга Павла, великая княгиня Наталья Алексеевна, тогда беременная.

При графе Панине были доверенными секретарями Д. И. Фонвизин, редактор конституционного акта, и Бакунин [Петр Васильевич], оба участники в заговоре. Бакунин из честолюбивых, своекорыстных видов решил быть предателем. Он открыл фавориту императрицы Г. Г. Орлову все обстоятельства заговора и всех участников — стало быть, это сделалось известным и Екатерине. Она позвала к себе сына и гневно упрекала ему его участие в замыслах против нее. Павел испугался, принес матери повинную и список всех заговорщиков. Она сидела у камина, и, взяв список, не взглянув на него, бросила бумагу в огонь, и сказала: «Я не хочу знать, кто эти несчастные». Она знала всех по доносу изменника Бакунина. Единственную жертвою заговора была великая княгиня Наталья Алексеевна: полагали, что ее отравили или извели другим образом... Из заговорщиков никто, однако, не погиб. Екатерина никого не преследовала. Граф Панин был удален от Павла с благоволительным рескриптом, с пожалова-



нием ему за воспитание цесаревича 5000 душ и остался канцлером. Брат его фельдмаршал и княгиня Дашкова оставили двор и переселились в Москву. Князь Репнин уехал в свое наместничество, в Смоленск, а над прочими заговорщиками учрежден тайный надзор»<sup>22</sup>.

Вот при каких обстоятельствах, согласно М. А. Фонвизину, Никита Панин получил тысячи душ, сотни тысяч рублей, вина и провизии на год, любой дом и прочее...

Некоторые исследователи (дореволюционные и советские) отрицали существование такого заговора в 1773—1774 гг. и справедливо находили в этом рассказе несколько «ошибок памяти» декабриста или его отца<sup>23</sup>. Другие, в числе их Г. П. Макогоненко, считают, что в 1772—1773 гг. в связи с совершеннолетием и женитьбой Павла Петровича партия его сторонников (братья Н. И. и П. И. Панины, Д. И. Фонвизин и др.) действительно вынашивала далеко идущие планы против Екатерины II и Орловых, тогдашних временщиков. Г. П. Макогоненко находит, что «сообщение М. А. Фонвизина «о заговоре», со всеми поправками в деталях [...] имеет огромную ценность. Оно зафиксировало реальный исторический факт участия Д. И. Фонвизина в заговоре против Екатерины, его борьбу за восстановление прав Павла»<sup>24</sup>. Нелегко двести лет спустя восстановить события, о которых в ту пору предпочитали не писать и говорить поменьше... И все же, кажется, имеются серьезные доводы в пользу того, что заговор действительно был. Десять лет спустя, в 1783—1784 гг., Денис Фонвизин сочинил посмертную похвалу своему покровителю — «Жизнь графа Панина», где, между прочим, находились следующие строки (конечно, не попавшие в печать и читанные современниками в рукописях):

«Из девяти тысяч душ, ему пожалованных, пода-

<sup>22</sup> «Общественные движения в России в первую половину XIX века», т. 1. СПб., 1905, стр. 128—129.

<sup>23</sup> Н. К. Шильдер. Император Павел первый. СПб., 1901, стр. 539; К. В. Пигарев. Творчество Фонвизина. М., 1954, стр. 135.

<sup>24</sup> Г. П. Макогоненко. Денис Фонвизин. Творческий путь. стр. 163.

рил он четыре тысячи троим из своих подчиненных, сотрудившихся ему в отпращивании дел политических. Один из сих благодетельствованных им лиц умер при жизни графа Никиты Ивановича, имевшего в нем человека, привязанного к особе его истинным усердием и благодарностью. Другой был неотлучно при своем благодетеле до последней минуты его жизни, сохраняя к нему непоколебимую преданность и верность, удостоен был всегда полной во всем его доверенности. Третий заплатил ему за все благодеяния всею чернотою души, какая может возмутить душу людей честных. Снедаем будучи самолюбием, алчущим возвышения, вредил он положению своего благодетеля столько, сколько находил то нужным для выгоды своего положения. Всеобщее душевное к нему презрение есть достойное возмездие столь гнусной неблагодарности»<sup>25</sup>.

Известно, что первым из трех был секретарь Я. Я. Убри, вторым — сам Фонвизин, а третьим, конечно, П. В. Бакунин (1731—1786) — именно тот, кто, согласно Михаилу Фонвизину, выдал царице панинский заговор 1773 г. Денис Фонвизин, как видим, прямо намекает на подобный эпизод...

Другое смутное сведение о заговоре — авантюра Сальдерна, голштинского посла при датском дворе, представлявшего там также Россию. Получив предложения Сальдерна насчет свержения Екатерины II, Павел будто бы отказался, а через год, в 1773 г., признался во всем матери, чем выдал и Н. И. Панина, уже год знавшего о заговоре, но ничего не сообщавшего императрице<sup>26</sup>.

Наконец, Г. П. Макогоненко опубликовал письмо Д. И. Фонвизина, переславшего в 1778 г. Петру Ивановичу Панину, брату министра, «одну часть моих мнений, которые мною самим сделаны еще в 1774 г.»<sup>27</sup>.

<sup>25</sup> «Жизнь графа Никиты Ивановича Панина» цитируется по изданию: Д. И. Фонвизин. Полное собрание сочинений, т. IV. М., 1830, стр. 1—19; издатель П. Бекетов располагал авторской рукописью, позже утраченной и отличавшейся от первых печатных изданий.

<sup>26</sup> РИО, т. 19. СПб., 1876, стр. 399—402; Н. К. Шильдер. Император Павел первый, стр. 77—78.

<sup>27</sup> Г. П. Макогоненко. Денис Фонвизин. Творческий путь, стр. 198.

По дате «мнения» близки ко времени заговора и, возможно, относятся к тем проектам реформ, которые с тем заговором связаны.

В общем действительно была какая-то интрига в пользу Павла с участием Паниных и Фонвизина. Очевидно, тогда же, ожидая возможной замены Екатерины II ее сыном, Н. Панин и Фонвизин начали работу над каким-то новым документом, который лег бы в основу конституции, ограничения власти нового монарха. «Рассказывают, — писал Вяземский, — что [Д. И. Фонвизин], по заказу графа Панина, написал одно политическое сочинение для прочтения наследнику. Оно дошло до сведения императрицы, которая осталась им недовольна и сказала однажды, шутя в кругу приближенных своих: «Худо мне жить приходится: уж и господин Фонвизин хочет учить меня царствовать»<sup>28</sup>.

Снова обратимся к уже цитированным запискам Фонвизина-декабриста: хотя он родился в 1788 г., через пятнадцать лет после описываемых событий, но запомнил рассказы старшей родни; впрочем, некоторых тонкостей он уже не мог знать или помнить и, вероятно, невольно соединил воедино разные проекты своего дяди и Н. И. Панина. Это совмещение и было одним из доводов против рассказа декабриста о заговоре 1770-х годов... Но вообще-то Михаил Фонвизин обладал замечательной памятью. Вспоминая в Сибири о том, что говорилось и делалось в дни его ранней юности, почти полвека назад, он очень точно называет имена и факты, его сведения обычно подтверждаются другими источниками, и поэтому рассказ о конституции 1770-х годов заслуживает более глубокого внимания, чем ему уделялось прежде.

«Граф Никита Иванович Панин, — пишет Фонвизин, — воспитатель великого князя наследника Павла Петровича, провел молодость свою в Швеции. Долго оставаясь там посланником и с любовью изучая конституцию этого государства, он желал ввести нечто подобное в России: ему хотелось ограничить самовластие твердыми аристократическими институ-

---

<sup>28</sup> П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений, т. V. СПб., 1880, стр. 185.

циями. С этою целью Панин предлагал основать политическую свободу сначала для одного дворянства, в учреждении верховного сената, которого часть несменяемых членов назначались бы от короны, а большинство состояло бы из избранных дворянством из своего сословия лиц. Синод также бы входил в состав общего собрания сената. Под ним (то есть под верховным сенатом) в иерархической постепенности были бы дворянские собрания, губернские или областные и уездные, которым предоставлялось бы право совещаться в общественных интересах и местных нуждах, представлять об них сенату и предлагать ему новые законы.

Выбор как сенаторов, так и всех чиновников местных администраций производился бы в этих же собраниях. Сенат был бы облечен полною законодательною властью, а императорам оставалась бы исполнительная, с правом утверждать обсужденные и принятые сенатом законы и обнародовать их. В конституции упоминалось и о необходимости постепенного освобождения крепостных крестьян и дворовых людей. Проект был написан Д. И. Фонвизиним под руководством графа Панина [...] Введение или предисловие к этому акту [...], сколько припомню, начиналось так: «Верховная власть вверяется государю для единого блага его подданных. Сию истину тираны знают, а добрые государи чувствуют. Просвещенный ясностью сея истины и великими качествами души одаренный монарх, приняв бразды правления, тотчас почувствует, что власть делать зло есть несовершенство и что прямое самовластие тогда только вступает в истинное величие, когда само у себя отъемлет власть и возможность к содеянию какого-либо зла» и т. д. За этим следовала политическая картина России и исчисление всех зол, которые она терпит от самодержавия»<sup>29</sup>.

Предисловие к конституции Дениса Фонвизина сохранилось. Это одно из замечательнейших сочинений писателя — «Рассуждение о непременных государственных законах», давно включенное в его соб-

<sup>29</sup> «Общественные движения в России в первую половину XIX века», т. 1, стр. 126—127.

рание сочинений. Первые строки, по памяти, племянник-декабрист приводит почти без ошибок. Его интерес к таким темам понятен! Именно поэтому нужно внимательно присмотреться и к воспоминаниям Михаила Фонвизина о самой несохранившейся конституции.

Сопоставив с рассказом М. Фонвизина первый (сохранившийся и напечатанный в 1871 г.), панинский проект 1762 г., легко заметить большие отличия: декабрист говорит совсем о другом документе. Несколько важнейших сюжетов, разбираемых М. Фонвизиним, у Панина просто нет — о том, что часть членов Верховного совета назначается от короны, а часть избирается дворянством; о дворянском сенате, играющем роль парламента, а под ним — губернские и уездные дворянские собрания, имеющие право «совещаться в общественных интересах и местных нуждах»; и, наконец, о постепенном освобождении крестьян и дворовых. Мы не знаем, как и в течение какого срока это мыслилось сделать. Понятно, реформаторы, получавшие и раздававшие тысячи крепостных душ, были во многом детьми своего века, и нельзя жестко мерить их поступки моральными нормами позднейших эпох. Но все же, если верить Фонвизину-декабристу, именно тогда, в тайных проектах 1770-х годов, появилась важнейшая формула — освобождение крестьян.

Таким образом, М. Фонвизин сообщает подробности интереснейшего политического документа — второго конституционного проекта Дениса Фонвизина и Панина. Судьба этой рукописи кратко представляется следующим образом. Никита Панин не дожидаясь своего воспитанника Павла I, в котором надеялся увидеть разумного, просвещенного конституционного монарха. Бумаги таких лиц, как Панин, по смерти хозяина обычно осматривал специальный секретный чиновник. Однако, по сведениям П. И. Панина, Денис Фонвизин в 1783 г. успел припрятать наиболее важные и опасные документы, и они не достались Екатерине II<sup>80</sup>.

---

<sup>80</sup> Е. С. Шумигорский. Император Павел I. Жизнь и царствование. СПб., 1907. Приложения, стр. 2—3.

К этому времени Фонвизин-писатель был особенно популярен. На полях рукописи Вяземского Пушкин записал строки, открытые лишь в 1965 г.: «...бабушка моя сказывала мне, что в представлении «Недоросля» в театре бывала давка — сыновья Простаковых и Скотининых, приехавшие на службу из степных деревень, присутствовали тут и, следственно, видели перед собою своих близких знакомых, свою семью»<sup>31</sup>.

Впрочем, даже известность, наверное, не спасла бы Фонвизина, если б царице попали на глаза, например, следующие строки из его «Рассуждения...»: «Всякая власть, не ознаменованная божественными качествами правоты и кротости, но производящая обиды, насильства, тиранства, есть власть не от бога, но от людей, коих несчастья времен попустили, уступя силе, унижить человеческое свое достоинство. В таком гибельном положении нация, буде находит средство разорвать свои оковы тем же правом, каким на нее положены, весьма умно делает, если разрывает».

Между тем автор «Недоросля» сохранил по меньшей мере два списка этого своего сочинения. Один у себя, другой (вместе с несколькими документами) сначала находился у Петра Панина, а после его смерти (1789 г.) — у верных друзей, в семье петербургского губернского прокурора Пузыревского.

До воцарения Павла оставалось всего 4 года, когда умер и Д. И. Фонвизин. Он успел распорядиться насчет бумаг, и о дальнейшей их судьбе снова рассказывают воспоминания Фонвизина-декабриста.

«Список с конституционного акта хранился у родного брата его редактора, Павла Ивановича Фонвизина. Когда в первую французскую революцию известный масон и содержатель типографии Новиков и московские масонские ложи были подозреваемы в революционных, замыслах, генерал-губернатор, князь Прозоровский, преследуя масонов, считал сообщниками или единомышленниками их всех, служивших в то время в Московском университете, а П. И. Фонвизин был тогда его директором. Пред самым прибытием полиции для взятия его бумаг ему удалось истребить

<sup>31</sup> «Новонайденный автограф Пушкина», стр. 16—17.



конституционный акт, который брат его ему вверил. Отец мой, случившийся в то время у него, успел спасти введение»<sup>32</sup>.

Так погибла конституция Фонвизина — Панина, но было спасено замечательное введение к ней. Фонвизинская работа «Рассуждение о непременных государственных законах»<sup>33</sup>, конечно, самый замечательный документ из уцелевшей части панинского собрания, он принадлежит как бы двум временам: настоящему и будущему. Настоящее — это 1770-е — 1780-е годы, определенная историческая ситуация, по поводу которой работа и написана... Но как памятник борьбы и мысли сочинение проникает в следующие десятилетия и века.

Как известно, в нем представлена острая критика беззакония, фаворитизма (в портретах «буйного» и «наглого» любимцев легко угадываются Григорий Орлов и Потемкин).

Даже бог, по Фонвизину, не абсолютный самодержец. «Бог потому и всемогущ, что не может делать ничего другого, кроме блага». Более того, «кротость [государя] не допускает поселиться в его голову несчастной и нелепой мысли, будто бог создал миллионы людей для ста человек».

Царствование Екатерины II к этому времени прославлено в России и Европе: даже многие выдающиеся мыслители толковали о просвещенном правлении императрицы, новом уложении законов... Однако для Фонвизина это все «ложная добродетель»: «Подобен будучи прозрачному телу, чрез которое насквозь видны действующие им пружины, тщетно пишет он [деспот] новые законы, возвещает благоденствие народа, прославляет премудрость своего правления; новые законы его будут не что иное, как новые обряды, запутывающие старые законы; народ все бу-

<sup>32</sup> «Общественные движения в России в первую половину XIX века», т. 1, стр. 127.

<sup>33</sup> «Рассуждение о непременных государственных законах» цитируется по изданию: *Д. И. Фонвизин. Собрание сочинений в двух томах*, т. 2, стр. 254—267. Об этой работе см. *К. В. Пигарев. Творчество Фонвизина*, стр. 132—150; *Г. П. Макогоненко. Денис Фонвизин. Творческий путь*, стр. 197—208.

дет угнетен, дворянство унижено, и, несмотря на собственное свое отвращение к тиранству, правление его будет тиранское».

Смелые руссоистские формулы о взаимном договоре нации и государя логически завершаются обоснованием права нации на восстание, свержение тирана.

Чего же хотят Фонвизин и Панины? «Истинно просвещенного» правления, т. е. ограниченной законами дворянской монархии. Как самодержавие ограничить — об этом во введении к «Непременным законам» ничего не говорится. Сказано лишь о двух фундаментах «идеальной власти»: политической вольности и праве собственности. На вольности и собственности, по Фонвизину, основываются неперменные законы.

Конечно, тут тысячи вопросов: чья вольность? на что собственность?

Мысль о крепостном праве как «бремени жестокого рабства» высказана Фонвизинным довольно отчетливо, но в «Рассуждении...» не имеет продолжения... В общем же Денису Фонвизину и его вдохновителям было ясно, что «государство требует немедленного врачевания».

При всех резких формулах о праве нации на разрыв с государем автор, конечно, не революционер и не крестьянский заступник. Впрочем, мысль о «благодетельном перевороте» (например, в пользу Павла I) ему была не чужда.

Получив от Фонвизина его «Рассуждение...» и другие документы, Петр Панин в 1784 г. подготовил «Письмо к наследнику престола для поднесения при законном вступлении его на престол» и проект манифеста, которым Павел мог бы воспользоваться при восшествии на царство<sup>34</sup>. Формулировки Петра Панина весьма туманны и умеренны: идеи Дениса Фонвизина и Никиты Панина угадываются, правда, в строках манифеста, которыми будущий царь мог заклеить временщиков, лихоимцев, объявить о необходимых фундаментальных законах. Однако об огра-

<sup>34</sup> Е. С. Шумигорский. Император Павел I. Жизнь и царствование, стр. 20—35.

ничении самодержавия — ничего... То ли Петр Панин не разделял «увлечений» своего брата и его секретаря на сей счет, то ли боялся испугать Павла I чрезмерно смелыми требованиями.

К. В. Пигарев заметил, что Петр Панин не имел того конституционного проекта, который начинался с фонвизинского «Рассуждения...»: ведь рукой П. И. Панина записано, что смерть помешала его брату составить «начертание», и генерал по памяти, по отдельным записям составил письмо к наследнику, проект манифеста и некоторые другие документы<sup>35</sup>.

Выходит, в семье Фонвизиных был проект конституции, а у Панина этого документа не было...

Скорее всего Денис Фонвизин, вручив Петру Панину секретные «конституционные бумаги» Никиты Панина, оставил рукопись конституции у себя. Предположение некоторых исследователей, будто конституции совсем не было, опровергается подробным описанием Михаила Фонвизина. Судя по рассказу декабриста, конституция была еще опаснее введения (недаром истребление бумаг началось с нее). Возможно, Д. Фонвизин считал свой архив более надежным убежищем для такого документа. Не исключено, что работа над конституцией продолжалась в конце 1780-х — начале 1790-х годов.

Издавна в русской научной литературе и публицистике существовала традиционная неприязнь к так называемой аристократической оппозиции, стремлению заменить, ограничить самодержавие властью олигархии. Мы говорим, понятно, не о тех критиках всякой независимости, для которых ничего не было и не могло быть лучше самодержавия. Но дело в том, что различные прогрессивные мыслители, мечтавшие о переменах в стране, если им приходилось выбирать, что лучше — самодержец или аристократическая конституция, царский гнет или «боярские» свободы, большей частью видели меньше зла в самодержце. Типичный случай — выбор, сделанный юным Пушкиным. В его нелегальном сочинении, известном под условным названием «Заметки по рус-

<sup>35</sup> К. В. Пигарев. Творчество Фонвизина, стр. 136.

ской истории XVIII века»<sup>36</sup> (1822 г.), между прочим, говорится:

«Аристократия после его [Петра I] неоднократно замышляла ограничить самодержавие; к счастью, хитрость государей торжествовала над честолюбием вельмож, и образ правления остался неприкосновенным. Это спасло нас от чудовищного феодализма, и существование народа не отделилось вечною чертою от существования дворян. Если бы гордые замыслы Долгоруких и проч. совершились, то владельцы душ, сильные своими правами, всеми силами затруднили б или даже вовсе уничтожили способы освобождения людей крепостного состояния, ограничили б число дворян и заградили б для прочих сословий путь к достижению должностей и почестей государственных. Одно только страшное потрясение могло бы уничтожить в России закоренелое рабство; нынче же политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян...» (П. XII. 14—15).

Так же думали и многие декабристы, однако не все и не всегда... Порой им казалось, что, может быть, победа аристократических свобод в XVIII в. направила бы русскую историю в более естественное русло. В сибирской ссылке об этом размышлял, между прочим, Никита Муравьев, сопровождая замечаниями сочиненный Луниным «Разбор донесения Следственной комиссии». Подробно описав проекты верховников «в пользу ограничения императорской власти», декабрист с сожалением заключает: «Измена некоторых сановников и зависть мелких дворян ниспровергли это смелое предприятие [...] Самодержавие было обеспечено следующими средствами...» — и далее перечень бироновских жертв<sup>37</sup>.

По отношению к аристократической оппозиции нелегко уяснить общественно-политические воззрения того или иного автора: это может быть и революционный и весьма умеренный противник олигархического правления. Пример последнего — А. П. Скоропад-

<sup>36</sup> Этому интереснейшему и во многом загадочному произведению автор данной книги посвятил специальную работу «По смерти Петра Великого...», подготовленную для Пушкинского тома альманаха «Прометей».

<sup>37</sup> ПЗ, V, стр. 69—70.

ский, комментировавший (1896 г.) любопытное рукописное сочинение князя А. Б. Лобанова-Ростовского «Граф Никита Петрович Панин»<sup>38</sup> (составленное в 1876 г.).

Дипломат, известный собиратель материалов по истории и генеалогии, Лобанов-Ростовский положительно отнесся к «шведским конституционным планам Н. П. Панина направленным на ликвидацию в России «дикой неурядицы падишахского управления»<sup>39</sup>. Скоропадский возражал: «Швеция в XVIII столетии находилась в состоянии еще большей «дикой неурядицы». Дикая неурядица падишахского управления, тогда в России существовавшая, не помешала провести бескровно реформы Александра II. Можно сомневаться в том, что удалось бы провести их бескровно при существовании в России конституции, даже и на шведский образец»<sup>40</sup>.

Мы намеренно соединили столь разные времена и столь разных деятелей — Пушкин, Скоропадский. В 1860-х годах среди врагов аристократической оппозиции был Герцен: когда отменяли крепостное состояние, аристократы, желавшие усиления своих прав за счет самодержавия, выглядели подозрительно и объективно мешали освобождению крестьян и другим реформам.

В целом, упрощенно говоря, оппозиция типа верховников, Паниных и т. п. вызывала опасения и революционеров и реформистов — не желают ли аристократы свободы для себя за счет свободы для других... Правда, шведский опыт как будто обнадеживал: дворянские, аристократические, олигархические учреждения к XIX в. благополучно превратились в буржуазно-парламентарные, и все пошло «своим чередом». Однако в Швеции издавна были свободные крестьяне, и этим сказано очень много о разнице исторических путей двух стран.

---

<sup>38</sup> ЦГАДА, ф. 1274, оп. 1, № 3304. Другие списки этого сочинения там же, № 936, а также в собраниях Шильдера, Бильбасова (ПБ) и в архиве «Русской старины» (ИД), для которой это сочинение предназначалось.

<sup>39</sup> ЦГАДА, ф. 1274, оп. 1, № 936, л. 12.

<sup>40</sup> Там же, л. 33—34.

Справедливости ради нужно вспомнить, что в России печатались также статьи и книги, иначе оценивавшие олигархическую оппозицию. Правда, было это преимущественно в начале XX в., когда появились некоторые запоздалые свободы, Дума, и поэтому усилилось внимание к тем идеям и учреждениям, в которых видели «исторических предшественников». Типичной работой этого рода явилась книга «Государственная власть и проекты государственной реформы в России» известного историка литературы В. Е. Якушкина (внука декабриста и сына общественного деятеля второй половины XIX в. Е. И. Якушкина). Автор кратко описывал историю «конституционных идей» в России с XVI до конца XIX в. — от Земских соборов до конституции Лорис-Меликова (в приложениях к работе был помещен проект конституции Никиты Муравьева).

«Характерным явлением всей нашей истории за рассмотренные века, — писал В. Е. Якушкин, — были то ослабевавшие, то усиливавшиеся стремления правительства и общества к реформе нашего государственного строя. По своему содержанию проекты конституций, сменявшие друг друга в течение XVIII и XIX вв., представляют [...] много важного и интересного»<sup>41</sup>.

Одна из глав названной книги была специально посвящена «конституционным проектам графа Н. И. Панина», к которым Якушкин отнесся с большим пиететом, почти «забывая» об аристократических и крепостнических недостатках тех старинных идей...

Советские историки в общем весьма сдержанно относятся к аристократическим проектам. Совершенно справедливо главными героями освободительных сражений XVIII—XIX вв. считаются те, кто старались улучшить жизнь большинства, в то время как «вольные аристократы» стремились совсем к другому. В самом деле, разве не Петр Панин, один из лидеров аристократической оппозиции, бил по лицу и выдрал бороду у связанного Пугачева?

---

<sup>41</sup> В. Е. Якушкин. Государственная власть и проекты государственной реформы в России. СПб., 1906, стр. 129.



Автору данной книги все эти соображения кажутся резонными, серьезными, но иногда требующими более широкого, многостороннего разбора.

При оценке каждого общественного течения (как, впрочем, и любого другого явления) необходим конкретно-исторический подход. Ясно, что, скажем, для 50-х—60-х годов XIX в. аристократические требования выглядели уже дремучей стариной и мешали новым, в частности, революционно-демократическим идеям, которые овладевали умами. Однако за 100 лет до того, в середине XVIII в., еще до выступления Радищева, значение идей Фонвизина, Паниных и т. п. было другим. В то же время если в аристократической оппозиции верховников (1730) совсем не заметны антикрепостнические мысли, то о фонвизинском «Рассуждении...» этого уже нельзя сказать. Анализируя оппозицию Фонвизина и Паниных, мы должны отметить в ней некоторые существенные черты, которые, надо полагать, имеют объективно прогрессивный характер.

Прежде всего, в этом выступлении немало антисамодержавного смысла, порой столь острого, смелого (Фонвизин), что средства перехлестывали цель. Обличения деспотизма, тирании, фаворитизма выглядели куда более внушительно, чем аристократические «формулы» на знамени; ирония, протест, презрение, угрозы, даже ненависть к противнику столь плотны и основательны, что порой нелегко отличить их от обличений, имеющих иное происхождение и цель.

Напомним два отрывка.

*Фонвизин* («Рассуждение...»): «... всякая власть, не ознаменованная божественными качествами и правоты и кротости, но производящая обиды, насильства, тиранства, есть власть не от бога, но от людей, коих несчастья времен попустили, уступя силе, унижить человеческое свое достоинство. В таком гибельном положении нация, буде находит средство разорвать свои оковы тем же правом, каким на нее положены, весьма умно делает, если разрывает».

*Радищев* («Путешествие из Петербурга в Москву»):

«О законы! Премудрость ваша часто бывает только в вашем слоге! Не явно ли се вам посмеяние? Но

паче еще того посмеяние священного имени Вольности.

О! Если бы рабы, тяжкими узами отягченные, ярясь в отчаянии своем, разбили железом, вольности их препятствующим, главы наши, главы бесчеловечных своих господ и кровию нашею обагрили нивы свои! Что бы тем потеряло государство?...»

Итак, объективно расшатывающие удары по строю и устоям — вот первая из возможных положительных оценок. «Панины не шли дальше идей дворянского либерализма, — констатирует современный исследователь творчества Фонвизина. — Но они хотели уничтожить деспотический, самовластный режим Екатерины, установить законность в России, ограничить монарха в его самовластии [...]. Писатель смело шел на блок с этой группой, тем более что в их взглядах на природу русского деспотизма было много общего»<sup>42</sup>.

Второе, о чем не раз писал Герцен, — проявление свободомыслия, формирование крупных, ярких, оригинальных характеров, личностей. И там, где часто не было и не могло быть прямой преемственности идей (Панины, Щербатов, Дашкова — и люди 1860-х годов), — там сложными путями шла преемственность характеров...

Однако существовала, пусть в сложной, противоречивой форме, и определенная преемственность идей. Идея борьбы и протеста перейдет к следующим поколениям, которым мало дела до аристократических мечтаний, но много — до внушительных ударов по цели, нанесенных умелыми руками ближних предков. Ведь и куда более древние, социально чуждые ситуации (Рим, Новгород) вдохновляли свободомыслие в разные эпохи. «Исторические заслуги, — отмечал В. И. Ленин, — судятся не по тому, чего не дали исторические деятели сравнительно с современными требованиями, а по тому, что они дали нового сравнительно с своими предшественниками»<sup>43</sup>.

Конечно, судьба идей часто парадоксальна. Петра

<sup>42</sup> Г. П. Макогоненко. Денис Фонвизин. Творческий путь, стр. 154.

<sup>43</sup> В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 2, стр. 178.

Панина, рвущего бороду у Пугачева, Герцен не раз вспомнит как ужасный пример правительственного зверства, которое будет отомщено (см. гл. VII). Но именно в герценовской печати — можно сказать, в одних и тех же изданиях — соседствуют защита крестьян, крестьянское дело и панинское «Завещание». Если бы Никита и Петр Панины знали, что в какой-то исторической точке пересекутся линии от них и от Пугачева!..

Причудливой исторической судьбе фонвизинско-панинских замыслов за десятилетия, прошедшие от их создания до публикации в герценовской печати, будет посвящена следующая глава.

Глава V  
«НА ШЕСТЬДЕСЯТ  
ЛЕТ...»

Безбородко, получив однажды утром три противоречивых указа Павла I, сказал: «Бедная Россия! Впрочем, ее станет еще на 60 лет».

(Из материалов, собранных  
Н. К. Шильдером<sup>1)</sup>)



Карикатура на Павла I. 1799 г.

Действительно, той России стало еще ровно на 60 лет — от убийства Павла до отмены крепостного права.

23 марта 1801 г. медленный траурный кортеж сопровождал набальзамированное тело

<sup>1</sup> ПБ, ф. 859 (Шильдера), 22.7, л. 66.

задушенного, изуродованного императора из дворца в Петропавловский собор. Для пущей торжественности был сделан восьмиверстовый круг по двум невиским мостам.

Впереди почетного конвоя, неся на специальной подушке корону усопшего, весь этот путь прошагал 30-летний Никита Петрович Панин, единственный сын генерала Петра Панина и единственный племянник — наследник министра Никиты Панина, в честь которого и был назван.

День был холодный, Панин пожаловался в письме к жене на недостаточно теплую одежду, но прибавил, что «день не был утомителен».

Хоронить Павла — не то что при нем жить...

Вместо перечисления мрачных несообразностей 52-х павловских месяцев проще, наверное, вспомнить некоторые из первых указов «дней Александровых прекрасного начала».

По списку новых разрешений легко угадываются старые запрещения.

Только за один день, 15 марта 1801 г. (через 4 дня после цареубийства), прощено в указе 156 человек (среди них Радищев, Ермолов).

К 21 марта — 482 человека (всего же помиловано и возвращено на службу 12 тыс. человек).

14 марта — снято запрещение на вывоз разных продуктов.

15 марта — восстановлены дворянские выборы по губерниям;

амнистированы укрывшиеся за границей, снято запрещение на ввоз ряда товаров.

22 марта — объявлен свободный въезд и выезд из России.

31 марта — разрешены частные типографии и ввоз всяких книг из-за границы.

2 апреля — восстановлена екатерининская жалованная грамота дворянству и городам;

уничтожена тайная экспедиция.

8 апреля уничтожены виселицы, на которых прибывались имена опальных.

9 апреля — уничтожены пукли у солдат.

27 сентября — запрещены пытки и «пристрастные допросы»;

запрещено употреблять в делах самое слово «пытка»<sup>2</sup>.

В свое время Н. П. Панину, единственному наследнику двух оппозиционных екатерининских вельмож, достались, конечно, бумаги и тайные заветы, в частности насчет будущего императора Павла, конституции и т. п.

Внезапная смерть Екатерины II, 6 ноября 1796 г., и стремительное прибытие Павла из Гатчины в Петербург оказались чрезвычайным событием для открытия и сокрытия секретных исторических документов.

Новый царь, а также новый наследник Александр вкупе с важными государственными персонами Безбородкой и Ростопчиным, произвели розыск в потайных бумагах Екатерины. Обнаружились откровенные незавершенные мемуары императрицы, и Павел дал их почитать другу юности князю Алексею Куракину, тот же, не спросясь, быстро снял копию, и она тайно пошла по России — к Карамзину, Александру Тургеневу, Пушкину, а через 60 лет — к Герцену. Одним из первых читателей мемуаров был именно Никита Панин второй, который 19 октября 1801 г. благодарил Куракина: «Возвращая мемуары покойной императрицы, я прошу Вас, князь, принять мою благодарность за то удовольствие, которое я получил от этого интересного чтения»<sup>3</sup>.

Вторым важнейшим документом было признание Алексея Орлова, что они и Федор Барятинский в 1762 г. убили арестованного Петра III. По мнению Павла I, это отчасти реабилитировало его мать, так как из письма-записки следовало, что Петр III был убит не по приказу жены<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> А. Н. Пыпин. Общественное движение в России в царствование Александра I, т. 3, изд. 5. СПб., 1918, стр. 67—68.

<sup>3</sup> А. Брикнер. Материалы для жизнеописания графа Никиты Петровича Панина. Т. VI, СПб., 1892, стр. 646 (на фр. языке). Брикнер писал, что неизвестно, о каких записках Екатерины тут говорится, «едва ли о ее автобиографии, изданной в Лондоне в 1858 г.». Между тем Н. П. Панин ясно пишет как раз о той самой «автобиографии» — мемуарах Екатерины II; получение их рукописи именно от Куракина — еще одно подтверждение этого обстоятельства.

<sup>4</sup> На самом деле убийцы были уверены в одобрении их



Прочитав записку, Павел вскоре бросил ее в камин, но через 63 года, как приложение к русскому изданию мемуаров Екатерины II, она была напечатана все той же Вольной типографией Герцена. Происхождение этого «ожившего пепла», очевидно, объясняется записью Ф. В. Ростопчина: «Я имел его [письмо Орлова] с четверть часа в руках; почерк известный мне графа Орлова; бумаги лист серый и нечистый, а слог означает положение души сего злодея»<sup>5</sup>. Понятно, Ростопчин намекает на то, что за «четверть часа» снял копию и сохранил ее.

Наконец, в первые павловские дни, вероятно, открылся еще один документ, с которого копия не была снята, — завещание Екатерины II, передававшее престол внуку Александру, минуя сына Павла. Найденный в бумагах царицы документ был, очевидно, уничтожен Александром и Безбородкой, что было согласно с тогдашними настроениями 19-летнего великого князя, не желавшего царствовать. Сводку мнений об этом завещании в свое время составил Н. К. Шильдер<sup>6</sup>. Вскоре, однако, негласная история закончившегося царствования пополнилась рукописью, никогда не попадавшей (разве что во фрагментах) на глаза покойной императрицы. Вдова прокурора Пузыревского поднесла Павлу I пакет конспиративных сочинений Фонвизина—Паниных вместе с загробным письмом к будущему императору (см. гл. IV). Подробности эпизода нам неизвестны, но нет сомнений, что Павел был растроган. После этого Пузыревская получила пенсию, умершему воспитателю велено было соорудить памятник. Обласкан был и Никита Панин второй, хотя и не слишком нравившийся императору и вообще, по единодушному суждению близких, не обладавший тем вкрадчивым обаянием, которое так часто выручало

---

действий Екатериной II. Возможно, как полагают некоторые исследователи, письмо Орлова было даже фиктивным документом, маскирующим роль императрицы.

<sup>5</sup> Письмо А. Г. Орлова было опубликовано в ИС, II, стр. 83; в России — в «Архиве князя М. С. Воронцова», т. XXI. М., 1881, стр. 430; записи Ф. В. Ростопчина — там же, стр. 431.

<sup>6</sup> Н. К. Шильдер. Император Павел Первый, стр. 270—274.

его покойного дядю. Молодого Панина отправили послом в Берлин, а в 1799 г. он был уже действительным тайным советником и вице-канцлером, в свои 29 лет фактически управляя иностранными делами, как некогда Никита Панин первый.

«Рассуждение...» Фонвизина между тем было спрятано среди секретных бумаг в кабинете Павла, где лишь 35 лет спустя его обнаружил граф Блудов; тогда же, в 1831 г., рукопись Фонвизина была представлена Николаю I и поступила от него в Государственный архив с резолюцией: «Хранить, не распечатывая без собственноручного высочайшего повеления» (спустя 70 лет именно этот экземпляр «Рассуждения...» был открыт Е. С. Шумигорским).

Родственники же Фонвизина, видно, не торопились открывать свой архив Павлу, и в течение его царствования сохраняли «второй экземпляр» у себя. Разумеется, проекту, с которым некогда знакомился юный Павел, зрелый Павел I никакого хода не давал: положительный герой Фонвизина и Панина сделался отрицательным персонажем, как будто взявшим себе за образец худшего деспота из того же фонвизинского «Рассуждения...». И словно в греческой трагедии, за дело берется Немезида, а первый сигнал к мести подает наследник прежних доброжелателей: именно Никита Петрович Панин первым решился сказать Александру о том, что Павла необходимо низложить: подразумевались арест, изоляция безумного царя.

Находясь на самом «верху», Панин, как и его коллеги, каждый день ждал опалы, ареста. Лишь в письмах Семену Воронцову в Лондон, написанных невидимыми чернилами (между строк обыкновенных посланий)<sup>7</sup>, Панин изливал негодование. В июне 1800 г.: «Дурное настроение и меланхолия нашего государя делают самые быстрые успехи; все, как в делах внутреннего управления, так и внешней политики, решается под влиянием минутного расположения духа или неудовольствия». «Я погибаю от горя, — пишет Панин в другом послании [...] Мы здесь точно рабы на галерах. Я стараюсь держаться против

<sup>7</sup> Адресат был предупрежден, что, если дата стоит в конце письма, следует проявлять невидимые строки.

течения, но силы мне изменяют, и стремительный поток, вероятно, скоро унесет меня в какую-нибудь отдаленную деревню»<sup>8</sup>.

Сведения о первых заговорщиках несколько противоречивы. Во всяком случае раньше других взялись за дело Панин, Рибас, Пален, Талызин. Из всех главных деятелей заговора осторожнее, сдержаннее всех оказался именно Панин: важные рассказы Палена, Беннигсена записал вскоре после переворота А. Ланжерон; рано или поздно сообщили кое-что и другие «действовавшие лица».

Когда Александр I впервые увидел Панина после гибели Павла, он обнял его и произнес со слезами на глазах: «Увы, события повернулись не так, как мы предполагали»<sup>9</sup>.

6 октября 1801 г. Кочубей писал С. Р. Воронцову: «Как вам известно, именно Панин произнес первое слово насчет регентства»<sup>10</sup>. Примерно тогда же барон Николаи делился своими мыслями с тем же С. Р. Воронцовым: «Это правда, что план Панина не имел в виду того преступления, которое произошло, но непредвиденные последствия его проекта регентства могли быть еще ужаснее, если бы план не осуществился»<sup>11</sup>.

До нас дошли лишь некоторые неясные фрагменты рассуждений и воспоминаний Панина обо всем этом. Два эпизода — о встрече с наследником в соединительных галереях подвального дворцового этажа, когда Панин принял Александра за шпиона, а также хорошо известная история о том, как Павел I едва не захватил список заговорщиков и план заговора, спрятанные в кармане Палена, — обе эти истории в записках саксонского резидента в Петербурге К. Ф. Розенцвейга помещены с ссылкой: «Эти детали сообщены составителю этих записок самим графом Паниным, умершим в начале 1837 г.»<sup>12</sup>.

<sup>8</sup> А. Брикнер. Материалы для жизнеописания графа Никиты Петровича Панина, т. V. СПб., 1890, стр. 170, 190, 282, 424.

<sup>9</sup> Из донесения шведского посла барона Стединга от 21 марта 1801 г. А. Брикнер. Материалы..., т. VI, стр. 2.

<sup>10</sup> Архив Воронцовых, т. XVIII. М., 1880, стр. 245—246.

<sup>11</sup> Там же, т. XXII, стр. 119.

<sup>12</sup> «Geheime Geschichten und rätselhaften Menschen. Sammlung

Согласно Розенцвейгу и другим мемуаристам, осенью 1800 г. Панин начал тайные переговоры с наследником о введении регентства наподобие английского (наследный принц, парламент и кабинет министров контролировали в те годы безумного короля Георга III). В более самодержавной Дании наследный принц Фридрих тогда же управлял страной вместо психически больного отца Христиана VII, который мог только представлять на торжественных аудиенциях. Шведский посол в России Стендингк 3(15) июля 1802 г. докладывал: «Панинский проект революции против покойного императора был в известном смысле составлен с согласия ныне царствующего императора и отличался большой умеренностью. Он задавался целью отнять у Павла правительственную власть, оставив ему, однако, представительство верховной власти, как мы это видим в Дании»<sup>13</sup>.

Английский посол в Петербурге Витворт мог дать по этой части полезные советы своему близкому другу Панину: он хорошо представлял английскую систему регентства, связанную с Георгом III, и был заинтересован в свержении Павла, охладившего к Англии и сближавшегося с Наполеоном.

Адам Чарторыйский в своих воспоминаниях передавал рассказы другого участника тайных встреч, Александра I, о его переговорах «в бане» с Паниным, который «нарисовал великому князю картину общего злополучия и изобразил те еще большие несчастья, каких можно ожидать в том случае, если будет продолжаться царствование Павла [...] Потребовалось более шести месяцев настойчивых стараний, чтобы вырвать у великого князя согласие на дело, принимаемое против его отца»<sup>14</sup>. Наследник, соглас-

---

Verborgener oder vergessener Merkwürdigkeiten» («Тайные истории и загадочные люди. Собрание неизвестных или забытых достопримечательностей»). Лейпциг, 1850; изд. 2, 1863. Тот же документ с именем автора записок — в журнале «Aus allen Zeiten und Ländern». Брауншвейг, 1882, № X. Краткая характеристика этих материалов в книге А. Брикнера «Смерть Павла I». СПб., 1907, стр. 15—16.

<sup>13</sup> А. Брикнер. Смерть Павла I. СПб., 1907, стр. 74.

<sup>14</sup> Там же, стр. 72—73.

но Чарторыйскому, даже обсуждал детали: «Павел должен был бы по-прежнему жить в Михайловском дворце и пользоваться загородными царскими дворцами [...] Он воображал, что в таком уединении Павел будет иметь все, что только может доставить ему удовольствие, и что он будет там доволен и счастлив»<sup>15</sup>.

Между тем Панин, несомненно, обдумывал способ управления в случае регентства. П. А. Пален сообщал позже прусскому дипломату барону Гейкингу: «Мы хотели заставить государя отречься от престола, и граф Панин одобрил этот план. Первою нашею мыслью было воспользоваться для этой цели Сенатом, но большинство сенаторов болваны, без души, без воодушевления. Они теперь радуются общему благополучию, чувствуют его с восторгом, но никогда не имели бы мужества и самоотвержения для совершения доброго дела»<sup>16</sup>.

Так или иначе, но в случае успеха Павел объявлялся сумасшедшим, а наследник — регентом. Очень трудно сейчас судить, какую роль могли тут сыграть старые панинско-фонвизинские конституционные идеи. Однако доподлинно известно, что будущий Александр I не раз говорил и писал о пользе ограничения безграничной власти<sup>17</sup>. Весьма вероятно, что в этом духе он беседовал и с вице-канцлером в бане или подземном дворцовом переходе: лучшего довода в пользу конституции, чем бесчинства Павла, трудно было вообразить.

Между тем регентское управление, регентский совет могли явиться подобием того императорского совета, о котором мечтал некогда Никита Панин I; слабоумный Петр III в 1762 г. и безумный Павел в 1801 г. создавали неплохой повод для введения хоть каких-то представительных учреждений (или наделения соответствующими правами тех, что уже име-

<sup>15</sup> Там же, стр. 74.

<sup>16</sup> Там же, стр. 68. О плане регентства в 1801 г. см. С. Б. Окунь. История СССР. 1796—1825. Курс лекций. Л., 1948, стр. 95—96.

<sup>17</sup> Об этом, например, 27 сентября 1797 г. он писал Лагарпу (*Н. К. Шильдер*. Император Александр Первый. Его жизнь и царствование, т. I. СПб., 1897, стр. 162—164).

лись, например Сената). Для этих планов живой, но изолированный Павел был бы полезнее Павла убитого и замененного «хорошим царем» Александром: в последнем случае пропадал бы удобный повод для урезания абсолютизма. Конечно, экс-император под стражей мог бы стать объектом для разных честолюбивых замыслов, но в российской истории уже был прецедент: вполне законный император Иоанн Антонович, просидевший 23 года в крепости и убитый при попытке Мировича воспользоваться именем этого четвероюродного брата Павла I.

Панина не было в столице 11 марта 1801 г.: во время одной из вспышек высочайшего гнева, в декабре 1800 г., он был изгнан из Петербурга и даже не смел покинуть свое имение. События разыгрались без него, и, судя по восклицанию Александра I при первой встрече с возвращенным министром, события шли не «по-панински». Разумеется, 11 марта было прежде всего дворцовым переворотом, только заменившим одного монарха более либеральным. Однако имелись и другие, более значительные последствия этого события. Герцен в 1857 г. напечатает в «Колоколе»: «Каждый, кто сколько-нибудь следил за историей русского развития с начала XVIII столетия, видит даже в самые уродливые эпохи ее, что в обществе поднимаются, бродят живые силы, требующие больше, чем одного повиновения. Всеобщее отвращение, всеобщее негодование против наглого самовластья Павла, окончившееся таким энергическим протестом, не довольно оценено» (Г. XIII. 38).

Автор «Былого и дум» не раз восхищался «обломками» прошлого, сохранившими самобытность в безликом николаевском мире; такова была старуха Ольга Александровна Жеребцова, старавшаяся в 1840-х годах помочь тонимому Герцену. В 1800—1801 гг. О. А. Жеребцова, сестра Зубовых, играла немалую роль в тайных приготовлениях заговорщиков, в частности, пользуясь своим влиянием в английских дипломатических и придворных кругах. «Странная, оригинальная развалина другого века, — писал о ней Герцен, — окруженная выродившимся поколением на бесплодной и низкой почве петербургской придворной жизни. Она чувствовала себя вы-



ше его и была права. Если она делила сатурналии Екатерины и оргии Георга IV, то она же делила опасность заговорщиков при Павле. Ее ошибка состояла не в презрении ничтожных людей, а в том, что она принимала произведения дворцового огорода за все наше поколение» (Г. IX. 70).

Некоторые цареубийцы видели себя героями-освободителями наподобие древнеримских тираноборцев. П. А. Пален, при новом царе высланный из Петербурга и попавший в опалу, громко говорил об «услуге, оказанной государству и всему человечеству [...] Мы были, может быть, на краю действительного и несравненно большего несчастья, а великие страдания требуют сильных средств. И я горжусь этим действием, как своей величайшей заслугой перед государством»<sup>18</sup>.

Любопытный документ, распространившийся в списках и сохранившийся, в частности, среди бумаг Н. К. Шильдера, был писан одним из цареубийц — князем В. М. Яшвилем. Шильдер, как можно понять, считает это письмо к Александру I подлинным<sup>19</sup>.

Вот его текст:

«Государь, с той минуты, когда несчастный безумец, Ваш отец, вступил на престол, я решился пожертвовать собой, если нужно будет, для блага России, не-

<sup>18</sup> Цит. по: А. Брикнер. Смерть Павла I, стр. 68.

<sup>19</sup> Этот документ с купюрами был опубликован П. Паренсовым (по неизданным бумагам Н. К. Шильдера) в «Русской старине», 1909, № 1, стр. 212. Полный текст в ПБ, ф. 859.22.14, лл. 26, 27. Другой список — в ЦГАОР, ф. 728 (рукописное собрание библиотеки Зимнего дворца), № 693, из собрания великого князя Сергея Александровича. Строки, исключенные при публикации в «Русской старине», нами выделены.

Как известно, Яшвиль был вскоре сослан Александром I под надзор в Калужскую губернию. В самые горячие дни 1812 г. Кутузов поручил ему с отрядом Калужского ополчения выбить неприятеля из Рославля. Узнав об этом, Александр I написал: «Какое канальство!» — и сделал полководцу выговор (3 октября 1812 г.): «Вы сами себе присвоили право, которое я один имею, что, поставляя Вам на замечание, предписываю немедленно послать Яшвиля сменить и отправить его в Симбирск под строгий надзор к губернатору». 31 октября 1812 г. Кутузов «имел счастье донести», что «отставной генерал-майор Яшвиль в деревню свою возвратился». — «Русская старина», 1881, № 11, стр. 665—666.

счастной России, которая со времени кончины Великого Петра была игралищем временщиков и, наконец, жертвой *безумца*. Отечество наше находится под властью самодержавною — самую опасною из всех властей потому, что участь миллионов людей зависит от великости ума и души одного человека. Петр Великий нес со славою бремя самодержавия, и под мудрую его власть отечество отдохнуло, но гении редки, и как в настоящую минуту осталось одно средство — *убийство*, мы за него взяли. Бог правды знает, что наши руки обагрились кровью не из корысти, пусть жертва будет не бесполезна. Поймите Ваше великое призвание, будьте на престоле, если возможно, честным человеком и русским гражданином. Поймите, что для отчаяния есть всегда средства, и не доводите отечество до гибели. Человек, который жертвует жизнью для России, вправе Вам это сказать, я теперь более велик, чем Вы, потому что ничего не желаю, и, если бы даже нужно было для спасения Вашей славы, которая так для меня дорога только потому, что она слава и России, я готов был бы умереть на плахе, — но это бесполезно, вся вина падет на нас, и не такие проступки покрывает царская мантия! Удаляюсь в мои деревни, постараюсь там воспользоваться кровавым уроком и пещись о благе моих подданных. Царь царствующих простит или покарает меня в предсмертный час; молю его, чтоб жертва моя была не бесполезна! Прощайте, государь! Пред государем я спаситель отечества, пред сыном — убийца отца. Прощайте, да будет благословение всевышнего на Россию и Вас — ее земного кумира, да не постыдится она его во века!»

Примерно так же оправдывался отпор тирану в сочинении Д. И. Фонвизина. Сам факт завоевания хоть на несколько лет более легкого режима доказывал действительность бунта. Естественным уроком четырех с лишним павловских лет был вопрос о гарантиях против новых павлов.

Спустя несколько лет в знаменитой записке «О древней и новой России» Карамзин вспомнил два главных мнения, столкнувшихся при воцарении Александра: возвращение к системе Екатерины (т. е.

самодержавие «хорошего царя» Александра) — или система конституционная.

Материалы, опубликованные Герценом, в сопоставлении с другими источниками дают возможность восстановить, уверенно или предположительно, некоторые важные подробности этой борьбы. Один из документов позволяет поставить вопрос и о конституционных замыслах Н. П. Панина в 1801 г.

Сенатор Е. П. Ковалевский познакомил около 1870 г. известного историка литературы академика Я. К. Грота с любопытным текстом, писанным неизвестной рукой на обложке подлинного мнения Г. Р. Державина «О правах, преимуществах и существенной должности сената» (1801 г.). После уточнений И. А. Чистовича Грот опубликовал следующий отрывок:

«Мнение сенатора и поэта Г. Р. Державина, в 1801 году поданное и известное под названием «Предисловие к конституции Державина».

Трое ходили тогда с конституциями в кармане — реченый Державин, князь Платон Зубов с своим изобретением и граф Никита Панин (отец нынешнего министра юстиции) с конституциею английскою, переделанною на российские нравы и обычаи. Николаю Николаевичу Новосильцову, жившему тогда во дворце и всем управлявшему, стоило в то время большого труда наблюдать за царем, чтобы он не подписал которого-либо из проектов, который же из проектов был глупее, трудно было решить. Все три были равно бестолковы. Жалею очень, что теперь, в бытность мою в С. Петербурге, я не нашел второго мнения Державина, которое известно под названием его кортесов<sup>20</sup>.

Видно, что покойный дялюшка мой, у которого оставались многие бумаги мои, испугавшись в 1826 г. взятия меня до Кармелитов [Karmelitów], изволил истребить все, что было у меня любопытнейшего и что могло показаться ему слишком смело написан-

---

<sup>20</sup> Примеч. Грота: «Вероятно, здесь разумеется то мнение, которое было написано по поводу проекта Сперанского в 1811 г.». См. «Сочинения Державина с объясн. примеч. Я. К. Грота», т. VI. СПб., 1870, стр. 217—224.

ным, а потому подозрительным. То, что из числа бумаг моих хранилось в комиссариате, нашел я все в целости»<sup>21</sup>.

Подлинник записи «на обложке» был вскоре утрачен.

«К сожалению, — комментировал этот текст Я. К. Грот, — несмотря на все наши разыскания, нам не удалось разъяснить, кто писал эти строки, очевидно обличающие слишком недостаточное знакомство с затронутыми в них фактами»<sup>22</sup>. Однако во втором издании своего «Державина» Грот даже дополнил сообщение анонима о трех конституциях 1801 г.: «Есть известие, что с подобным планом в то время носился также адмирал Мордвинов»; кроме того, упоминались проекты Трошинского и Новосильцова<sup>23</sup>.

Много ли верного в этой любопытной записи и что дает она для истории панинских проектов?

Конституционный характер известного мнения Державина насчет Сената не вызывает сомнений.

Так же известно, по другим источникам, что Платон Зубов предлагал превратить Сенат в нечто подобное парламенту<sup>24</sup>.

Выходит, из трех проектов, перечисленных на обложке державинского мнения, мы ничего не знаем только об «английской» конституции Панина, «переделанною на российские нравы и обычаи».

Тут, естественно, на память приходит другой «панинский» проект — конституция Д. И. Фонвизина — Никиты Панина первого, «переделанная» со шведского образца.

Если нечто подобное было наготове у Никиты Па-

<sup>21</sup> Уточненный текст этой записи (по рукописи, доставленной Я. К. Гроту И. А. Чистовичем) опубликован в «Сочинениях Державина с объясн. примеч. Я. Грота», изд. 2. т. VII, ч. I. СПб., 1878, стр. 852. В первом издании этого тома (стр. 341) текст напечатан с ошибками, хотя нет полной уверенности и в абсолютной точности редакции И. А. Чистовича.

<sup>22</sup> *Державин*. [Сочинения], изд. 1. СПб., 1872, т. VII, ч. I, стр. 341.

<sup>23</sup> Там же, изд. 2, стр. 793.

<sup>24</sup> А. Н. Пыпин. Общественное движение в России в царствование Александра I, т. 3, стр. 97—99.

нина второго, оно могло предназначаться сперва для регентства.

Иронически-пренебрежительная записка анонима, между прочим, немало сообщает о самом авторе и представляет его персоной весьма компетентной. Можно заметить, что он служил уже в начале XIX в. скорее всего в Сенате, где сосредоточивались бумаги о русских реформах и где уж, конечно, нетрудно было бы познакомиться с мнением Державина насчет перестройки самого Сената. Перед восстанием декабристов этот человек служил (во всяком случае имел возможность хранить секретные бумаги) в «комиссариате», что можно понять как комиссариатский департамент военного министерства. После 14 декабря автора арестовали или могли арестовать: здание упраздненного кармелитского монастыря в Варшаве использовалось как тюрьма (в нем сидели, между прочим, члены польского Патриотического общества)<sup>25</sup>, поэтому выражение «до кармелитов» может означать и арест (угрозу ареста) в Варшаве, и арест вообще, необязательно в Варшаве (нечто вроде «посадить в кутузку»). Если и брали «до кармелитов», то в конце концов без особых последствий для автора, ибо он сам мог вскоре убедиться, что все бумаги в «комиссариате» целы, а прочие — дядюшка «истребил». Запись, понятно, сделана не раньше 1840 г. и не позже 1860 г., поскольку именно в эти годы Виктор Никитич Панин, сын Никиты Петровича, мог быть назван «нынешним министром юстиции».

По-видимому, служба автора шла неплохо, если он мог писать столь развернутые примечания на обложке секретного сенатского документа. Система взглядов того, кто в 1826 г. гостил «у кармелитов», а позже смеялся над «глупостью» первых конституций, вполне подошла бы крупному начальнику, сделавшему за полвека хорошую карьеру, вероятно, в Сенате.

Искомое лицо более всего похоже на литературного, общественного и государственного деятеля Андрея Адреевича Жандра, дружившего с Грибоедо-

---

<sup>25</sup> Этими сведениями автор обязан И. С. Миллеру.

вым и сохранившего подлинную рукопись «Горя от ума».

Жандр (1789—1873), как и «аноним», в 1800-х годах служил в Сенате (в 1803 г. — копиист, с 1804 г. — в сенатской типографии), а затем много лет в Военном министерстве (с 1812 г. — помощник столоначальника в инспекторском департаменте, с 1819 г. — в военно-счетной экспедиции).

Вечером 14 декабря 1825 г. он приютил своего приятеля декабриста А. И. Одоевского, после чего был арестован, но затем освобожден, так как «о существовании общества и о замыслах мятежа не знал».

Выйдя от «кармелитов», Жандр успешно продвигался по службе, и на старости лет — с 1853 г. — сенатор, причем видный: возглавляет сенатские департаменты и т. п.<sup>26</sup>

Правда, мы не сумели сыскать «подходящего» дядюшку А. А. Жандра, который мог бы хранить и истребить его бумаги в 1826 г., а петербургский арест придает термину «кармелиты» метафорический характер. Однако остальные черты автора Записки и Жандра совпадают! К тому же ни одно из лиц, связанных с декабризмом или польскими тайными обществами 1820-х годов, по своим биографическим данным здесь даже отдаленно не может «соперничать» с Жандром. Свидетельство Жандра (?) придает еще больше веса мелькнувшей и исчезнувшей версии о конституции Н. П. Панина. О том же замысле, как сейчас увидим, сообщают и записки Михаила Фонвизина.

Соккрытие, а быть может, уничтожение «регентской» конституции легко объясняется последующей биографией Панина.

Как известно, после мгновенного взлета в марте 1801 г. он впал в немилость у Александра I — в октябре того же года удалился в долгий отпуск, а затем в отставку. Вскоре ему запретили занимать какие-либо должности по службе или дворянским выборам и фактически не допускали в столицы.

Опала Никиты Петровича была одной из самых долгих — с 1801 г. до самой смерти в 1837 г.

<sup>26</sup> «Восстание декабристов», т. VIII. М.—Л., 1925, стр. 316.



Любопытно, что одним из доводов Александра I против введения конституции в стране было: «а вдруг изберут депутатом Панина».

Когда родственники Н. П. Панина на коленях умоляли Николая I прекратить 25-летнюю опалу, новый царь сказал, что императрица — мать Мария Федоровна взяла с него единственную клятву — не возвращать Панина.

Историки занимались вопросом о причинах столь жестокой немилости. Брикнер обнаружил сложную систему интриг (недавнего близкого друга Панина Семена Воронцова и других), скомпрометировавших министра перед Александром I. Царь, в частности, был оскорблен переданным ему откровенным и нелестным мнением Панина о личности и способностях своего повелителя.

В ответ на недоуменные вопросы императрицы-матери, благоволившей в то время к Панину (ибо тот 11 марта 1801 г. отсутствовал в Петербурге), царь открыл ей инициативу министра в организации заговора и плана регентства (конечно, не упомянув о своем участии в тайных «подземных» переговорах).

Таковы в общих чертах несомненные факты<sup>27</sup>.

Остается неясным, не скрывалось ли за ними еще нечто невысказанное, но тоже поставленное в вину Н. П. Панину; не воспринял ли Александр I критические реплики Панина столь болезненно, потому что они неприятно напоминали их прежние (1800 г.) беседы о таком ограничении самодержавия, где недостатки личности, характера правителя легко корректировались бы умными депутатами и министрами<sup>28</sup>.

<sup>27</sup> Подробнее см. *Брикнер. Материалы...*, т. VI, стр. 611—668.

<sup>28</sup> В работе А. Б. Лобанова-Ростовского о Н. П. Панине, предназначенной для «Русской старины», не прошли в печать и остались в корректуре, между прочим, и следующие строки: «При Петре государственные деятели были еще рабами, при Екатерине — слугами, при Александре I — сотрудниками и сподвижниками. Панин пытался быть сотрудником в то время, когда рабство было уже анахронизмом, но и пора сотрудничества еще не наступила» (ПД, ф. 265, оп. 1, № 10, л. 199—200). О судьбе этого сочинения А. Б. Лобанова-Ростовского см. В. Теплов. Князь Алексей Борисович Лобанов-Ростовский. СПб., 1897, стр. 44.

Это только догадка. Понятно, идеи регентства и сведения [Жандра?] — еще не основание для глубоких выводов насчет конституции Н. П. Панина.

А. Г. Брикнер, собирая материалы для биографии этого деятеля, не раз намекал на то, что все документы опубликовать (в 1880—1890-х годах) невозможно. Некоторые важные бумаги сам Панин, прекрасно зная о непрерывной слежке за собой, должен был сжечь или скрыть.

А. Б. Лобанов-Ростовский записал воспоминание В. Н. Панина о том, что его отец, «живя в деревне, сжег однажды несколько записочек великого князя Александра Павловича»<sup>29</sup>.

Понятно, что для истории потаенных планов 1801 г. было бы важно по крохам собрать то, что возможно, об исчезнувшей части панинского архива.

Личный архив Брикнера исчез — в нем могли быть любопытные копии, которыми историк, вероятно, делился с коллегами. Так, в собрании другого исследователя истории XVIII столетия — В. А. Бильбасова находится очень интересный документ — письмо Н. П. Панина к императрице Марии Федоровне. Бильбасов пояснял, что это «копия с черновой, найденной в бумагах графа Н. П. Панина. Неизвестно, когда письмо было писано, в 1801 или в 1804 г.? Неизвестно, было ли это письмо отправлено или нет?»<sup>30</sup>

Документ, однако, интересен независимо от его судьбы (скорее всего, по резкости тона он не был отправлен). Автор его гордится традицией, которую он представляет или желает представлять (старшие Панины, прежние заговоры!).

В начале длинного послания к императрице Никита Панин второй решительно отбрасывает обвинение в неблагодарности по отношению к Павлу, другу семьи Паниных, а также напоминает, что все его поступки и планы в 1800 г. были санкционированы Александром I.

<sup>29</sup> ЦГАДА, ф. 1274, оп. 1, № 936, 3304; ПБ, ф. 73 (В. А. Бильбасова и А. А. Краевского), № 339, 1896 г., л. 33.

<sup>30</sup> ПБ, ф. 73, № 338, л. 2.

«В государственных делах, — писал он, — общественного деятеля не должны останавливать личные обстоятельства. Ваше величество, я рисковал большим, чем Вашей милостью ко мне, я рисковал своей жизнью, чтобы спасти государство из бездны. Покойный дядя, мой второй отец, память которого Ваше императорское величество еще чтит, проектировал регентство, чтобы спасти империю<sup>31</sup> [...] Лишенный его добродетелей, но одушевленный той же любовью к отчизне, примеры которой мне не нужно было искать за пределами нашей фамилии, я также хотел спасти империю от полного разрушения, и Ваше величество не сможет оспорить основательность моих мотивов [...] Я хотел, повторяю, передать регентство в руки Вашего августейшего сына. Я думал, что, если он возглавит столь деликатное дело, удастся избежать тех крайностей, которые всегда возникают при политических потрясениях.

Признаюсь, я сделал при этом большую ошибку; но, если император передал в неверные руки план, который я ему представил для блага государства, — неужели меня должно в этом обвинить? Меня, которого божественное провидение отправило за 800 верст от места действия»<sup>32</sup>.

Понятно, как воспринимались новым поколением свободолюбцев слова опального министра о необходимости любых жертв для спасения отечества из бездны; а то, что через родню и близких друзей такие слова доходили к декабристам, нет никаких сомнений. Разумеется, Н. П. Панин и декабристы — два разных мира; разумеется, его слова о спасении отечества подразумевали нечто иное, чем подобные же изречения молодых людей 1820-х годов. Разумеется, воздействие объективной исторической действительности образовывало у многих сотен дворян декабристские идеалы; однако в сложном сцеплении дальних и ближних причин 14 декабря занимали свое место и идеи опального министра, выброшенного на 32-м году жизни из правительства в смоленское имение Дугино и на заграничные курорты.

<sup>31</sup> Речь идет об одном из проектов переворота 1762 г. — регентстве Екатерины при малолетнем Павле.

<sup>32</sup> ПБ, ф. 73, № 338, л. 3—5 (на фр. яз.).

Вот как представлял себе разбираемые события племянник первого Фонвизина — декабрист Михаил Фонвизин:

«Вступивши в службу в гвардию в 1803 году, я лично знал многих участвовавших в заговоре, много раз слышал все подробности». Между прочим, юный Фонвизин знал и о том, что, «воспитанный умным и просвещенным дядей, граф Н. П. Панин усвоил свободный его образ мыслей, ненавидел деспотизм и желал не только падения безумного царя, но с этим падением—законно-свободные постановления, которые бы ограничивали царское самовластие, на этот счет и граф Пален разделял его образ мыслей»<sup>33</sup>.

Итак, еще одно свидетельство относительно желания Н. П. Панина ввести «законно-свободные постановления». Свидетельствует один из славных Фонвизиных, много знавший о смелых попытках своего дяди, действовавшего когда-то вместе с дядей «первого заговорщика» Н. П. Панина.

Поскольку другие сведения, собранные М. А. Фонвизиным, в основном верны и даже передают содержание некоторых недошедших к нам документов (см. в предшествующей главе о плане государственного управления и других подробностях «истребленной» конституции Д. И. Фонвизина — Н. И. Панина), можно со вниманием отнестись и к известию о панинских «законно-свободных постановлениях 1800—1801 гг.». Но даже не настаивая на буквальной точности фонвизинской записи, сделанной через несколько десятилетий в Сибири, важно констатировать, что такой взгляд был и, конечно, популяризировался видным декабристом в своей среде.

Другой декабрист, Михаил Орлов, родственник Н. П. Панина (который был женат на его двоюродной сестре С. В. Орловой), почитал в отставленном деятеле не только «кузена». Сохранились чрезвычайно теплые, почтительные письма к Н. П. Панину от Михаила Орлова и его брата Алексея, в то время (1815 г.) еще во многом действовавших заодно (поз-

<sup>33</sup> «Общественные движения в России», т. I. СПб., 1905, стр. 132, 135.

же, в 1844 г., А. Ф. Орлов, как известно, сделался шефом жандармов). «Я знаю, — писал А. Орлов 26 марта 1815 г., — что выразитель мнений всех своих братьев, Михаил, сообщил Вам, как славно для нас Ваше имя и как мы всегда краснеем от стыда при его упоминании»<sup>34</sup>. Понятно, Орловы негодовали на опалу крупного государственного деятеля.

В рамках этой работы невозможно даже перечислить основные факты, иллюстрирующие традицию XVIII в. в декабристском движении: их очень много, и эта тема еще сравнительно мало разработана. Передовые идеи минувшего века доходили к декабристам неравномерно. Выше говорилось о малом знакомстве первых революционеров с Радищевым — их братом по духу. Однако герценовское «Радищев [...] это наши мечты, мечты декабристов» определяет главное направление революционной линии.

Фонвизинское наследство деятеля 14 декабря знали неплохо (отчасти благодаря участию в движении Михаила Фонвизина), и оно занимало свое место в ряду идейных истоков, питавших лучшие умы 1820-х годов. Вообще историческая жизнь конституционных идей, в частности замыслов 1762 г., 1770-х годов, 1800 г., оказалась очень сложной, даже причудливой. После 11 марта новый царь отказывается от немедленного введения конституции, хотя ему предлагалось несколько планов, после чего дело движется по двум каналам — правительственному и неправительственному...

Александр I пытается забрать инициативу в свои руки, и это было политической новостью: Екатерина II и Павел I серьезно конституциями не занимались. Так начался правительственный конституционализм — со времен негласного комитета молодых друзей императора (1801—1807) через проекты конституции М. М. Сперанского (1809 г.) и, наконец, к секретной государственной «уставной грамоте» 1818 г., сочиненной под началом Н. Н. Новосильцова, того самого Новосильцова, который, согласно записи [Жандра?] на обложке «конституции»

<sup>34</sup> ЦГАДА, ф. 1274, оп. 1, № 425, л. 1. Письмо М. Ф. Орлова к Панину там же, № 426 (на фр. яз.).

Державина, в 1801 г. наблюдал за царем, чтобы тот «не подписал которого-либо из проектов». Нет нужды объяснять, что и задержка, тайна в движении этих проектов, и просачивание наружу сведений о них (П. А. Вяземский, принимавший участие в создании «уставной грамоты», Н. И. Тургенев) — все это оказало определенное влияние на формирование декабристских мыслей и планов.

Как известно, Александр I умер, не отказавшись от мысли «когда-нибудь» учредить русскую конституцию и держа наготове и под замком новосильцовский проект до тех дней, пока Россия не «созреет» для новых начал. Этот проект был опубликован через 40 лет в Вольной печати Герцена<sup>35</sup>.

В то время как в великой тайне от всего населения, даже от возможных будущих депутатов, монтировали и хранили в недрах секретных канцелярий макет предполагаемых свобод, — в это самое время совсем в иных тайниках писали о свободе по-декабристски. В то время как один список «Завещания Панина» третье десятилетие покоился в царских бумагах, другой — из семьи декабристов Фонвизинных — выходит наружу<sup>36</sup>.

Так, в архиве известного собирателя старины А. А. Оленина сохранились две совершенно идентичные рукописи, различающиеся только заглавиями: одна — «Мысли покойного Д. И. Фонвизина о необходимой нужде в непрременном законоположении для российской империи»<sup>37</sup>, другая — «О праве государственном Д. И. Фонвизина»<sup>38</sup>.

М. А. Фонвизин был членом тайных обществ,

<sup>35</sup> ИС, II, стр. 191—238 (комментарии и библиография ИС, III, стр. 156—160).

<sup>36</sup> Одновременно в 1820-х и позже были популярны и другие сочинения «друга свободы» Д. И. Фонвизина. Так, в сборнике исторических бумаг XVIII и XIX вв., находившемся в распоряжении декабриста М. А. Бестужева, среди 20 документов, отчасти запретных, — копия фонвизинского «Жизнеописания графа Панина». — ПД, ф. 604 (Бестужевых), № 1.

<sup>37</sup> ПБ, ф. 542 (А. А. Оленина), № 774. Название, понятие, сделано после смерти Фонвизина, может быть, кем-то из потомков.

<sup>38</sup> Там же, № 772.



его брат И. А. Фонвизин — членом Союза благоденствия. Сочинения Д. И. Фонвизина как «источник свободомыслия» назвал в своих показаниях на следствии декабрист В. И. Штейнгель. Текст фонвизинского «Рассуждения...» (иногда под названием «Завещание Панина») знал Пушкин. Рылеев в своем стихотворении «Гражданское мужество», запрещенном цензурой (1823 г.), посвятил несколько строк Н. И. Панину («нашему Панину») <sup>39</sup>.

А. А. Бестужев писал Николаю I из крепости, явно перефразируя цитату из «Рассуждения...»: «Кто мог, тот грабил, кто не смел, тот крал». М. А. Фонвизин вспоминал, что копию с работы его дяди снял Никита Муравьев, который «переделал ее, приспособив содержание этого листа к царствованию Александра». Действительно, в бумагах Ф. П. Литке К. В. Пигарев обнаружил сокращенный, переработанный «к царствованию Александра» вариант фонвизинского «Рассуждения...» с пометой об авторе: «Вьеварум», т. е. прочитанная справа налево фамилия «Муравьев».

Другой список того же сочинения Д. И. Фонвизина — Н. М. Муравьева К. В. Пигарев обнаружил среди бумаг П. А. Вяземского с пометой: «Извлечение из сочинения Фонвизина, писанного, сказывают, по заказу Панина для великого князя, которое ходило по рукам в последние годы царствования Александра и, вероятно, составлено было одним из участников 14 декабря или членом тайного общества» <sup>40</sup>.

«Разошлось несколько экземпляров этого сочинения... — вспоминал позже М. Фонвизин. — Подлинное введение, писанное рукою Д. И. Фонвизина, после как-то досталось И. П. Бекетову и должно храниться в его бумагах».

Как установил В. Г. Базанов, один из списков «муравьевского варианта» был показан декабристом Штейнгелем племяннику Федору Ивановичу Герману

<sup>39</sup> Впервые опубликовано во второй книге герценовской «Полярной звезды». Лондон, 1856, стр. 28.

<sup>40</sup> К. В. Пигарев. Творчество Фонвизина, стр. 148—149. Сравнение первоначального и «муравьевского» вариантов «Рассуждений...» см. в публикации К. В. Пигарева. — ЛН, т. 60, кн. I. М., 1956, стр. 339—361.

(1822 г.)<sup>41</sup>. Возникла интересная полемика декабриста с более умеренным Германом (стоявшим в сущности на позициях раннего декабристского Союза благоденствия). Блестящий слог Германа и очевидное воодушевление, с которым он возражал Д. И. Фонвизину (точнее, Н. М. Муравьеву), делают его «ответное рассуждение» замечательным документом<sup>42</sup>. Герман сохранил и позже охотно показывал имевшийся у него список Фонвизина — Муравьева, а также свой ответ<sup>43</sup>.

Когда Никиту Муравьева, Михаила Фонвизина и других декабристов арестовали и сослали, «Завещание Панина» (т. е. «Рассуждение...» Д. Фонвизина) разыскивалось и изымалось<sup>44</sup>. О конституции запрещалось упоминать, даже если она «царская»<sup>45</sup>. В ту пору Николай I, между прочим, прочитал первый проект Н. И. Панина об учреждении императорского совета, подписанный, но надорванный Екатериной II (1762 г.). На листе бумаги, в который был вложен проект старинного манифеста, рукой царя написано: «Сей манифест найден мною в кабинете покойного императора Александра Павловича. 14 ноября 1826 года, С.-Петербург»<sup>46</sup>. Панин чахнул в

<sup>41</sup> В. Базанов. Федор Герман и муравьевский вариант «Рассуждения...» Д. И. Фонвизина. — «Русская литература», 1964, № 1, стр. 109—123.

<sup>42</sup> Там же, стр. 113—116; ответ датируется маем 1825 г. Впервые письмо Ф. Германа без имени автора было опубликовано в «Записках о времени императора Александра I» Н. В. Сушкова. — «Вестник Европы», 1867, № 6, стр. 193—200.

<sup>43</sup> Об этом как в цит. статье В. Базанова, так и в книге А. Н. Пыпина «Общественное движение в России в царствование Александра I», стр. 484—489. Пыпин не знал автора «Ответа» и, ссылаясь на Сушкова, находил, что «многие подробности письма могут служить параллельно и комментарием к речам Чацкого в «Горе от ума» и что, «несмотря на непоследовательность, взгляды автора во многом очень справедливы и имеют большой исторический интерес». В ЛБ среди бумаг Сушкова находится список «Ответа» Ф. Германа.

<sup>44</sup> ЛН, т. 60, кн. 1, стр. 342.

<sup>45</sup> Известную «конституционную» речь Александра I при открытии польского сейма в 1818 г. Бенкендорф десять лет спустя рекомендовал исключить из учебника новой российской словесности, где она была уже прежде напечатана (ЦГИА, ф. 772, оп. 1, № 68, л. 3).

<sup>46</sup> РИО, т. 7, стр. 217.

смоленской деревне, мятежный род вырождался: как раз в те мартовские дни 1801 г., когда Никита Петрович, полный надежд, возвращался из первой ссылки в Петербург к новому царю Александру, у него родился сын Виктор, который через 25 лет удивил Гёте своей феноменальной ученостью, а еще через 30 лет министр юстиции Виктор Панин вызовет изумление множества лиц, в том числе и близких сотрудников, своей реакционной бездарностью<sup>47</sup>.

Между тем наследство XVIII в. давно ушло к другим владельцам. Жизнь и труды Д. Фонвизина серьезно изучают Вяземский и Пушкин.

На каторге и в ссылке Михаил Фонвизин пишет цитированные уже не раз мемуары. Одним из поводов для этого явилась попавшая в Сибирь новая русская история, написанная (в весьма умеренном официальном духе) двумя французами — Энно и Шеншо (Париж, 1835 г.). В 1840-х годах «государственный преступник, находящийся на поселении», бывший герой 1812 г., генерал, отдавая дань уважения свободомыслию 1760—1820-х годов, конечно, не забыл Дениса Фонвизина и Паниных.

В другом ссылкеном гнезде — селе Урик, близ Иркутска, другие бывшие военные и герои 1812 г., Лунин и Никита Муравьев, составили «Разбор донесения тайной следственной комиссии» — секретную декабристскую историю декабря.

Образованнейший «Вьеварум», некогда изучавший «Рассуждение...» Д. И. Фонвизина для своей конституции, сопровождал лунинский «Разбор» историческими примечаниями, где говорилось и о предшественниках, пытавшихся в XVIII в. ограничить самовластье<sup>48</sup>: «Павел, будучи великим князем, участвовал в намерениях графа Никиты Ивановича Панина, Дениса Ивановича Фонвизина, дяди члена тайного союза, и других, желавших ввести в России умеренные формы правления, подобные шведским. Новый правительственный устав был уже напечатан. Панина удалили.

В 1801 г. граф Никита Петрович Панин, сын по-

<sup>47</sup> Николай I, не возвративший Н. П. Панина, был подчеркнуто милостив к его сыну.

<sup>48</sup> ПЗ, V. Лондон, 1859, стр. 70—71.

бедителя Пугачева, племянник предыдущего, и граф Пален хотели водворить конституцию. Из заговорщиков желавшие только перемены государя были награждены; искавшие прочного устройства — отдалены на век».

Одним из «наследников» Дениса Фонвизина сделался в те годы уже упоминавшийся Федор Герман, племянник Штейнгеля, офицер-вольнодумец, служивший в Оренбурге.

В 1831 г. в Казани на него доносят как на карбонария и при обыске изымают «муравьевский» вариант фонвизинских «Рассуждений...» и ответ Ф. Германа Штейнгелю. При этом казанский губернский прокурор Г. Солнцев в письме министру юстиции Д. В. Дашкову поместил довольно подробный и посвоему яркий разбор с официальной точки зрения прочитанного им (возможно, не впервые?) фонвизинского сочинения: «Сочинение о необходимости неперменного законоположения г. Фонвизина есть одно из самых возмутительных сочинений своего века, когда во Франции пылали революционные факелы и французские вольнодумцы силились возжечь от оных искру и в нашем любезном отечестве. В сем сочинении Фонвизин рассуждает о праве свободы и собственности, об общественном договоре, начертывает посвоему границы прав государям и подданным и их обязанности, монархическое правление именуется тираниею, ставит на вид слабости и злоупотребления любимцев государей, злоупотребление власти самих владык земных и черными красками оттеняет собственное свое отечество в безумном упоении мнимой свободы и заключает необходимость в государстве установить неперменные конституционные законы. Вероятно, сие сочинение часто обращалось в руках и заговорщиков декабря 14-го. Преступник Штейнгель, не без намерения распространяя крамолу, сообщил оное и г. Герману, своему родственнику и как недовольный правительством недовольному»<sup>49</sup>.

По любопытному совпадению именно в это время, в 1831 г., Блудов вынес Николаю I рукопись фонвизинского «Рассуждения...» из кабинета Павла I,

<sup>49</sup> «Русская литература», 1964, № 1, стр. 111.

и царь распорядился накрепко запечатать документ, который на шестом десятилетии своего существования целыл уже в четвертого императора...

В Бронницах, подмосковном городке, в 50 с лишним километрах от столицы, на площади у старого собора сохранилось несколько могильных памятников; на одном из них имя «генерал-майора Михаила Александровича Фонвизина», умершего в имении Марьино Бронницкого уезда 30 апреля 1854 г. Надгробная надпись делалась с вызовом и, конечно, по заказу вдовы декабриста Натальи Дмитриевны: умерший был лишен чинов, звания, дворянства, награда за 1812-й и никак не мог именоваться «генерал-майором», особенно пока еще царствовал Николай I. Однако энергичная владелица Марьино, как видно, сумела добиться своего... Рядом, за тою же оградой, памятник Ивану Александровичу Фонвизину. Брат декабриста и сам декабрист отделался двухмесячным заключением и двадцатилетним полицейским надзором; наконец, третий за церковной оградой — Иван Иванович Пущин, «первый друг, бесценный» Пушкина, дождавшийся амнистии и закончивший дни здесь же, в Марьиноском имении своей жены Натальи Дмитриевны, вдовы старого друга Михаила Фонвизина. Дружеская близость двух декабристов, совместное житье на каторге и по соседству — в западно-сибирской ссылке — все это кое-что объясняет в извилистой судьбе некоторых фонвизинских бумаг.

В 1880-х годах издатель «Русской старины» Михаил Семевский, о котором в этой книге уже не раз упоминалось, получил толстый переплетенный том с золотым тиснением — Записки М. А. Фонвизина (примечания к истории Энно и Шеншо) — писарская рукопись с правкой самого Фонвизина и замечаниями И. Д. Якушкина на полях<sup>50</sup>.

Получив разрешение вернуться в Москву, Михаил Фонвизин не рискнул взять рукопись с собой, ожидая обысков и проверок, но позаботился о ее

---

<sup>50</sup> Ныне рукопись в ПД, ф. 265, оп. 2, № 2948. Характеристику ее см. в кн. Б. Е. Сыроечковского «Из истории движения декабристов». М., 1969, стр. 309.

судьбе. Было приготовлено несколько списков, а первый подарен остававшемуся в Ялutorовске И. И. Пущину.

Пущин, вероятно, тоже не считал свой дом надежнейшим местом хранения и 26 декабря 1854 г. написал на внутренней обложке: «Доброму Петру Васильевичу Зиновьеву вверяется эта рукопись друга моего Михаила Александровича Фонвизина». Зиновьев был сибирским золотопромышленником, приятелем декабристов.

30 лет спустя вместе с Записками Фонвизина М. И. Семевский получил письмо В. П. Зиновьева (сына П. В. Зиновьева), объяснявшее историю рукописи. Семевскому удалось в 1884 г. напечатать фрагменты воспоминаний М. Фонвизина: часть верстки осталась в архиве «Русской старины» с примечанием редактора: «Набрано было для «Русской старины» 1884 г.; набор рассыпан, ибо граф Д. А. Толстой объяснил, что печатать неудобно»<sup>51</sup>. Декабризм, цареубийство 11 марта, «Рассуждение...» Д. Фонвизина оставались острым сюжетом и в 1880-х годах.

Еще сильнее звучали они на четверть века раньше, в период Вольных изданий 1850—1860-х годов. Вскоре после того, как были напечатаны секретные сочинения Радищева, Щербатова, Дашковой, Екатерины II, наступил черед фонвизинских бумаг.

Из Сибири, от возвратившегося Пущина, от других декабристов в ту пору двинулись в путь Записки Михаила Фонвизина, а от немногих счастливых обладателей — редкостные списки «Рассуждения...» Дениса Фонвизина. Их появление в заграничных Вольных изданиях было неизбежно: Записки вышли в Лейпциге двумя изданиями, 1859 г. и 1861 г., а в начале 1861 г. в Лондоне появилась на свет вторая книжка «Исторического сборника Вольной русской типографии». В небольшом томике, целиком посвященном секретной истории, «встретились» разнообразные деятели прошлого: там среди 16 материалов впервые печатались «Государственная уставная грамота» — тайная конституция Александра I, разные

<sup>51</sup> ПД, ф. 265, оп. 2, № 2948; Д. А. Толстой — в то время министр внутренних дел.



воспоминания об убийстве Павла I, а также «О праве государственном» Д. И. Фонвизина...

Герцену, как видно из его предисловия к «Историческому сборнику», было известно, от кого пришли почти все запретные тексты. «Не знаю, — писал он, — можем ли мы, должны ли благодарить особ, приславших нам эти материалы, т. е. имеем ли мы право на это. Во всяком случае они должны принять нашу благодарность как от читателей за большее и большее обличение канцелярской тайны Зимнего дворца» (Г. XIV. 353).

Введение Д. И. Фонвизина в неосуществившуюся российскую конституцию оставалось важным политическим документом не только в конце XVIII в. и в декабристское время, но и для освободительного движения 50—60-х годов XIX в., т. е. служило уже четвертому-пятому поколению.

Одним из источников, откуда Герцен черпал фонвизинские материалы, была, без сомнения, семья И. И. Пущина. «Что это было за удивительное поколение, — писал «Колокол», — из которого вышли Пестели, Якушкины, Фонвизины, Муравьевы, Пущины...» (Г. XIV. 329).

Публикуя в Москве большую статью «Новые материалы для биографии Фонвизина», редактор «Библиографических записок» А. Н. Афанасьев сделал следующее примечание к первому из печатавшихся документов (письму Д. И. Фонвизина — Ф. И. Аргамаковой): «Это и следующее за ним письмо, вместе с другими письмами и путевым журналом Фонвизина, получили мы от Натальи Дмитриевны Пущиной, бывшей прежде в замужестве за М. А. Фонвизиним, родным племянником Дениса Ивановича»<sup>52</sup>.

Афанасьев, очевидно, располагал различными рукописными материалами о Д. И. Фонвизине: когда в 1907 г. впервые публиковалась статья Фонвизина «О подражании русских иностранцам», ее сопровождало примечание (В. И. Семеvского), что текст печатается «по списку рукописного сборника А. Н. Афанасьева, хранящегося в Московском главном архиве

<sup>52</sup> «Библиографические записки», 1859, № 1, стб. 5.

Министерства иностранных дел»<sup>53</sup>. Поездка Афанасьева в Лондон в 1860 г. сопровождалась появлением в «Полярной звезде», «Историческом сборнике» и других герценовских изданиях многих материалов, собранных редакцией и сотрудниками «Библиографических записок». Вероятно, Афанасьев доставил Герцену также документ под названием «О праве государственном...» или «Рассуждение о непременных государственных законах»<sup>54</sup>.

В настоящее время «Рассуждение...» печатается в собраниях сочинений Д. Фонвизина по писарской рукописи, попавшей после 1796 г. в царский архив — манускрипту прокурора Пузыревского.

Но и списки, и фрагменты, и скудные сведения об утраченной конституции, которую открывало «Рассуждение...», — все это не только след того, «что быть могло, но стать не могло...», — это память об ожесточенной столетней битве: переворот 1762 г. и первые замыслы Никиты Ивановича Панина, заговор 1773—1774 гг. и потаенные проекты 1770—1780-х годов; заговор против Павла I Никиты Панина второго и его конституционные мечтания, царевубийство 11 марта, а затем сочинения Дениса Фонвизина в руках Михаила Фонвизина, Никиты Муравьева, Штейнгеля и других; сибирские мемуары М. А. Фонвизина — появление их в Германии, Лондоне, публикация «Рассуждения...» Герценом: 1861 год, через 99 лет после 1762-го. В начале 1850-х годов, еще не зная о XVIII в. многого, что откроется несколько лет спустя, Герцен определял то время как «отрочество цивилизации и русской литературы. Наука процветала еще под сенью трона, а поэты воспевали своих царей, не будучи их рабами [...] Но власть и мысль, императорские указы и гуманное слово, самодержавие и цивилизация не могли больше идти

<sup>53</sup> «Библиотека декабристов», вып. 4. М., 1907, стр. 104.

<sup>54</sup> ТК, гл. 8 и 9. Впрочем, через несколько лет один из деятелей того же круга, П. А. Ефремов, издавая сочинения Д. И. Фонвизина, выразил сомнения по поводу публикации «Исторического сборника» (возможно, навеянные П. А. Вяземским, с которым Ефремов часто консультировался). — Д. И. Фонвизин. Сочинения, письма и избранные переводы. СПб., 1866, стр. 673.

рядом. Их союз даже в XVIII столетии удивителен» (Г. VII. 192). Герцен будто предчувствовал, что «канцелярская тайна, дифирамб побед, риторика подобострастия» скрывают какие-то важные процессы, мысли, документы, судьбы прошлого века, нарушающие чересчур идиллическую картину — «удивительный» союз власти и мысли. Через 10 лет, в разгар Вольного книгопечатания, создатель его заметит: «Всякое правдивое сказание, всякое живое слово, всякое современное свидетельство, относящееся к нашей истории за последние сто лет, чрезвычайно важно. Время это едва теперь начинает быть известным» (Г. XIV. 296).

За век нескончаемых, порою скрытых от большинства населения страны схваток выступило «со стороны свободы» (выражение Герцена) несколько поколений, и все они в конце концов встретились, расположились рядом на страницах Вольных изданий Герцена и Огарева, словно отозвавшись на призыв «Колокола» — «Зову живых», обращенный в «век нынешний и век минувший».

Глава VI  
**ОБРАТНОЕ  
ПРОВИДЕНИЕ**

Далее еще не позволяют нам знать историю. Русское правительство, как обратное провидение, устраивает к лучшему не будущее, но прошедшее.

Герцен  
(предисловие ко второй книжке «Исторического сборника»)



Титульный лист  
«Исторического сборника Вольной  
русской типографии в Лондоне»

Почти половину второго «Исторического сборника» Вольной типографии занимали никогда не публиковавшиеся до-

кументы о павловском царствовании: сумасшедшие приказы императора, воспоминания о его убийстве, а также большая статья о его происхождении. «Статьи о Павле я получил», — писал Герцен 23 февраля 1860 г. в Гейдельберг другу и постоянной корреспондентке Марии Александровне Маркович — известной украинской писательнице, выступавшей под псевдонимом Марко Вовчок.

Мария Александровна не сообщила в Лондон, от кого поступили к ней статьи о Павле, может быть, не желая искушать любопытство немецких почтовых цензоров (интимно дружных с русскими). В конце своего предисловия ко второму сборнику Герцен сожалел, что статья о происхождении Павла и две другие «присланы нам без всякого означения, откуда они взяты и кем писаны. В тех случаях, когда нет особых препятствий, мы очень желали бы знать источники или имя автора — если не для печати, то для нас. Тимашев<sup>1</sup>, как ни ездит в Лондон и каких мошенников III отделения ни посылай, ничего не узнает — за это мы ручаемся» (Г. XIV. 353).

Итак, статья о происхождении Павла получена Герценом через посредство Марко Вовчка в феврале 1860 г. и опубликована через год<sup>2</sup>.

Познакомимся с этим текстом.

Автор-аноним начинает издавека: 1754 г., двор Елизаветы... Впрочем, некоторые подробности явно заимствованы из Записок Екатерины II, а Записки эти только в 1858—1859 гг. были опубликованы в той же Вольной типографии Герцена (прежде о них знало лишь несколько избранных). Из этого следует, что статья скорее всего написана незадолго до получения ее в Лондоне (может быть, специально для Герцена и составлялась?).

«Екатерине понравился прекрасный собою, молодой Сергей Салтыков, от которого она и родила мертвого ребенка<sup>3</sup>, замененного в тот же день родив-

<sup>1</sup> Управляющий III отделением в 1856—1861 гг.

<sup>2</sup> ИС, II, стр. 249—264 (далее в этой главе ссылки на ИС даны в тексте).

<sup>3</sup> Любопытную подробность о Екатерине и Салтыкове сообщал многознающий П. В. Долгоруков: «Павел, узнав однажды, что [Сергей Васильевич] Салтыков [...], тогда еще

шимся в деревне Котлах, недалеко от Ораниенбаума, чухонским ребенком, названным Павлом, за что все семейство этого ребенка, сам пастор с семейством и несколько крестьян, всего около 20 душ, из этой деревни на другой же день сосланы были в Камчатку. Ради тайны деревня Котлы была снесена, и вскоре соха запахла и самое жильё! В наше время этого делать почти невозможно; но не надо забывать, что это было во время слова и дела<sup>4</sup> и ужасной пытки; а между тем сосед этой деревни Котлы, Карл Тизенгаузен, тогда еще бывший юношей, передал об этом происшествии сыну своему, сосланному в Сибирь по 14 декабря, Василию Карловичу Тизенгаузену» (Ис. II. 253—254).

Легенда перед нами или была — рано судить, но названы важные свидетели: отец и сын Тизенгаузены. 45-летний полковник Василий Карлович Тизенгаузен, член Южного общества декабристов, был осужден в 1826 г., около 30 лет пробыл в Сибири и умер в 1857 г., вскоре после амнистии.

Рассказ продолжается. Автор, ссылаясь на Записки Екатерины II, напоминает, как после рождения сына великую княгиню на несколько часов оставили без всякого ухода, даже пить не давали. Он видит в этом еще доказательство, что «Екатерине не удалось родить живого мальчика от Салтыкова и, как видно, что должны были подменить из чухонской деревни Котлов, за что пустая и злая императрица Елизавета, открывшая свою досаду, обнаружила ее тем, что после родов Екатерина, оставленная без всякого призора, могла бы умереть, если б не крепкий организм Екатерины, все вынесший, как мы ви-

---

молодой человек, публично рассказывает, будто государь — сын его двоюродного деда, призвал к себе флигель-адъютанта князя Николая Волконского, впоследствии бывшего князем Репниным, и сказал ему: «Вот что болтает Сергей Салтыков, возьми с собою четырех солдат и пук розог; поезжай к нему, скажи, что его бы следовало сослать в Сибирь, но я поступаю с ним по-родственному, по-отечески; высеки его как можно больше и приезжай доложить мне». — Так оно было и исполнено». — «Листок» № 17, 28 января 1864 г., стр. 136.

<sup>4</sup> «Слово и дело» — такова была формула, по которой до XVIII в. объявляли властям о важной государственной тайне или преступлении.



дели из самого описания ее. Итак, не только Павел произошел не от Голштинской династии<sup>5</sup>, но даже и не от Салтыкова. К Екатерине только через 40 дней, когда ей должно было брать очистительную молитву, пришла Елизавета и застала ее истощенную, истомленную и слабую. Елизавета даже позволила ей сидеть на кровати. С 20 сентября Екатерине позволено было видеть своего сына в третий раз. Это может служить доказательством, что прочим было не позволено совсем видеть. Надобно было прятать его как чухонца» (ИС. II. 255—256).

Далее повествование переносится за несколько тысяч верст и 70 лет — в Сибирь последних лет Александра I.

«Из семейства, из которого взяли будущего наследника русского престола, в северо-восточной Сибири впоследствии явился брат Павла I, по имени Афанасий Петрович, в 1823 или 1824 годах, в народе прозванный Павлом, по разительному с ним сходству. Он вел под старость бродяжническую жизнь, и в городе Красноярске один мещанин Старцов был очень с ним дружен, и Афанасий Петрович крестил у него детей» (ИС. II. 256).

Старцов послал письмо, извещавшее Александра I, что в Сибири находится родной дядя царя; велено было начать розыск. Тобольский генерал-губернатор Капцевич «вытребовал из Тобольска расторопного полицмейстера Александра Гавриловича Алексеевского, который берет с собою квартального из казаков г. Посежерского и еще двух простых казаков и отправляется отыскивать по Восточной Сибири, в которой народ не очень охотно пособляет отыскивать кого-либо скоро, а особливо политических несчастных».

После долгих мытарств Алексеевский находит мещанина Старцова, а потом и самого Афанасия Петровича<sup>6</sup>. Полицмейстер, «опамятавшись от радости,

<sup>5</sup> Петр III был привезен в Россию из Голштинии. С тех пор Романовых иронически называли «голштинцами», подразумевая постоянное онемечивание российской династии.

<sup>6</sup> В «Историческом сборнике» сообщается колоритная подробность: для того, чтобы найти «преступника», полицмейстер ехал по сибирскому тракту и сверял почерки: грамотных

тотчас обращается к Афанасию Петровичу и спрашивает его утвердительно, что точно ли его зовут Афанасием Петровичем. Впрочем, по разительному сходству с императором Павлом I не позволил себе полицмейстер и минуты сомневаться. — Точно, батюшка, меня зовут Афанасием Петровичем, и вот мой хороший приятель мещанин Старцов. — Ну, так я вас арестую и повезу в Петербург. — Что нужды, батюшка, вези к ним. Я им дядя, только к Косте, а не к Саше<sup>7</sup>. — Полицмейстер Алексеевский в ту же минуту понесся в Петербург. Выезжая из Томска, полицмейстер Алексеевский встретил фельдъегеря Сигизмунда, ехавшего из Петербурга по высочайшему повелению узнать об успехе разыскивания. Через несколько лет потом, когда Алексеевский рассказывал о Старцове и об Афанасии Петровиче одному из декабристов, фон Бриггену, нечаянно вошел к нему сам фельдъегерь Сигизмунд, привезший в Тобольск какого-то поляка и подтвердивший все рассказываемое Алексеевским, и, между прочим, оба разом вспомнили, что они в Петербург неслись, как птицы» (Ис. II. 259—260).

От обычных легенд, смешанных с правдой, которая «хуже всякой лжи», рассказ о происхождении Павла отличается постоянными ссылками автора на свидетельства реально существовавших людей. Полковник Александр Федорович фон дер Бригген, как и Тизенгаузен, был осужден в 1826 г. и тридцать лет провел в Сибири. Фельдъегерь Сигизмунд — известный исполнитель особых поручений: в декабре 1825 г. его посылали за одним из главных декабристов — Никитой Муравьевым.

Но история еще не окончена:

«...Полицмейстер Алексеевский прискакал в Петербург к графу Алексею Андреевичу Аракчееву, который с важной претензией на звание государственного человека, с гнусливым выговором проговорил входящему полицмейстеру Алексеевскому: «Спасибо, братец, спасибо, и тотчас же поезжай в Ямскую, там

---

было так мало, что виновный быстро обнаружился. Однако в действительности все было не совсем так (см. ниже).

<sup>7</sup> Саша — царь Александр I, Костя — его брат, великий князь Константин Павлович.

тебе назначена квартира, из которой не смей отлучаться от моего востребования, и чтоб тебя никто не видел и не слышал — смотри, ни гу-гу».

Полторы сутки прождал Аракчеева Алексеевский, как вдруг прискакивает за ним фельдъегерь. Аракчеев вынес ему Анну на шею, объявил следующий чин и от императрицы Марии Федоровны передал 5 тыс. руб. ассигнациями. «Сей час выезжай из Петербурга в Тобольск. Повторяю, смотри, ни гу-гу».

Мещанин Старцов и Афанасий Петрович, как водится, были посажены в Петропавловскую крепость. «Помнят многие, и особенно член Государственного совета действительный тайный советник Дмитрий Сергеевич Ланской, рассказывавший своему племяннику декабристу князю Александру Ивановичу Одоевскому, что по ночам к императору Александру в это время из крепости привозили какого-то старика и потом опять отвозили в крепость».

Мещанин Старцов, просидевший семь месяцев в Петропавловской крепости, возвращался через Тобольск в свой город Красноярск худой, бледный, изнеможенный. Он виделся в Тобольске с полицмейстером Александром Гавриловичем Алексеевским, но ничего не говорил, что с ним было в крепости, в которой, конечно, в назидание и в предостережение на будущий раз не писать подобных писем к августейшим особам навели на него такой страх, от которого он опомниться не мог, не смея раскрыть рта, а Алексеевскому, как он сам признавался, очень хотелось знать все подробности его пребывания в крепости.

Состарившийся придворный Свистунов знал о рождении Павла I, и за это Павлом был ласкаем и одарен большим имением, но за какую-то свою нескромность об этом, пересказанную Павлу, приказано Свистунову Павлом жить в своих деревнях и не сметь оттуда выезжать» (Ис. II. 260—262).

В приведенных отрывках названы еще два важных свидетеля. Дядя декабриста и поэта Александра Одоевского действительно был очень важной и осведомленной персоной<sup>8</sup>. «Состарившийся придвор-

<sup>8</sup> Между прочим, в доме Ланского Александр Одоевский появился после 14 декабря, но дядя сам свел его в кре-

ный Свистунов» — это камергер Николай Петрович, отец декабриста Петра Николаевича Свистунова.

Таким образом, возможность описываемых в статье событий подкрепляется рассказами четырех декабристов (ссылающихся на трех своих старших родственников), а также двух царевых слуг — тобольского полицмейстера и петербургского фельдъегеря.

В Чите и Петровском заводе, где приговоренные к каторге декабристы были вместе, по вечерам шел обмен воспоминаниями и необыкновенными анекдотами прошлых царствований. Сказанное одним тут же могло быть подхвачено, дополнено или оспорено другими декабристами...

Статья заканчивается следующими строками:

«Этим открытием рождения Павла от чухонца также еще объясняется глубокая меланхолия, в которую впал в последние два года своей жизни покойный император Александр. Можно себе представить, как тягостно должно было быть для него то чувство, что он разыгрывает роль обманщика перед целой Россией, а к тому же опасение, что это очень легко может открыться, потому что ничего нет тайного, что бы не сделалось явным...

В 1846 г. кто-то, слушая историю Афанасия Петровича, назвал императора Николая Карлом Ивановичем. Да к тому же в этот год в Гатчине сам Николай играл на театре роль булочника Карла Ивановича. И вот «Карл Иванович, Карл Иванович» — разнеслось по России. Даже распустили слух, что бабка Николая живет в Петербурге в Галерной улице. Николай бесился и велел отыскать назвавшего его Карлом Ивановичем. Николай хорошо знал, на что намекали» (ИС. II. 263—264).

Это «кто-то, слушая историю Афанасия Петровича в 1846 г.» — еще одно подтверждение, что статья написана не раньше 50-х годов, незадолго до ее опубликования, и если писал декабрист, то переживший сибирские десятилетия...

---

пость. Ланской был членом Верховного уголовного суда над декабристами, однако по поводу собственного племянника «за свойством не нашел в себе возможности дать мнение». Позже часто посылал Одоевскому письма и посылки в Сибирь, ходатайствовал о смягчении его участи.

Вот и вся история, рассказанная в одном из Вольных изданий Герцена и Огарева. Поскольку же такие истории, несомненно, задевали престиж власти, противники правительства — декабристы, Герцен — старались все это рассекретить.

Если б даже весь рассказ был чистой выдумкой, он все равно представлял бы образец народного мнения, типичных толков и слухов. Герцен писал о статьях «Исторического сборника»: «Имеют ли некоторые из них полное историческое оправдание или нет, например, статья о финском происхождении Павла I, не до такой степени важно, как то, что такой слух был, что ему не только верили, но вследствие его был поиск, обличивший сомнение самых лиц царской фамилии» (Г. XIV. 349).

После публикации Герцена долго не появлялось каких-либо материалов, объясняющих эту историю. Разумеется, напечатать что-либо в России было невозможно (как-никак тень падала на всю царствующую династию<sup>9</sup>, документы о таких вещах либо уничтожались, либо хранились на дне секретных сундуков).

Однако еще одно свидетельство промелькнуло: сначала за границей (в 1869 г.), а затем в России (в 1900 г.) были опубликованы воспоминания декабриста Андрея Розена. Описывая, как его везли в Сибирь, Розен, между прочим, сообщает:

«От города Тюмени ямщики и мужики спрашивали нас: «Не встретили ли мы, не видели ли мы Афанасия Петровича?» Рассказывали, что с почти-тельностью повезли его в Петербург [...], что он в То-

<sup>9</sup> Известный историк Я. Л. Барсков после революции рассказывал, «как Александр III однажды, заперев дверь и оглядев комнату — не подслушивает ли кто, попросил сообщить всю правду: чей сын был Павел I?»

— Не могу скрыть, ваше величество, — ответил Барсков. — Не исключено, что от чухонских крестьян, но скорее всего прапрадедом вашего величества был граф Салтыков.

— Слава тебе, господи, — воскликнул Александр III, перекрестившись, — значит, во мне есть хоть немного русской крови» (сообщено автору этой книги профессором С. А. Рейсером. В завуалированной форме этот рассказ содержится также в бумагах Я. Л. Барскова в ЛБ).

больске, остановившись для отдыха в частном доме, заметил генерал-губернатора Капцевича, стоявшего в другой комнате у полуоткрытых дверей, в сюртуке, без эполет (чтобы посмотреть на Афанасия Петровича), спросил Капцевича: «Что, Капцевич, гатчинский любимец, узнаешь меня?» Что он был очень стар, но свеж лицом и хорошо одет, что народ различно толкует: одни говорят, что он боярин, сосланный императором Павлом; другие уверяют, что он родной его»<sup>10</sup>.

Рассказ Розена — уже пятое свидетельство декабриста, относящееся к этой истории. Оказывается, о старике знали чуть ли не по всей Сибири.

Затем пришел 1917-й год, праправнука Павла I свергли и расстреляли, из архивных тюрем вышли на волю документы о тайной истории Романовых. В 1925 г. Пушкинский дом приобрел громадный архив Павла Васильевича Анненкова, известного писателя, историка и мемуариста XIX столетия, близкого друга Герцена, Огарева, Тургенева, Белинского. Разбирая анненковские бумаги, Б. Л. Модзалевский обнаружил рукопись (почерком Федора Анненкова, брата Павла Васильевича) под названием «Происхождение Павла I. Записка одного из декабристов, фон Бриггена, о Павле I. Составлена в Сибири» (вскоре документ был напечатан в журнале «Былое») <sup>11</sup>.

Это была та самая статья, которая 64 годами ранее появилась в «Историческом сборнике» Герцена и Огарева<sup>12</sup>. Однако в списке Анненкова было несколько мест, неизвестных по лондонской публикации, — значит, он возник независимо от Вольной печати, не был скопирован оттуда (Герцен не знал автора статьи, даже жаловался на это, а тут ясно обозначено: «декабрист фон Бригген»).

Корреспондент, пославший текст Герцену, вероятно, нарочно скрыл имя автора, да еще в ходе самого рассказа упомянул о Бриггене в третьем лице. Хотя в заглавии рукописи значится, будто она «со-

<sup>10</sup> А. Розен. В ссылку. М., 1900, стр. 109—110.

<sup>11</sup> «Былое», 1925, № 6.

<sup>12</sup> К сожалению, печатая этот документ, Б. Л. Модзалевский упустил из виду герценовскую публикацию.



ставлена в Сибири», но, как уже говорилось, судя по содержанию, декабрист завершил ее примерно в 1858—1859 гг., т. е. после амнистии. Может быть, Записка действительно составлена в Сибири, но дописывалась в столице?

Александр Бригген за 33 года жизни на свободе видел и слышал многое: крестил его Державин, обучали лучшие столичные профессора, Бородино наградило его контузией и золотой шпагой за храбрость, Кульмская битва — ранением и крестом; серьезное образование позволило в Сибири переводить античных авторов и заниматься педагогикой. Он пережил ссылку, возвратился в Петербург, где и скончался в июне 1859 г.

Послать свои «Записки» Герцену декабрист мог без труда. В столице у него было достаточно родственников и знакомых, которые были в состоянии ему в этом деле помочь. Назовем только двоих.

Николай Васильевич Гербель — известный поэт и переводчик, систематически пересылавший за границу русскую потаенную поэзию и прозу, был близким родственником Бриггена. Родной брат Гербеля был женат на дочери Бриггена; в их семье декабрист и жил после амнистии.

Анненков также мог переслать что угодно Герцену и Огареву, с которыми был в дружбе и на «ты» (может быть, не случайно в его бумагах остался список статьи о Павле I). Кстати, и Анненков и Гербель были хорошо знакомы с Марией Александровной Маркович и сумели бы воспользоваться ее посредничеством для передачи записок Бриггена в Лондон.

Б. Л. Модзалевский, публикуя найденную рукопись, попытался установить ее достоверность. В месяцесловах 1820—1830-х годов он нашел двух героев статьи: титулярный советник Александр Гаврилович Алексеев (у Бриггена ошибочно — Алексеевский) в 1822—1823 гг. был вторым тобольским частным приставом, а с 1827 по 1835 г. — тобольским полицмейстером. В эти годы Бригген и другие декабристы, не раз останавливавшиеся в Тобольске, могли часто с ним видаться и беседовать. Судя по тем же месяцесловам, фамилию тобольского квартального (помо-

гавшего разыскивать бродягу Афанасия Петровича и мещанина Старцова) декабрист тоже несколько искажил: нужно не Посежерский, а Почижерцов.

Модзалевский установил и другое, более интересное обстоятельство: полицмейстер Алексеев 25 декабря 1822 г. получил орден Анны III степени (т. е. «Анну в петлицу», а не «на шею», как сказано в статье Бриггена). «Получение такого ордена простым полицмейстером в небольшом чине, — пишет Б. Л. Модзалевский, — в те времена было фактом весьма необычным, и награда должна была быть вызвана каким-либо особенным служебным отличием (этот орден давал тогда потомственное дворянство)»<sup>13</sup>.

Квартальный надзиратель Максим Петрович Почижерцов тогда же получил чин коллежского регистратора, и хоть это была самая низшая ступенька в Табели о рангах, но для квартального — награда за особые заслуги. Отныне ни один высший начальник не имел права преподносить тому квартальному законные зуботычины.

Итак, в 1822—1823 гг., когда, судя по рассказу Бриггена, искали и везли в столицу самозванца Афанасия Петровича и объявителя о нем, Старцова, именно в то время два участвовавших в этом деле полицейских чина получают необычно большие награды...

Публикация Молзалевского в «Былом» вызвала много откликов<sup>14</sup>. В газетах появились статьи под заголовками «Записки декабриста Бриггена. Новые материалы о происхождении Павла I» («Правда», 1 ноября 1925 г.), «Чьим же сыном был Павел I?» («Луганская правда», 4 ноября 1925 г.) и др.

Возникал вопрос, если подтверждаются некоторые обстоятельства, сообщенные Бриггеном, то не подтвердятся ли и другие? А если не подтвердятся, то что же было на самом деле?

Годы шли, а загадка, предложенная несколькими декабристами и Герценом, все оставалась нерешенной.

<sup>13</sup> «Былое», 1925, № 6, стр. 9—12.

<sup>14</sup> Об этом сообщила автору книги И. А. Желвакова.

Осенью 1968 г. я ознакомился в Иркутском архиве с делом «О красноярском мещанине Старцове и поселенце Петрове. Начато 25 декабря 1822 г., решено 3 сентября 1825 г.»<sup>15</sup>.

С первых же страниц начали подтверждаться, хотя и с некоторыми отклонениями, основные факты второй («сибирской») части рассказа Бриггена.

19 июля 1822 г. красноярский мещанин Иван Васильевич Старцов действительно отправил Александру I следующее весьма любопытное послание:

«Всемиловитвейший государь Александр Павлович!

По долгу присяги моей, данной пред богом, не мог я, подданнейший, умолчать, чтобы Вашему императорскому величеству о нижеследующем оставить без донесения.

Все верноподданные Вашего величества о смерти родителя вашего и государя извещены, и по сему не полагательно, что под образом смерти, где бы ему страдать, но как я, подданнейший, известился, что в здешнем Сибирском краю и от здешнего города Красноярска в шестидесяти верстах в уездных крестьянских селениях Сухобузимской волости страждущая в несчастии особа, именем пропитанного [живущего случайными заработками и подаяниями], Афанасья Петрова, сына Петрова, который ни в каких работах, ремеслах и послугах не обращается, квартиры же он настоящей не имеет и в одном селении не проживает, и переходит из одного в другое, и квартирует в оных у разных людей понедолгу, о котором страдальце известно мне, что он на теле своем имеет на крыльцах между лопатками возложенный крест, который никто из подданных ваших иметь не может, кроме Высочайшей власти; а потому упова-

---

<sup>15</sup> Государственный архив Иркутской области, ф. 24 (Главного управления Восточной Сибири), д. 4, к. I. Дело это было частично опубликовано известным сибирским историком Борисом Георгиевичем Кубаловым в его статье «Сибирь и самозванцы. Из истории народных волнений в XIX в.» («Сибирские огни», 1924, кн. 3, стр. 166—168). Из-за недоступности в то время «Исторических сборников» Герцена Кубалов не смог догадаться о связи найденного им документа с публикацией Вольной русской типографии.

тельно и на груди таковой иметь должен, то по такому имени возложенного на теле его креста быть должен не простолюдин и не из дворян, и едва ли не родитель Вашего императорского величества, под образом смерти лишенный высочайшего звания и подвергнут от ненавистных особ на сию страдальческую участь, коей страдалец, известно, всегда ожидает в отечество свое обращение [...]

Если же по описанным обстоятельствам такового страдальца признаете Вы родителем своим, то не предайте к забвению, возьмите свои обо всем высочайшие меры, ограничьте его беспокойную и беднейшую жизнь и обратите в свою отечественную страну и присоедините к своему высочайшему семейству для же обращения его, не слагайтесь на здешних чиновников, возложите в секрете на вернейшую вам особу, нарочно для сего определенную с высочайшим вашим повелением, меня же, подданнейшего, за такое дерзновение не предайте высочайшему гневу вашему, что все сие осмелился предать Вашему императорскому величеству в благорассмотрение.

Вашего императорского величества всеподданнейший раб Томской губернии города Красноярска мещанин Иван Васильевич Старцов».

Письмо достигло столицы через два месяца — 19 сентября 1822 г.

В нем много примечательного: и стиль, и чисто народная вера в царские знаки на груди и спине (Пугачев подобными знаками убеждал крестьян и казаков, что он и есть государь Петр Федорович!), «земские начальства» в Сибири так страшны, что Старцов не только сам их опасается, но и за царя не спокоен («не слагайтесь на здешних чиновников», «возложите в секрете») <sup>16</sup>.

В Петербурге к письму отнеслись со вниманием.

Управляющий министерством внутренних дел граф Кочубей вскоре переслал копию с письма сибирскому начальству, заметив, что «по слогу одного и всем несообразностям, в нем заключающимся, хотя

<sup>16</sup> Когда Сперанский был назначен генерал-губернатором Сибири и велел арестовать одного зверя-исправника, крестьяне жалели губернатора: «Не связывайся с ним, батюшка, загубит он тебя».

скорее можно бы отнести его произведению, здравого рассудка чуждому, но тем не менее признано было нужным обратить на бумагу сию и на лица, оною ознаменованные, внимание, тем более что подобные толки иногда могут иметь вредное влияние и никогда терпимы быть не должны».

«Лиц ознаменованных» Кочубей велел немедленно доставить в столицу, для чего посылал фельдъегеря.

Последующие события изложены красноярским городничим Галкиным в рапорте от 12 ноября 1822 г. «его высокопревосходительству господину тайному советнику, иркутскому и енисейскому генерал-губернатору и разных орденов кавалеру Александру Степановичу» [Лавинскому].

В рапорте городничего, между прочим, сообщалось:

«9-го сего ноября прибыл сюда по подорожной из Омска г. титулярный советник Алексеев с двумя при нем будущими и казачьими урядниками и того же числа отправился в округу, откуда возвратился 11-го, привезя с собою отысканного там неизвестно из какого звания, проживающего по разным селениям здешней округи и не имеющего нигде постоянного жительства более 20-ти годов поселенца Афанасия Петровича, с которым, присовокупя к тому здешнего мещанина Ивана Васильевича Старцова, отбыл 12-го числа ... к городу Томску».

Знаменитый оборот «полицмейстер с будущим» хорошо известен. Объясняя название своей работы— «Письма к будущему другу», Герцен писал: «Если можно путешествовать по подорожной с *будущим*, отчего же с ним нельзя переписываться. Автор сам был *будущим* в одном давно прошедшем путешествии, а настоящим был Васильев, рядовой жандармского дивизиона»<sup>17</sup> (Г. XVIII. 64).

Рапорт городничего завершался диковинным канцелярски-виртуозным оборотом:

«При увозе же мещанина Старцова г. Алексеев предъявлял мне данное ему за подписанием его вы-

<sup>17</sup> В 1835 г. осужденного Герцена везли в пермскую и вятскую ссылку.

сокопревосходительства господина тобольского и томского генерал-губернатора и кавалера Петра Михайловича [Капцевича] от 2-го ноября же открытое о оказывании по требованиям его, г-на Алексеева, в препорученном ему деле, принадлежащем тайне, пособиев и выполнения, — предписание».

В ту пору вся Сибирь делилась между двумя генерал-губернаторами: западная принадлежала тобольскому, а все, что было к востоку от Енисея, т. е. территория больше всей Европы, управлялось из Иркутска. Красноярск незадолго перед тем также подчинили Иркутску, и, стало быть, при аресте Петрова и Старцова была нарушена субординация: их забрали и увезли без ведома иркутского хозяина. Тобольский «гатчинец» Капцевич оправдывался перед Лавинским, что-де некогда было скакать две недели до Иркутска и две недели обратно, потому что дело слишком серьезное.

Меж тем в Иркутске узнали, что Афанасия Петровича за несколько лет до того уже забирал сухобузимский комиссар надворный советник Ляхов. Ляхова спросили, и он доложил: «Некогда до сведения моего и господина бывшего исправника Галкина дошло, будто бы сей поселенец представляет себя важным лицом, по поводу сего и был сыскан в комиссарстве и словесно расспрашиван, и он учинил от того отрекательство, никакого о себе разглашения не делал, да и жители, в которых селениях он обращался, ничего удостоверительного к тому не предъявили, кроме того, (что) в разговорах с простолюдинами и в особенности с женским полом рассказывал о покойном Его величестве императоре Павле Первом, что он довольно, до поселения его в Сибирь, видел и что весьма на него похож, и потому, не находя в том ни малейшей справедливости, без всякого донесения вышнему начальству, препровожден в свое селение со строжайшим подтверждением, чтобы он никак и ни под каким предлогом противного произносить не отваживался».

Канцелярское искусство комиссара не может затушевать зловещего местного колорита: Ляхов и его исправники — это те самые люди, которыми Старцов пугал Петербург. В 60 верстах от Красноярска они



«самодержавно владеют» затерянными в лесах и снегах жителями, а тут вдруг — подозрительный, горделивый старик, утверждающий, что видел покойного императора и на него похож...

Позже, в Петербурге, Афанасий Петров показал, что «Ляхов, отыскав его через казаков, велел привести в волость и тут посадил на цепь и колодку, потом начал спрашивать: «Как ты смел называться Павлом Петровичем?» Петров отвечал: «Я не Павел Петрович, а Афанасий Петрович» — и просил, чтобы комиссар выставил ему тех людей, по словам коих назывался он Павлом Петровичем. Комиссар сих людей не выставил, и как другие стали за него, Петрова, просить комиссара, то он, продержав его шестеры сутки, освободил без всякого наказания». Афанасий Петров был уверен, что Ляхов держал его в колодке «только днем, а на ночь ее специально снимали, «как видно, для того, чтобы ему дать способ бежать и после того побега сей обратит ему в вину». За Петрова просил у комиссара «выборный той волости Никита Кононов. Но комиссар просьбы сей не уважил, а только ударил выборного два раза по лицу». Только заступничество красноярского городничего И. И. Галкина вернуло старику свободу<sup>18</sup>.

Немного нужно, чтобы сначала по волости, а потом по всей Сибири распространиться слуху: человек, схожий с Павлом Петровичем, забран и отпущен после того, как комиссару отвечал мужественно и многозначительно: «Я не Павел Петрович, а Афанасий Петрович», очевидно намекая, что хорошо «рифмуется» с именем-отчеством покойного императора, точно как если был бы «императорским братцем»... Возможно, и насчет «Саши» и «Кости» тоже намеки были?..

Об арестантах, отправившихся в столь редкий для России путь — с востока на запад, два месяца не было ни слуху ни духу. И вдруг в Иркутск прибывает новая бумага от тобольского генерал-губернатора:

«Отправленные в Санкт-Петербург Старцов и

---

<sup>18</sup> ЦГИА, ф. 1163 (секретного комитета 1807 г.), т. XVI, № 2, л. 25.

Петров ныне от господина управляющего министерством внутренних дел доставлены в Тобольск с предписанием возвратить как того, так и другого на места прежнего их жительства, и Старцова оставить совершенно свободным, не вменяя ему ни в какое предсуждение того, что он в Санкт-Петербург был требован, а за Петровым, как за человеком, склонным к рассказам, за которые он и прежде был уже содержим под караулом, иметь полицейский надзор, не стесняя, впрочем, свободы его.

Но буде бы он действительно покусился на какие-либо разглашения, в таком случае отнять у него все способы к тому лишением свободы, возлагая непременно и немедленное исполнение того на местное начальство».

8 февраля 1823 г. после месячной зимней дороги Петрова и Старцова привезли.

Почти в то самое время, как Старцова и Петрова доставили на место и они еще переводили дух да отогревались, — в то самое время, 10 февраля 1823 г., из министерства внутренних дел за № 16 и личной подписью Кочубея понеслось в Иркутск новое секретное письмо — опять об Афанасии Петрове: «Ныне, во исполнение последовавшей по сему делу высочайшей государя императора воли, прошу Вас, милостивый государь мой, приказав отыскать означенного Петрова на прежнем его жилище, для прекращения всех о нем слухов в Сибири, препроводить его при своем отношении, за присмотром благонадежного чиновника, к московскому г. военному генерал-губернатору для возвращения его, Петрова, на место родины. Но дабы не изнурить его пересылкою в теперешнее холодное время, то отправить его по миновании морозов и, когда сие исполнено будет, меня уведомить».

Дело, начатое комиссаром Ляховым, теперь расширяли министр и сам царь: для распространения «нежелательного слуха», кажется, уже нельзя было сделать ничего большего!

Воображение сибиряков было и без того взволновано необычным отъездом и быстрым возвращением старика из столицы. Между тем его снова забирают в Европу, откуда он только что вернулся, —

факт в тогдашней Сибири небывалый!.. (Прогон от столицы до Омска, между прочим, составлял 1261 руб. 46 коп. в один конец!)

«Во исполнение высочайшей воли...» — значит, сам царь интересуется бродягой, беспокоится, чтобы его не изнурила холодная дорога.

Даже важные сибирские чиновники были, конечно, озадачены, тем более что верховная власть не считала нужным подробно с ними объясняться.

Высочайшее повеление привело в движение громоздкий механизм сибирского управления. В канцелярии Лавинского приготовили бумагу на имя московского генерал-губернатора князя Голицына (причем целые абзацы из министерского предписания эхом повторены в новых документах: так, к фамилии Петрова теперь уже приклеился стойкий эпитет «склонный к рассказам»). Затем Лавинский призвал пристава городской полиции Миллера, велел дать ему прогонных денег на три лошади от Иркутска до Москвы, и Миллер отправился в Красноярск. 7 апреля, посадив Афанасия Петрова в свою тройку, он понесся в Москву, а Лавинский почтительно доложил об исполнении в Санкт-Петербург.

Дорога продолжалась 27 дней; 3 мая Миллер сдал «склонного к рассказам» мужичка, а князь Голицын выдал в том расписку, которая и была доставлена в Иркутск еще через месяц и четыре дня. Казалось бы, дело исчерпано. Но 20 октября 1823 г. из Петербурга вдруг запросили: почему не доложено об отправке Петрова в Москву? Лавинский отвечал новому министру внутренних дел князю Лопухину, что бродяга Петров давно отправлен и что о том давно доложено.

И еще полтора года спустя в Иркутск явилась важная и секретная бумага по этому делу:

«Милостивый государь мой Александр Степанович!

Красноярский мещанин Иван Васильев Старцов и прежде делал и ныне продолжает писать нелепые доносы. Посему его величество повелеть соизволил, дабы Ваше превосходительство обратили на него, Старцова, строгий присмотр, чтобы он не мог более как бумаг писать, так и разглашений делать, нелепостями наполненных.

Сообщая Вам, милостивый государь мой, сию Высочайшую волю для надлежащего исполнения, имею честь быть с совершенным почтением Вашего превосходительства покорным слугой граф Аракчеев.

В селе Грузине, 24 июня 1825 года».

Ниже приписка рукой самого графа (видно, сделанная, когда письмо подносили на подпись): «Нужное в собственные руки».

Из петербургских материалов видно, что второе обращение Старцова «с означенным доносом» было адресовано уже не Александру I, а великому князю Константину Павловичу; очевидно, упрямый красноярский мещанин, разочаровавшись в старшем сыне Павла I, стремился обратить внимание на судьбу «императора» Афанасия Петровича, апеллируя ко второму сыну Павла Петровича<sup>19</sup> (вспомним: к «Косте, а не к Саше»).

Тотчас же как «нужное» письмо попало «в собственные руки», из Иркутска в Красноярск понесся приказ, где, разумеется, воспроизводилось аракеевское «чтобы он не мог более как бумаг писать, так и разглашений делать». Отныне Старцову вообще запрещалось отправлять какие бы то ни было письма без разрешения губернатора, если же не перестанет, «будет непременно наказан».

Быстро сочинен и ответ Аракчееву, полученный в селе Грузине к началу октября 1825 г. Через несколько недель не стало Александра I, закончилась карьера «губернаторов мучителя», а Лавинский уж начал готовиться к приему в Сибири «людей 14 декабря», которые впоследствии услышат и запишут таинственную историю Афанасия Петровича.

О чем писал второй раз красноярский мещанин — неизвестно; наверное, все о том же?

Из иркутского дела видно, что среди секретных бумаг московского генерал-губернатора, хранящихся ныне в архиве города Москвы, непременно должны находиться и материалы, освещающие дальнейшую судьбу Афанасия Петрова и, может быть, раскрывающие наконец, кто он таков. От бумаг Лавинского до бумаг Голицына в наши дни всего семь часов

<sup>19</sup> Там же, л. 48.

пути, и я вскоре обнаружил дело, озаглавленное: «Секретно. О крестьянине Петрове, сосланном в Сибирь. Начато 21 февраля 1823 года, на 27-ми листах»<sup>20</sup>.

С первых же строк открывается, что во второй столице исподволь начали готовиться к приему секретного арестанта. Пристав Миллер «с будущим» еще не выехал, а на имя Голицына уже приходит бумага от министра внутренних дел, где, как положено, излагается вся история вопроса. При этом Голицыну сообщают из Петербурга и кое-какие интересные подробности, которых в сибирских документах нет. Прежде всего о прошлом Афанасия Петровича.

«По выправкам [...] о первобытном состоянии Петрова нашлось, что он пересылался через Тобольск 29 мая 1801 г. в числе прочих колодников для заселения Сибирского края [...] Из какой губернии и какого звания, с наказанием или без наказания — того по давности времени и по причине бывшего там (в Тобольске) пожара не отыскано. Сверх того, чиновник<sup>21</sup> донес, что у Петрова, по осмотру его, никакого креста на теле не оказалось, равно и знаков наказания не примечено».

Далее московскому губернатору сообщались результаты петербургских допросов Старцова и Петрова. Старцов утверждал, что только теперь, в Петербурге, впервые увидел Петрова, писал же письма по слухам, под впечатлением, что Петрова за его рассказы когда-то держали под караулом.

Затем допрос Афанасия Петрова, сразу рассеивающий легенду «по императорской линии», представляя взамен непридуманную сермяжную Одиссею.

Ему, Петрову, «от роду 62 года, грамоте не умеет, родился в вотчине князя Николая Алексеевича Голицына<sup>22</sup>, в 30-ти верстах от Москвы, в принадлежащей к селу Богородскому деревне Исуповой; с малолетства обучался на позументной фабрике купца Ситникова, потом лет около тридцати находился

<sup>20</sup> ЦГА г. Москвы, ф. 16 (Управления московского генерал-губернатора), оп. 31, № 5.

<sup>21</sup> Подразумевается тобольский полицмейстер Алексеев.

<sup>22</sup> Дальний родственник московского генерал-губернатора.

в вольных работах все по Москве; между тем женился. Но как вольные работы и мастерство стали по времени приходить в упадок, то он и начал терпеть нужду и дошел до того, что кормился подаяннем. За это ли самое, за другое за что взяли его в Москве на съезжую; допрашивали: давно ли от дому своего из деревни отлучился, и потом представили в губернское правление, из коего в 1800 году на масленице отправили в Сибирь и с женой, не объявляя никакой вины, без всякого наказания<sup>23</sup>. По приходе в Сибирь был он отправлен с прочими ссыльными из Красноярска в Сухобузимскую волость, где и расставлены по старожилам для пропитания себя работою. Жена вскоре умерла. А он, живучи в упомянутой волости, хаживал и по другим смежным волостям и селениям для работы и прокормления. Но нигде ничьим именем, кроме своего собственного, не назывался...»

Как видно, и сам Петров, и его допросчики не видели в создавшейся ситуации ничего особенного: ходил в Москву на оброк, обеднел, вдруг сослали, за что — не сочли нужным объявить, жена умерла, остался в Сибири; жил тяжело, но «все его любили, обращались человеколюбиво» — и так двадцать два года... и жил так бы до самой смерти, если бы не случайное обстоятельство — «тьень» покойного императора Павла Петровича и т. п.

Князю Голицыну, как будущему начальнику Петрова, сообщены и впечатления, которые оба доставлявшихся в Петербург сибиряка произвели на петербургских чиновников: Старцов, несмотря на свое письмо, «усмотрен человеком порядочным», Петров же, «как человек, возросший в Москве и между фабричными, в числе коих бывают иногда люди с отменными способностями, мог приобрести себе навык к рассказам и пользоваться оным в Сибири к облегчению своей бедности, а между тем рассказы сии могли служить поводом к различным об нем слухам».

Москвич-сибиряк был, очевидно, боек на язык и

---

<sup>23</sup> В Петербурге дознались, что Афанасий Петров вышел из Москвы «для заселения Сибирского края в числе 221-го «подорека». Он значился колодником под № 103, жена — под № 104, (ЦГИА, ф. 1163, т. XVI, № 2, л. 9).



дал чиновникам из Петербурга повод заподозрить у него «навык к рассказам» (вспомним: «я не Павел Петрович, а Афанасий Петрович» — и жалостливое расположение к нему сибирских баб). Рассказать же ему было что: в Сухобузимской волости за Красноярском диковинкой был простой, не из господ, человек, знавший Москву, своими глазами выдавший царей да еще потершийся среди языкастой промысловой братии.

Из того же документа мы узнаем наконец, что Александр I Петрова и Старцова видеть не мог, ибо был в дороге и вернулся, когда их уже отправили обратно:

«По возвращении государя императора в Санкт-Петербург было докладывано его величеству, на что воспоследовала высочайшая резолюция следующего содержания: поселенца Петрова для прекращения всех слухов возвратить из Сибири на родину, где он каждому лично известен» (и далее уже знакомое по сибирским бумагам: «не изнурять пересылкой... отпратить по миновании морозов»).

Петрова возвращали в Москву как бы из милости, а на самом деле для того, чтобы обезвредить: самозванец силен в краю, где его прежде не знали, но никто же не поверит, если свой односельчанин, известный всем от рождения, вдруг заявит, что он не кто иной, как сам император Петр III или император Павел I.

Однако в Сибири царское «для прекращения всех слухов...» звучит нелепо: ведь именно второй отъезд Петрова и расплодил слухи, а сентиментальное «не изнурять пересылкою», разумеется, вызвало толки, что без особенных причин о простом мужике так не позаботятся.

Власть боялась не бедного старика, а неожиданностей. Молчание или шепчущие пугали ее не меньше, а порой и больше, чем «разгулявшися». Кто знает, какое неожиданное движение, порыв, даже бунт может вызвать какой-нибудь Афанасий Петрович, Емельян Иванович?.. К тому же мещанин Старцов неловко задел рану царя Александра: даже пустой слух, будто Павла «извели» (но, может быть, «не до смерти»!), напоминал о страшной ночи с 11

на 12 марта 1801 г., когда Павла в самом деле извели, и он, Александр, в сущности, дал согласие на это и, узнав, что отца уже нет, разрыдался, а ему сказали: «Идите царствовать!»

Слух, сообщенный Одоевским, будто к Александру возили из крепости какого-то старика, кажется, к данной истории не относится. Но именно в последние свои годы царь был особенно мрачен, угнетен воспоминаниями, ждал наказания свыше за свою вину и якобы сказал, узнав о тайном обществе будущих декабристов: «Не мне их судить...»

Даже туманный призрак Павла Петровича был неприятен. И старика вторично везут из Сибири...

Допрашивали в Петербурге Петрова и Старцова князь Лопухин, граф Кочубей и князь Лобанов-Ростовский. 15 декабря 1822 г. генерал А. Я. Сукин (три года спустя распределявший в крепости декабристов) получил распоряжение: Старцова и Петрова «содержать в Алексеевском рavelине каждого порознь, впредь до требования» (Старцова — в камере № 2, Петрова — в № 8). На пищу каждого отпускалась минимальная сумма — 50 коп. в сутки. Смотритель Лилиенанкер (также известный по декабристским воспоминаниям) нашел у Петрова четыре лоскута «писанных букв», оказавшихся «заговорами» от разных бед<sup>24</sup>.

Дальнейшие события в многосложной биографии Афанасия Петрова ясно вырисовываются из того же архивного дела.

Московский Голицын 6 марта 1823 г. затребовал из своей канцелярии материалы о Петрове, чтобы решить, куда же его девать. Однако многие дела сгорели в пожаре 1812 г.; среди уцелевших ничего о Петрове не нашлось.

Когда Петрова наконец доставили в город, откуда его угнали ровно 23 года назад, еще задолго до великого пожара, и отвезли в «тюремный замок», то смотрителю велено поместить старика «в занимаемой им, смотрителем, в том замке квартире как можно удоб-

<sup>24</sup> Лоскуты сохранились в деле. — ЦГИА, ф. 1163, т. XVI, № 2.

нее и не в виде арестанта» (все еще действует царское «не изнурять...»).

7 мая 1823 г. московский обер-полицмейстер Шульгин рапортует о семейных обстоятельствах Петрова «господину генералу от кавалерии, государственного совета члену, московскому военному генерал-губернатору, управляющему по гражданской части, главному начальнику комиссии для строений в Москве и разных орденов кавалеру князю Голицыну первому...».

Оказывается, в деревне Исуповой имел Петров кроме жены, Ксении Деяновой, также трех дочерей: «первая — Катерина Афанасьевна, которой было тогда 11 лет от роду; вторая — Прасковья, находившаяся в замужестве за крестьянином вотчинным его же, князя Николая Алексеевича Голицына, в деревне Саврасовой Никоном Ивановым; и третья дочь Надежда Афанасьевна осталась в доме его сиятельства, бывшем тогда в Москве на Лубянке». Было и четыре сына, умерших еще до ссылки родителей.

А затем: «все те три дочери в живых ли находятся и в каких местах имеют свои пребывания, он, Петров, неизвестен». Двадцать три года он не имел никаких известий о детях, хотя бы оттого, что неграмотен и дочери неграмотны, написать письмо из Сухобузимской волости сложно: чтобы отправить письмо за Москву, нужны деньги, а у «пропитанного» Петрова ни гроша за душой, да и там, в Исуповой, не найдут, не прочтут... Может быть, пробовали писать отец и мать дочерям, да без толку, а может быть, и не думали писать — из особенного равнодушия, помогающего выжить.

В Петербурге Афанасий Петров, кажется, и не упомянул про дочерей, в документах о них ни слова.

Без согласия князя Николая Голицына вряд ли посмели бы угнать в Сибирь принадлежащего ему крепостного. Но князю от Афанасия Петрова не было никакого проку, а про дочерей, возможно, и не доложили.

Так или иначе, но 11 мая 1823 г. от Голицына-губернатора пошла бумага к серпуховскому исправнику с предписанием: узнать о Петрове в деревне Верхней Исуповой и соседних, «и кто отыщется в живых из родных ему, о том мне донести».

Серпуховский исправник перелает подольскому. Поиски длятся больше двух месяцев. Наконец 30 июля 1823 г. подольский земский исправник отправляет губернатору рапорт. Оказывается, деревня Исупова уже не голицынская: ею владеет «госпожа действительная камергерша Анна Дмитриевна Нарышкина». В той деревне «находится рошная Петрову дочь в замужестве за крестьянином Никоном Ивановым».

7 сентября генерал-губернатору было доложено, что Петров «через подольский земский суд на прежнее жилище водворен».

Предоставляем читателю вообразить, как встретила дочь отца, которого давно уже в мыслях похоронила, как узнала про мать, обрадовалась ли еще одному немощному члену семейства, куда девались две другие дочери, какова новая помещица, каково Афанасию Петровичу из вольной ссылки — в крепостную неволю?

Петров мог утешаться лишь тем, что его титул теперь был всего на четыре слова короче, чем у самого губернатора Голицына. В каком бы документе он ни появлялся, его неизменно величали: «Возвращенный весной 1823 г. из Сибири и водворенный на месте своей родины Московской губернии, Подольской округи, в деревне Исупове, принадлежащей госпоже Нарышкиной, крестьянин Петров».

Прошло два года, и, вероятно, из-за второго письма мещанина Старцова, вызвавшего недовольство самого Аракчеева, вспомнили в Петербурге и Афанасия Петровича. 24 июня 1825 г., в тот самый день, когда из села Грузина пошел приказ в Сибирь — унять Старцова, Аракчеев написал и московскому Голицыну:

«Милостивый государь мой князь Дмитрий Владимирович!

Его императорское величество повелеть мне соизволил получить от Вашего сиятельства сведение: в каком положении ныне находится и как себя ведет возвращенный весной 1823 года из Сибири и водворенный на месте своей родины Московской губернии, Подольской округи, в деревне Исупове, принадлежащей госпоже Нарышкиной, крестьянин Петров?

Вследствие сего прошу Вас, милостивый государь

мой, доставить ко мне означенное сведение для доклада Его величеству».

Все не давал покоя высшим властям склонный к рассказам Афанасий Петрович...

17 июля 1825 г. Голицын отвечал «милостивому государю Алексею Андреевичу»: «Сей крестьянин ныне, как оказалось по справке, находится в бедном положении, но жизнь ведет трезвую и воздержную; в чем взятое показание от бурмистра госпожи Нарышкиной препровождая при сем в оригинале, с совершенным почтением и таковою же преданностью имею честь быть...»<sup>25</sup>

Это последний документ об Афанасии Петрове, неграмотном старике, родившемся в конце царствования Елизаветы и, вероятно, пережившем Александра I. При жизни он потревожил память одного царя и дважды нарушал покой другого; о нем переписывались три министра и три генерал-губернатора.

20 сентября 1754 г. родился Павел I.

В тот день императрица—бабушка Елизавета Петровна выделила новорожденному 30 тыс. руб. на содержание и велела срочно найти кормилицу<sup>26</sup>.

Один и тот же указ был мгновенно разослан в пять важных ведомств — Царское Село, главную канцелярию уделов, собственную вотчинную канцелярию, собственную конюшенную канцелярию и канцелярию о строениях: «Здесь, в Ингерманландии, смотреть прилежно женщин русских и чехонских, кои первых или других недавно младенцев родили, прежде прошествия шести недель, чтобы оные были здоровые, на лица отменные, и таковых немедленно присылать сюда и с младенцами, которых они грулюю кормят, дав пропитание и одежду».

Женщин и детей сначала велено было представлять первому лейб-медику Конлоили, но через несколько часов во все пять ведомств полетел новый указ, «чтоб оных женщин объявлять самое ее импе-

<sup>25</sup> Письмо Аракчеева и ответ Голицына.— ЦГА г. Москв. ф. 16, оп. 4, № 2672.

<sup>26</sup> «Дело о рождении императора Павла» хранится в ЦГАДА. Государственный архив Российской империи, ф. 2, № 80, 1754 г.

раторскому величеству», и наконец через день, 22 сентября, Елизавета еще потребовала, «чтоб искать кормилиц из солдатских жен с тем, чтобы своего ребенка кому-нибудь отдала на воспитание».

Вскоре во дворец стали доставлять перепуганных русских и финских женщин с грудными младенцами, а по округе, конечно, зашептали, что это неспроста...

Много ли надо для легенды о подмененном императоре?

Впрочем, кто знает: может быть, существовала еще какая-то, пока неразличимая история вокруг рождения и имени Павла? Может быть, действительно переселяли в Сибирь деревню Котлы и привозили к Александру I из крепости какого-то старика?

Но высшая власть окутала себя такой тайной, что скоро и сама перестала ясно различать предметы.

«Точно так, как ее члены не верят, что они — они, так не верят они и в ту власть, которая у них в руках, отсюда постоянные попытки террора, страха и готовность уступить» (Г. XIV. 350).

Легенда-история об Афанасии Петровиче сродни некоторым другим. Ее «типический» для российских условий характер, очевидно, вызывал особенный интерес Герцена и Огарева. Из подобных историй наиболее известна версия о старце Федоре Козьмиче (Кузьмиче), под видом которого будто бы скрывался в Томске тайно покинувший престол Александр I. Еще несколько лет назад этот сюжет обсуждался советскими историками<sup>27</sup>. Во времена Герцена и прежде слух о томском старце, однако, еще не пересек Уральского хребта с востока на запад: главные дискуссии о том начались с конца XIX — начала XX в.<sup>28</sup> (после 1825 г. циркулировали только различные фантастические слухи, впрочем, вполне обыкновенные при смене российских императоров. Так, 12 января 1826 г. стокгольмская газета со ссылкой

<sup>27</sup> «Вопросы истории», 1966, № 1; 1967, № 1 (статьи Л. Любимова, С. Б. Окуня, Н. Н. Белянчикова); К. В. Чистов. Русские народные социально-утопические легенды, стр. 199—202 и сл.

<sup>28</sup> Обзор литературы см. в работах, указанных в предыдущей сноске, а также в книге К. В. Кудряшова «Александр Первый и тайна Федора Козьмича». Пг., 1923.



на английскую сообщала о том, что Александра I удавили во время морской прогулки)<sup>29</sup>.

В данной книге поэтому ограничимся замечанием насчет сходства историй о старце Федоре и старике Афанасии. Автору кажется заслуживающей серьезного внимания версия К. В. Кудряшова о том, что Федором Козьмичем был, возможно, Федор Уваров, шурин декабриста Лунина<sup>30</sup>.

Другая, куда менее известная «легенда-быль» интересна еще более близким соседством с загадкой происхождения Павла I и другими «династическими тайнами».

Вячеслав Всеволодович Иванов познакомил автора книги с некоторыми любопытными материалами своего отца, известного писателя Всеволода Иванова. Примерно в 1935 г. В. В. Иванов работал над пьесой «Двенадцать молодых из табакерки», действие которой происходило во времена Павла I. Пьеса не была завершена, но среди материалов осталась старинная рукопись известного сочинения о делах и гибели Павла I — «Разговор в царстве мертвых»<sup>31</sup>. В нее был вложен лист бумаги, на котором неизвестным почерком, современной орфографией были написаны два текста. Один озаглавлен «Отрывок из мемуаров декабриста Александра Федоровича фон дер Бриггена». Далее приводился фрагмент, лишь частично воспроизведенный в «Историческом сборнике» и восходящий к другому варианту этих мемуаров, опубликованному в журнале «Былое». Приводим этот текст, поместив для ясности несколько строк, отсутствующих на листке из архива Всеволода Иванова, но имеющихся в «Историческом сборнике» и «Былом» (они выделены курсивом)<sup>32</sup>.

*«Найдено графом Ростопчиным в своей подмосковной деревне письмо Павла к его отцу, известному ге-*

<sup>29</sup> ПБ, ф. 859. 17, № 3. Заметки Михайловского-Данилевского.

<sup>30</sup> Этот сюжет я надеюсь разработать в специальном исследовании.

<sup>31</sup> На титульном листе читается надпись: «Из книг А. П. 1806 года».

<sup>32</sup> Сравни «Исторический сборник», II, стр. 263, и «Былое», 1925, № 6, стр. 9.

*рострату Москвы, в котором Павел пишет, что не признает детей своими. Некоторых, правда, мог, но не всех. Император Павел I прекрасно знал, что его третий сын Николай был прижит Марией Федоровной от гоф-фурьера Бабкина, на которого был похож, как две капли воды. Говорят, что даже Павлом приговорен был манифест, в котором он хотел объявить Николая незаконным, но представительством одного из его гатчинских фаворитов он оставил. Королева же голландская Анна Павловна была прижита М. Ф. от статс-секретаря Муханова...»*

Перед этой выдержкой из воспоминаний Бриггена тем же неизвестным почерком записан следующий текст:

«Копия с копии (подлинник на французском языке сгорел в числе проч. исторических материалов в ризнице Кувинской церкви Коми-Пермяцкого округа в 1918 году). Материалы, по свидетельству [товарищей] Теплоуховой Н. А., Панина Н. П. и др., собирались графом С. А. Строгановым в бытность его в Куве и в Лологском краю.

*Письмо императора Павла I графу Ростопчину Федору Васильевичу. С. Петербург, 15 апреля 1800 года — в Москву (перевод с французского).*

Дражайший Федор Васильевич.

Граф Алексей Андреевич передал мне составленный Вами проект изменения пункта 6 Мальтийского регламента: вторая часть изложенного Вами, мне кажется, — удачное разрешение вопроса. Сегодня для меня священный день памяти в бозе почившей государыни цесаревны Натальи Алексеевны, чей светлый образ никогда не изгладится из памяти моей до моего смертного часа. Вам, как одному из немногих, которым я абсолютно доверяю, с горечью признаюсь, что холодное, официальное отношение ко мне цесаревича Александра меня угнетает. Не внушили ли ему пошлую басню о происхождении его отца мои многочисленные враги?

Тем более это грустно, что Александр, Константин и Александра мои кровные дети. Прочие же? ...Бог весть!

Мудрено, покончив с женщиной все общее в жизни, иметь еще от нее детей. В горячности моей я

начертал манифест «О признании сына моего Николая *незаконным*», но Безбородко умолил меня не оглашать его. Но все же Николая я мыслю отправить в Вюртемберг «к дядям», с глаз моих: гоф-фурьерский убудок не должен быть в роли российского великого князя — завидная судьба! Но Безбородко и Обольянинов правы: ничто нельзя изменять в тайной жизни царей, раз так predetermined всевышний.

Дражайший граф, письмо это должно остаться между нами. Натура требует исповеди, а от этого становится легче и жить и царствовать.

Пребываю к Вам благосклонный Павел».

Понятно, что приведенный документ, по утверждению неизвестного копииста, является тем самым письмом Павла I Ростопчину, о котором вспомнил фон Бригген. Однако анализ текста вызывает к нему сильное недоверие. Скорее всего это сочинение, стилизованное «под Павла I» и созданное после 1925 г. Как отмечалось, документ опирается как раз на те строки воспоминаний Бриггена, которые впервые появились в июньском номере «Былого» за указанный год. В письме нет грубых ошибок: верна, например, дата смерти первой жены Павла, великой княгини Натальи Алексеевны; в Коми-Пермяцком округе действительно существуют указанные географические названия, некоторые выражения кажутся действительно переведенными с французского.

Доводом против документа является и отсутствие в нем упоминаний о законности или незаконности рождения Михаила Павловича, родившегося после Николая, в 1798 г. Подозрительно выглядят строки, объясняющие судьбу подлинника (пожар, ризница, копия с копии и т. п.). Возможно, составитель документа желал пошутить, ссылаясь на свидетельство «товарища Н. П. Панина»...

Если бы подобный документ распространялся в период царствования Николая I, его можно было бы считать за стремление скомпрометировать императора. Однако списков этого письма нет в собраниях даже самых смелых и осведомленных коллекционеров XIX в.

Недоверие к приведенному письму не разрешает, однако, загадку подлинного послания Павла к Ростоп-

чину. Кроме свидетельства Бриггена сведения о том же документе находились в руках Н. К. Шильдера. В его архиве хранится следующая запись некоего Д. Л., родственника Ф. В. Ростопчина (речь идет об изгнании Ростопчина со службы 20 февраля 1801 г.):

«Ростопчин, человек желчный, был глубоко уязвлен незаслуженною немилостию. Он был искренне предан Павлу и не раз оказывал ему услуги и государственные и семейные. Между последними нужно заметить, что Ростопчин часто умерял порывы Павла в отношении к императрице и императорской фамилии и даже успел однажды отстранить намерение государя разлучиться с супругой и детьми. В то время это ходило как слух, поныне сохранилось о том в императорской фамилии темное, ничем не доказанное и ничем не опровергнутое предание»<sup>33</sup>.

Возможно, письмо Павла Ростопчину вроде того, которое только что приводилось, действительно существовало. Между прочим, в том же архиве Шильдера имеется запись о холодности Александра I к своему двоюродному брату принцу Евгению Вюртембергскому. «Не к этому ли обстоятельству, — спрашивал Шильдер, — относятся семейные услуги Ростопчина, о которых упомянуто?..»<sup>34</sup>

Эпизоды, представленные в главе, касаются одновременно двух полярных, но для своего времени равно таинственных сфер русской действительности: жизнь простого народа и негласная история «верхов», судьба крестьянина, благодаря случайным обстоятельствам выделенная из десятков тысяч подобных же трагических безвестных судеб, народные слухи, легенды, рождающиеся в условиях деспотизма, безгласности, и сложное напластование тайн, секретов, запретов на вершине этой системы, когда с виду малозначительное придворное событие может злоеющим «усиленным эхом» отразиться на миллионах подданных. Герцен писал в «Колоколе»: «Там, где нет гласности, там, где нет прав, а есть только царская милость, там не общественное мнение дает тон, а коз-

<sup>33</sup> ПБ, ф. 859. 22, № 7, л. 75.

<sup>34</sup> Там же, л. 97.

ни передней и интриги алькова. Там какая-нибудь Мина Ивановна<sup>35</sup> перевесит негодование и стон целого города, хотя бы этот город назывался Москвой» (Г. XIII. 89).

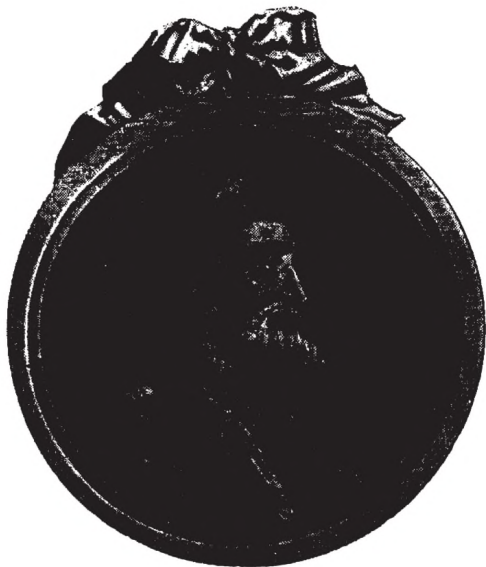
В предисловии к изданию мемуаров Екатерины II Герцен заметит: «За тройною цепью часовых, в этих тяжеловесно украшенных гостиных кипела лихорадочная жизнь, со своими интригами и борьбой, со своими драмами и трагедиями. Именно там ткались судьбы России, во мраке алькова, среди оргий — по ту сторону от доносчиков и полиции» (Г. XIII. 386).

Отсюда естественно и логично возникала одна из задач рассекречивания прошлого, которую ставили издатели Вольной печати: извлечь на свет — в «Колоколе», «Полярной звезде», «Исторических сборниках» — и «козни передней», «интриги алькова»; проникнуть в почти недоступный историку и публицисту особый мир, который, по словам Герцена, «подобно кораблю, держащемуся на поверхности [...] вступал в прямые сношения с обитателями океана, лишь поедая их» (Г. XIII. 386).

И с тем большим стремлением и вниманием Герцен и Огарев старались уловить сквозь замки, печати и цепи часовых скудные, глухие сведения о «негодовании и столах целых городов», о жизни самих «обитателей океана» и особенно об их мучительных, отчаянных и героических попытках к освобождению.

---

<sup>35</sup> Мина Ивановна Буркова — влиятельнейшая фаворитка министра императорского двора графа Адлерберга.



Е. Пугачев  
(гравюра Леттелье по рис.  
И. де Мальи)

Народ для просвещенного общества пушкинского и герценовского времени был «спящим озером, подснежных течений которого никто не знал [...] Государство оканчивалось на канцеляристе, прапорщике и недоросле из дворян; по другую сторону были уже не люди, а материал, ревизские души, купленные, всемиловитвейше пожалован-



ные, приписанные к фабрикам, экономические, податные, но не признанные человеческими» (*Г. VII. 265*).

Девизом «Колокола» было, однако, шиллеровское «Зову живых!». «Живые» были те, кто в настоящем и прошлом в той или иной форме объявляли о своем человеческом праве. Естественно, важнейшими событиями предшествующих ста лет Герцен и Огарев считали два крупнейших взрыва народного сопротивления — крестьянскую войну во главе с Пугачевым, а также восстание крестьян и военных поселян в 1831 г.

Первое событие было полузапрещенным, а второе — совершенно закрытым для историков. Интерес Вольных изданий к 1773—1775 и 1831 гг. усиливался еще и тем, что это были важнейшие пушкинские сюжеты, также отчасти «подводные», относящиеся к потаенному наследству поэта, вызвавшие при его жизни и позже острейшие дискуссии...

Через 14 лет по смерти Пушкина, 9 августа 1851 г., близкий к петрашевцам А. А. Чумиков, одобряя начинавшуюся эмигрантскую деятельность Герцена, решительно не соглашался со взглядом на Пушкина, высказанным в герценовском «О развитии революционных идей в России»: «Пушкина никто теперь не читает. Доказательство, что не может состояться нового издания и старое не возвысилось в цене [...] Пушкин занимался русской историей менее всякого школьника; и уже одно намерение написать историю пугачевского бунта показывает, что соглашался коверкать факты; время ли теперь писать вообще какую-нибудь историю русскую?»<sup>1</sup>

Герцен, разумеется, не согласился тут с Чумиковым, но в своем ответе на это послание вопрос о Пушкине обошел — слишком мало было в ту пору смелых людей, отваживавшихся переписываться с государственным преступником и изгнанником: «Спасибо вам за письмо и за симпатию. Готов всегда писать, лишь бы было безопасно для вас» (*Г. XXIV. 200*).

Любопытно, что одновременно с чумиковской прямолинейной критикой на «Историю Пугачева» Герцен написал и отчасти напечатал свои, куда более глубо-

<sup>1</sup> ДН, т. 62. М., 1954, стр. 720—721.

кие размышления по поводу той же книги. Герценовская характеристика пугачевского восстания как «противудействия петербургскому терроризму» (Г. IX. 135), как «отчаянного усилия казака и крепостного освободиться от жестокого ярма» (Г. VI. 213) сродни пушкинской, хотя свидетельствует о значительно большем сочувствии повстанцам (отношение Герцена к «Истории Пугачева» мало чем отличалось от взгляда Белинского. Чумикова ведь возмутили следующие герценовские слова: «Пушкин [...] погружается в изучение русской истории, собирает материалы для исследования о Пугачеве, создает историческую драму «Борис Годунов», — он обладает инстинктивной верой в будущность России» («О развитии революционных идей в России». — Г. VII. 203).

То и дело у Герцена мелькают выдержки или ссылки на пушкинскую работу: «До сих пор еще живет в его [народа] памяти Пугачевское восстание» (Г. VII. 168) — это почти как у Пушкина; «...народ живо еще помнит кровавую пору, которую — так выразительно — прозвал он Пугачевщиной» (П. IX. 81). В 1853 г. Герцен «по-пушкински» замечает: «В сущности, народ бунтовал против крепостного состояния и ненационального правительства. Перечень казней в приложениях к пушкинской «Истории пугачевского бунта» ясно показывает, против кого и чего дрался народ». Это строки из знаменитой статьи «Крещеная собственность» (Г. XII. 108), первое издание которой имеет эпиграф: «Я не ворон, а вороненок; настоящий ворон еще летает в поднебесье. Пророчество Пугачева».

Присказка — «ворон-вороненок» и эпизод из пушкинской книги, где она впервые приводится (Петр Панин, вырывающий у скованного Пугачева клоч борода), много раз привлекали внимание Искандера. В печатных его сочинениях этот текст толкуется как предсказание, угроза власти и помещикам; однако тем не исчерпывался для Герцена пророческий смысл пугачевской присказки. В письме к Гервегу от 19(7) апреля 1850 г. (впервые опубликованном только в 1961 г.) находятся следующие примечательные строки: «Сам я недавно перечел историю пугачевского бунта Пушкина. Все это так характерно,

что можно было бы об этом сделать статейку (очень жаль, что Пушкин, при всем своем гении, слишком аристократ, чтобы понимать, и слишком стеснен цензурой, чтобы высказаться до конца). На каждой странице находишь такого рода прелести в духе Марата: «Прибыв в городок N., Пугачев велел повесить всех офицеров, всех дворян, 20 священников, объявив весь простой народ и крестьян свободными на вечные времена... И он прошел через четыре обширных губернии и в течение нескольких месяцев был самодержавнейшим властелином». «Я только вороненок, — сказал он Панину, когда уж был связан и выдан своими друзьями, — а ястреб-то еще летает в небе, он еще появится». Любопытно бы знать, что же сделает ястреб, если это было только детской игрой?» (Г. XXIV. 27).

Герцен цитирует неточно, по памяти — «ястреб» вместо «ворон», — но дело не в этом. Как истолковать: «Пушкин, при всем своем гении, слишком аристократ, чтобы понимать...»? Напрашивается мысль, что Пушкин не мог оценить прогрессивности, справедливости крестьянской войны, — но нет! Следуют примеры «не о том»: о страшных жертвах, о крови, пролитой народным топором. Но об этом-то в пушкинской книге как раз немало, это он хорошо понимал. В чем же он «слишком аристократ»?

Видимо, по Герцену, автор «Пугачева» не видит всей сложности вопроса.

Нельзя без Пугачева. У Герцена десятки раз о том, что власть не уступает, и оттого новый Пугачев — «ворон», «ястреб» — необходим, закономерен.

Но страшен и Пугачев («что же делает ястреб?») — лучше бы без «такого рода прелестей».

Герцен, когда писал Гервегу, конечно, думал о недавних революциях 1848 г.; о пролитой крови, «которая вошла нам в мозг», и о том, что без нее тем не менее ничего не делается.

Автор «Истории Пугачева» получает упрек «слева»: он «не высказался до конца», видит только зверства, издержки народной войны (хотя их нельзя не видеть!). Впрочем, односторонность Пушкина, Герцен готов допустить, — не только от аристократизма, но и от цензуры.

Герцен многое угадывал. К сожалению, он не знал в то время не предназначавшихся для печати пушкинских «Замечаний о бунте», где как раз была сделана осторожная попытка «высказаться до конца».

Пугачев, о котором Герцену и другим напомнил 1848 год, конечно, появляется снова перед крестьянской реформой, во времена «Колокола» и «Полярной звезды». Несколько номеров «Колокола» посвящаются Херсонской истории: пили за здоровье либералов, деятелей крестьянской реформы, и один из крепостников предложил иронический тост за Пугачева...

Герцен через свою газету обратился к поднимающим подобные тосты, к тем, кто «пугачают и страшат»: «Выходите же на арену — дайте на вас посмотреть, родные волки великороссийские, может, вы поумнели со времен Пугачева, какая у вас шерсть, есть ли у вас зубы, уши?» (Г. XIII. 196).

Огарев позже пишет старинной приятельнице:

«Если у вас явится Пугачев, то я пойду к нему в адъютанты».

Бакунин же вслед за Герценом гадает о будущем освободителе России: «Романов, Пугачев или Пестель?»

При таких толках не забывают, разумеется, и пушкинского Пугачева, хотя почти никто не помнит, при каких обстоятельствах, с какими политическими целями писалась та книга в очень далекие 1830-е годы. Один из тайных корреспондентов «Колокола» восклицает: «Или правительство думает, что Пугачевский бунт был таков, каким представляет его Пушкин в своей сказочной истории? Неужели оно не знает, что это кровавое восстание вызвано вовсе не волнениями яицких казаков, а отчаянным штурмом крепостных крестьян к воле да раскольников, у которых Петр III был последним воплощением спасителя»<sup>2</sup>.

Автор приведенных строк несправедлив. И в напечатанной «Истории... бунта» и в «Замечаниях...» особенно Пушкин не раз говорил о глубоких при-

<sup>2</sup> «Колокол» № 2, 1 августа 1857 г., стр. 15. Автором статьи был, вероятно, чиновник министерства внутренних дел В. П. Перцов.

чинах восстания, где движение казаков и самозванец лишь повод, искра для взрыва. Нетерпеливое мнение герценовского корреспондента отразило, однако, горячее одушевление конца 1850-х годов. Вопрос о крестьянских восстаниях и бунтах был столь острым для того времени, что Герцен и Огарев, вопреки принятому правилу — публиковать исторические материалы в «Полярной звезде» и других специально предназначенных для «былого» изданиях, — однажды предоставили «Колокол» для документов, прямо относящихся к 1831 г. и косвенно связанных с пугачевскими, пушкинскими проблемами.

15 июня 1858 г. в Лондоне вышел 16-й номер «Колокола», в котором рядом с современными материалами появилась большая публикация — «Новгородское возмущение в 1831 году». Под заглавием примечание: «Этот необычайно любопытный документ писан самим очевидцем событий и временным начальником возмущения инженерным полковником Панаевым, к подавлению которого он весьма много способствовал»<sup>3</sup>.

Из примечания следует, что публикуются мемуары человека верноподданного: очевидно, некий тайный корреспондент достал и послал Герцену записки, конечно, не предназначавшиеся для печати.

«Новгородское возмущение в 1831 году» публиковалось в 16-м номере «Колокола» и двух последующих<sup>4</sup>.

Документ начинается со следующих строк: «Опишу вам дело, хотя и не военное, но я лучше бы согласился вытерпеть несколько регулярных сражений, чем быть захваченным в народный бунт. Дни 16, 17, 18, 19 и 20 июля 1831 года для меня весьма памятливы».

Панаев — видимо, в отставке, на покое — составляет записки для друзей или родных («опишу вам...»).

Военный человек виден очень ясно. Слог четкий, точный — словно в боевом донесении: «В 1820 году

<sup>3</sup> «Колокол» № 16, 15 июня 1858 г., стр. 126.

<sup>4</sup> Там же, № 16—18, стр. 126—130, 133—139, 147—152.

предположено было сформировать для гренадерского саперного батальона поселение; для того и назначен участок земли от гренадерского короля прусского, (что ныне Фридриха-Вильгельма) полка».

Бесхитрый, точный и страшный рассказ не отпускает читателя.

В чине инженерного подполковника Панаев (из рассказа видно, что зовут его Николаем Ивановичем) несколько лет командовал военными поселенцами и солдатами, строившими здания и дороги. Вероятно, он был лучше многих командиров, ибо разрешал подчиненным, сделав заданную норму, заниматься кто чем хочет. А вообще «поселенцы не любили начальство и ежели повиновались, то единственно из страха, ибо поселения были наполнены войсками». В 1831 г. войска ушли в Польшу, началась холера, среди людей, замотанных работой, жарой и побоями, идет слух, что лекаря вместе с офицерами «отравляют». Даже верноподданный офицер Панаев понимает, что это, собственно говоря, повод, искра, ведущая к давно зрелому взрыву.

Услышав, что началось избивание офицеров, Панаев является в роту. Военные поселенцы хотят убить и его, но он спасается благодаря нехитрому, но сильнодействующему приему: в последний миг громко кричит, что он не их командир, а инженер, так что пристрастий не имеет и готов возглавить мятежников, от их имени снести с царем, доложить об отравителях. Желая спасти «отравителей-офицеров», он берет тех, кто уцелел, под арест. Некоторые поселенцы чувствуют подвох: «Не слушайте, кладите всех наповал, не надо нам и государя!» Но Панаев снова тем же приемом: «Как, разбойники! Кто осмелился восстать на государя? Ребята, кто верен государю, кричите «ура!»». Толпа кричит «ура!» и избирает Панаева начальником.

Затем несколько дней Панаев — бунтовщик поневоле. Он маневрирует, ловко дурачит солдат, но каждую секунду может сложить голову. Впрочем, иногда ему приходит в голову коварная мысль: что можно было бы натворить, когда б он или другие офицеры в самом деле повели восставших. «Мне только стоило свистнуть, — вспоминал Панаев, —



чтобы все Эйлеры и Депереры [генералы, непосредственные начальники Н. И. Панаева] полетели к черту»<sup>5</sup>.

Между тем Петербург уже извещен о мятеже, а начальству округа, в Новгород, Панаев отправляет секретный рапорт о своем положении. Поселяне, однако, выставляют на дорогах посты, перехватывают бумагу и требуют своего командира к ответу. Подполковник, незаметно перекрестившись, выходит к ним.

«Поселяне [...] показали мне два рапорта и спросили: я ли писал и почему к немцам [генералу Эйлеру]. Я отвечал им, что писал действительно я, но что они мужики, а не солдаты, что воинский устав приказывает начальникам, кто бы они ни были, писать рапортами, но что им этого не понять [...] и, обращаясь к одному унтер-офицеру с анненским крестом и шевронами на рукаве, сказал: «Вот старый служивый так это знает. Не правда ли, старина, что начальник до тех пор, пока начальник, всегда получает рапорты и честь ему отдается?» Тот отвечал: «Знаю, ваше высокоблагородие, да вот, как я служил в действующих и стояли в Киеве, то на главной гауптвахте сидел генерал, и мы все становились перед ним во фронт, снимали шапки и говорили: «Ваше превосходительство», а как потом приехал майор с аудитором да прочли бумагу, то его взяли и повезли в Сибирь».

Все поселяне стали извиняться перед мною, что они этого не знали, им показалось и бог знает что такое, а теперь будут знать».

Снова люди, не разбирающиеся в обстановке, оглушены, обмануты; Панаева выручили воспомина-

---

<sup>5</sup> Эти строки из воспоминаний Панаева цит. по: «Военно-исторический вестник», 1910, № 3-4, стр. 156. В этом журнале (№ 1-2, стр. 53—76 и № 3-4, стр. 149—196) напечатана «Биография Николая Ивановича Панаева, переписанная Марией Николаевной Панаевой в Званке 14 декабря 1869 года». Там имеются некоторые расхождения и дополнения по сравнению с текстом, опубликованным в «Колоколе». Кроме того, воспоминания по ходу дела сопровождаются большими биографическими комментариями, написанными либо дочерью Н. И. Панаева, либо другим близким к нему человеком.

ния унтера о генерале, содержавшемся под арестом в Киеве (возможно, речь идет о генерале-декабристе, Волконском или Юшневском, арестованном в начале 1826 г. вместе с другими членами Южного общества). Трагическая, необыкновенная ситуация — все наизнанку, все наоборот: фальшивый, невольный предводитель мятежа умирят его, используя, может быть, историю настоящего революционера...

Проходит еще день, другой — Панаев издает приказы, проводит учения, держит взаперти арестованных офицеров. Тут является сам император вместе с графом Алексеем Орловым. Панаев продолжает: «Я встретил его величество [...] и подал рапорт о состоянии округа. Государь принял от меня рапорт, потом вышел из коляски, поцеловал меня и изволил сказать: «Спасибо, старый сослуживец, что ты здесь не потерял разума, я этого никогда не забуду». Потом, увидев стоящих на коленях поселян с хлебом и солью, сказал им: «Не беру вашего хлеба, идите и молитесь богу».

Потом государь начал говорить поселянам, чтоб выдали виновных, но поселяне молчали. Я в то время, стоя в рядах поселян, услышал, что сзади меня какой-то поселянин говорил своим товарищам: «А что, братцы? Полно, это государь ли? Не из них ли переряженец?»

Услышав это, я обмер от страха, и, кажется, государь прочел на лице моем смущение, ибо после того не настаивал о выдаче виновных и спросил их: «Раскаиваетесь ли вы?»... И когда они начали кричать «раскаиваемся!», то государь отломил кусок кренделя и изволил скушать, сказав: «Ну вот я ем ваш хлеб и соль; конечно, я могу вас простить, но как бог вас простит?»

Николай не решился сразу скрутить бунтовщиков: боялся сопротивления. Орлов советовал добиться выдачи зачинщиков самими поселянами.

Панаев же осмелился в этом случае возражать влиятельному генерал-адъютанту и будущему шефу жандармов<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> «Военно-исторический вестник», 1910, № 3-4, стр. 177. Кажется, А. Ф. Орлов подразумевается и в следующих строках воспоминаний, не попавших в «Колокол»: «В 1840 го-

В конце концов стало ясно, что восставшие напуганы, сбиты с толку.

Затем царь стягивает войска, бунтовщики покорно складывают оружие и надевают цепи. Военный суд — закрытый и скорый: шпицрутены, Сибирь для нескольких тысяч человек, 129 умерших «после телесного наказания и во время такового». В царском манифесте было объявлено, что «виновные предаются в руки правительства самими заблужденными».

Описанием арестов и заканчиваются в 18-м номере «Колокола» воспоминания Панаева. Затем идет несколько заключительных строк, очевидно написанных тем же лицом, которое переслало мемуары Герцену:

«К этому простому рассказу прибавлять нечего, положение писавшего, его образ мыслей, роль, которую он играл, — все это придает особую важность его словам. Но мы не можем не прибавить одного. Николай никогда не прощал Панаеву то, что он видел его в минуту слабости, видел его побледневшим в соборе, когда начался глухой ропот. Панаев был свидетелем, как Николай, смешавшись, уступил и отломил кусок кренделя. Он не давал никакого хода человеку, который себя, в его смысле, вел с таким героизмом. Панаев умер генерал-майором, занимая место коменданта, кажется в Киеве»<sup>7</sup>.

Только благодаря «Колоколу» десятки тысяч читателей получили сведения о подлинной истории летних событий 1831 г.

Но об авторе Записки (а также и о корреспонденте Герцена) в «Колоколе» совсем немного дано: упоминание о полке короля прусского, «что ныне Фридриха-Вильгельма»; фраза «полковник Панаев умер в чине генерал-майора». Сопоставления со сведениями об этом лице, полученными из других источников, помогают уточнить некоторые существен-

---

ду Николай Иванович просил отставки. Ему, между прочим, хотелось при этом случае избавиться, под благовидным предлогом, от службы по инженерному ведомству, потому что не мог он не опасаться плохо затаенного неблаговоления одного из значительнейших лиц в нашей империи» (там же, стр. 181).

<sup>7</sup> «Колокол» № 18, 1 июля 1858 г., стр. 152.

ные обстоятельства в истории и судьбе панаевской Записки.

Согласно краткому списку генералов на 26 июня 1855 г., «генерал-майор Панаев Николай Иванович, родившийся в 1797 г., паж — с 1807 г., прапорщик — с 1812 г., полковник — с 31 сентября 1831 г., генерал-майор — с 25 июня 1850 г. Исправляющий должность коменданта города Киева и Киево-Печерской цитадели»<sup>8</sup>.

В следующем списке генералов, служащих и отставных, составленном спустя несколько месяцев, в начале 1856 г., Панаева уже нет; очевидно, он скончался во второй половине 1855 г.

Из других справочников узнаем, что у генерала было 13 детей и четыре ордена — не слишком высоких; при этом Анну 4-й степени он получил в 15 лет, а Владимира 4-й степени — в 17 за кампанию против Наполеона. Несколько раз — по прошению — Панаеву выдавалась ленежная помощь<sup>9</sup>.

Между прочим, Николай Панаев был товарищем детских игр Николая I и все-таки карьеры не сделал. Товарищ императора, паж, к 17-ти годам — кавалер двух орденов, преданный слуга царя, безусловно — с точки зрения власти — действовавший во время бунта, он мог бы рассчитывать к 50-ти годам на высокие чины и должности вплоть до генерал-адъютанта. Тот, кто приписывал к мемуарам Панаева заключительные строки, был прав: Николаю был неприятен свидетель его минутной слабости. Царь в это время писал о тех же мятежниках: «Я был один среди них, и все лежали ниц...» (подробнее см. ниже). Панаев в этой формуле не помещался — и ему «не давали ходу», хотя до конца дней он оставался усердным, толковым командиром и, по свидетельствам современников, имел обыкновение поднимать за обедом тост за гибель всех врагов государя и отечества, басурманов и смутьянов. В появившейся

<sup>8</sup> «Краткий список генералам по стаошинству. Исправлено на 26 июня 1855 г.» СПб., 1855, стр. 439.

<sup>9</sup> «Военно-исторический вестник», 1910 № 1-2, 3-4; «Краткий список генералам...» СПб., 1855; В. В. Руммель и В. В. Голубиов. Родословный сборник русских дворянских фамилий, т. 1. СПб., 1886, стр. 246.

позже истории полка, замешанного в бунте, среди подробного перечисления походов, битв, командиров, замечательных офицеров вскользь упоминаются и «позорные для полковой истории беспорядки 1831 г.». Там же сообщается, что именоваться в честь прусского короля Фридриха-Вильгельма III полк стал сразу же после смерти этого монарха, в 1840 г.<sup>10</sup>

Значит, Панаев вел записки не раньше 1840 г., но и не позже 1850 г., когда его сделали генералом, в то время как автор записок — полковник.

«Военно-исторический вестник», между прочим, сообщал про эти воспоминания: «Составляя их с тем, чтобы передать детям своим, Николай Иванович не ожидал, чтобы они были апробированы высочайшим удостоверением. Случайно увидел их в кабинете Панаева генерал-лейтенант Я. В. Воронец, тайно показал Ростовцеву, а тот — наследнику престола» (будущему императору Александру II).

Александр II отнес мемуары отцу, а Николай, «соблаговоллив выслушать несколько страниц, изволил сказать потом: «Все истинная правда»<sup>11</sup>.

Н. И. Панаев, очевидно, давал читать и, возможно, переписывать свой труд. В 1858 г., через три года после смерти генерала, некто пересылает интереснейшие мемуары в Вольную русскую прессу...

Через 10 лет и в самой России начали появляться первые публикации о событиях 1831 г. В 1867 г. «Отечественные записки» печатают воспоминания протоиерея Воинова под заглавием «Рассказ очевидца о бунте военных поселян в 1831 г.». В 1870 г. выходит сборник «Бунт военных поселян в 1831 г. Рассказы и воспоминания очевидцев», в котором были впервые легально напечатаны записки Н. И. Панаева и некоторые другие.

Все эти материалы были подготовлены и изданы одним человеком — Михаилом Ивановичем Семевским.

В том, что он пробил в печать еще одну запрет-

<sup>10</sup> Ф. Орлов. Очерк истории Санкт-Петербургского гренадерского короля Фридриха-Вильгельма III полка (1726—1870). СПб., 1881, стр. 411.

<sup>11</sup> «Военно-исторический вестник», 1910, № 3-4, стр. 179.

ную тему, не было ничего неожиданного. Однако в предисловии к сборнику «Бунт военных поселян...» М. И. Семевский писал:

«Воспоминания Заикина, Панаева и Воинова изданы со списков, более исправных, нежели с каких некоторые из них были нами же прежде напечатаны в журналах».

Если записки Заикина и Воинова были действительно прежде напечатаны Семевским в «Заре» и «Отечественных записках», то записки Панаева после «Колокола» публиковались впервые.

Сверяя текст Панаева в «Колоколе» и в сборнике 1870 г., легко убедиться, что никакого «более исправного списка» этих воспоминаний М. Семевский не имел. За исключением нескольких мелких грамматических исправлений, тексты «Колокола» и сборника «Бунт военных поселян...» совершенно совпадают: по-видимому, замечание об «исправном списке» — маскировка... Есть все основания заподозрить Михаила Семевского в пересылке материалов Панаева в «Колокол». О том, что он доставлял различные материалы для «Полярной звезды» и других Вольных изданий, уже не раз писалось<sup>12</sup>.

К тому же историк роняет одну любопытную фразу по поводу других воспоминаний о бунте 1831 г. — записок капитана Заикина. «Рукопись, с которой печатается настоящий очерк, подарена пишущему эти строки лет десять тому назад ныне покойным его отцом; в молодости своей он служил, весьма, впрочем, короткое время, в военных поселениях».

Эти строки М. Семевский опубликовал в 1869 г., значит, записки получены от отца «лет десять тому назад», в конце 50-х годов, — как раз в то время, когда в «Колоколе» появились мемуары Панаева. Очевидно, отец М. И. Семевского интересовался историей военных поселений и собирал материалы. Скорее всего записки Панаева также были переданы М. И. Семевскому его отцом, псковским помещиком Иваном Егоровичем Семевским. Михаил Семевский же в свою очередь передал интересные мемуары издателем «Колокола» (сопроводив текст примечанием

<sup>12</sup> ТК, а также ИС, кн. III. М., 1971.



насчет того, почему Николай не давал хода Панаеву).

Рассказ Панаева (и опубликование его в «Колоколе») имеет непосредственное касательство к важнейшим пушкинским размышлениям.

3 августа 1831 г. Пушкин пишет «о возмущениях новгородских и Старой Русы»: «Убив всех своих начальников, бунтовщики выбрали себе других — из инженеров и коммуникационных. Государь приехал к ним вслед за Орловым. Он действовал смело, даже дерзко; разругав убийц, он объявил прямо, что не может их простить, и требовал выдачи зачинщиков. Они обещались и смирились. Но бунт старорусский еще не прекращен» (П. XIV. 205). Несколько позже он записывает известия о каком-то жандармском офицере, который «взял власть» над мятежниками и «успел уговорить их» не ездить в Грузино для расправы с Аракчеевым. «Он было спас и офицеров полка прусского короля, уговорив мятежников содержать несчастных под арестом; но после его отъезда убийства совершились» (П. XII. 200).

Только что в последних «болдинских» главах «Онегина» Пушкин простился с молодостью. Со старым будто покончено. В 1831 г. «юность легкая» прекращена женитьбой, переездом в Петербург, стремлением к устойчивому, положительному вместо прежних «шалостей» и отрицаний. Совершенно искренние иллюзии, жажда иллюзий в отношении Николая: «правительство все еще единственный европеец в России. И сколь бы грубо и цинично оно ни было, от него зависело бы стать стократ хуже. Никто не обратил бы на это ни малейшего внимания...» (Из письма к П. Я. Чаадаеву. 19 октября 1836 г. Черновик. П. XVI. 261). Новгородский и старорусский бунт кажется «бессмысленным и беспощадным», пугает как возможность гибели той цивилизации, которой он, Пушкин, порожден и частью которой уже является. Присматриваясь к разбушевавшейся народной стихии, он понимает, что у тех — своя правда, свое право, свой взгляд на добро и зло, выработанный барщиной, розгой и рекрутчиной.

Мысль о грядущих катаклизмах чрезвычайно занимает поэта, и он пробует их разглядеть.

Однажды великий князь Михаил Павлович рассуждал об отсутствии в России tiers état (третьего сословия), «вечной стихии мятежей и оппозиции». Пушкин возразил: «Что касается до tiers état, что же значит наше старинное дворянство с имениями, уничтоженными бесконечными раздроблениями, с просвещением, с ненавистью противу аристокрации и со всеми притязаниями на власть и богатства? Эдакой страшной стихии мятежей нет и в Европе. Кто были на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько же их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется, много» (Дневник А. С. Пушкина, запись от 22 декабря 1834 года. II. XII. 335). Мысль, что образованное меньшинство, составив революционную партию, может максимально усилить «первое новое возмущение», конечно, обдумана задолго до разговора с Михаилом.

Четверть века спустя А. И. Герцен напишет: «Первый умный полковник, который со своим отрядом примкнет к крестьянам вместо того, чтобы душиить их, сядет на трон Романовых». Герцен симпатизирует «умному полковнику».

Пушкин пристально интересуется всеми случаями такого рода — всеми «белыми воронами» — дворянами и офицерами, которые меняли лагерь и уходили к Пугачеву или другим бунтовщикам: таков Шванвич, сын кронштадтского коменданта — «из хороших дворян» (Алексей Швабрин в «Капитанской дочке»); таковы, по слухам, были начальники, выбранные новгородскими военными поселянами «из инженеров и коммуникационных»; из таких же, наконец, Дубровский (1832 г.).

Потом возникают и другие фигуры — реальные и вымышленные: дворяне, офицеры, насильно увлеченные в бунт, бунтовщики поневоле — полумифический «жандармский офицер», который будто бы умерял гнев новгородских поселян (мы, конечно, угадываем в нем черты Н. И. Панаева), и «совершенно реальный» Петр Андреевич Гринев<sup>13</sup>.

Летом 1831 г. много говорили о «силе духа импе-

<sup>13</sup> Ю. Г. Оксман. От «Капитанской дочки» к «Запискам охотника». Саратов, 1959, стр. 5—133.

ратора» и «усмирении с поразительным мужеством...». О бунтах поселян и других беспорядках не печатались почти ничего, но слухи о храбрости монарха распространялись и поощрялись. Приводились (устные, рукописные) доказательства — вполне убедительные<sup>14</sup>.

Царь храбрый или трусливый — это серьезный политический вопрос.

Собственно, никто никогда не объявлял противоположного — что царь трус. Он и не был трусом, но обстоятельства были темны, грязны, требовали «поэзии».

Высочайший манифест от 8 августа 1831 г. объявляет о беспорядках в Петербурге:

«Божией милостью мы, Николай первый, император и самодержец Всероссийский... и прочая, и прочая, и прочая... В столице в середине июня простой народ, подстрекаемый злонамеренными людьми, покусился насильственно сопротивляться распоряжениям начальства и пришел в чувство только тогда, когда личным присутствием нашим уверился в справедливом негодовании, с каким мы узнали о его буйстве...»

Бенкендорф записывал (опубликовано много лет спустя): «Государь приехал прямо в круг военных поселений и предстал перед собранными батальонами, запятнавшими себя кровью своих офицеров. Лицу ему не было видно; все преступники лежали распростертыми на земле, ожидая безмолвно и трепетно монаршего суда...»<sup>15</sup>

Сам Николай писал генералу П. А. Толстому (письмо, опубликованное в начале XX в.): «Я один приехал прямо в Австрийский полк [назван в честь австрийского императора], который велел собрать в манеже, и нашел всё на коленях и в слезах и в чистом раскаянии [...] Потом поехал в полк наследного принца, где менее было греха, но нашел то же рас-

<sup>14</sup> А. С. Пушкина информировал Н. М. Коншин — поэт и член секретной следственной комиссии по делам о новгородских бунтовщиках (Ю. Г. Оксман. От «Капитанской дочери» к «Запискам охотника», стр. 25—26).

<sup>15</sup> Н. К. Шильдер. Император Николай Первый, т. II. СПб., 1903, стр. 371.

каание и большую глупость в людях, потом в полк короля прусского; они всех виновнее, но столь глубоко чувствуют свою вину, что можно быть уверенну в их покорности. Тут инвалидная рота прескверная, которую я уничтожу. Потом — в полк графа Аракчеева; то же самое, покорность совершенная и раскаяние [...] Кроме Орлова и Чернышева, я был один среди них, и всё лежало ниц!..»<sup>16</sup>

Выстроенные и обмундированные самим императором, события получают право на существование. «Личное присутствие Наше» входит в историю официальную, однако еще не принято в тайную...

Среди пушкинских записей о мятежах 1831 г. находятся, между прочим, и следующие строки:

«26 июля 1831 г.: Вчера государь император отправился в военные поселения (в Новгородской губернии) для усмирения возникших там беспокойств... Кажется, все усмирено, а если нет еще, то все усмирится присутствием государя.

Однако же сие решительное средство, как последнее, не должно быть все употребляемо. [...] Чернь перестает скоро бояться таинственной власти и начинает тщеславиться своими отношениями с государем. Скоро в своих мятежах она будет требовать появления его как необходимого обряда. Доныне государь, обладающий даром слова, говорил один; но может найтись в толпе голос для возражения...» (П. XII. 199).

В заметках Пушкина многое: неприятие разгулявшейся народной стихии; призыв к правительству действовать умнее, не разрушая народной веры в царское имя, «таинственную власть»; опасение, что со временем в толпе найдется «голос для возражения»...

Может быть, Пушкин уже слышал о голосе некоего поселянина: «А что, братцы? Полно, это государь ли? Не из них ли переряженец?» Впрочем, больше ни в его сочинениях, ни в письмах — об этом сюжете ни слова. Кажется, ничего больше поэт не узнал и о начальнике бунтовщиков «из инженеров, коммуникационных, жандармов».

<sup>16</sup> Там же, стр. 780.

Полковник, позже генерал Николай Панаев, действовал в военных поселениях и прожил после того четверть века, не подозревая, что станет «печататься» в вольной газете революционеров. Не узнал он и о том, что начальник бунтовщиков «из инженеров» и ему подобные чрезвычайно интересовали Пушкина, явились поводом для важнейших его размышлений о тех дворянах, которые искренне или поневоле оказались или окажутся во главе подобного бунта: Дубровский, Гринев, Шванвич...

Бунты 1831 г. явились особым «введением» к «Истории Пугачевского бунта», а также к секретным пушкинским «Замечаниям о бунте», опубликованным только через четверть века в Вольной печати Герцена и Огарева.

Два приговора сопровождали Пугачева в могилу. Первый — «бунтовщику и самозванцу Емельке Пугачеву учинить смертную казнь, а именно: четвертовать, голову воткнуть на кол, части тела разнести по четырем частям города и положить на колеса, а после на тех же местах сжечь».

Второй приговор: «Внутреннее возмущение, беспокойствие и неурядица 1773 и 1774 годов [...] предать вечному забвению и глубокому молчанию»<sup>17</sup>.

Первый приговор был исполнен в Москве на Болотной площади 10 января 1775 г.

Второй не был исполнен никогда. Пугачев посмертно сделался неперемнным участником различных возмущений, политических дискуссий, бунтов, восстаний и революций, и примеры из 1850—1860-х годов были уже приведены выше.

В 1789 г. восстанет Франция, сотрясется Европа, и тот, кто задумывается о возможности подобных взрывов в России, не минет Пугачева<sup>18</sup>. Екатерина II скажет «с жаром и чувствительностью» про автора «Путешествия из Петербурга в Москву»: «он бунтовщик хуже Пугачева...» (хотя сам Радищев, между

<sup>17</sup> «Полное собрание законов Российской империи», т. XX. СПб., 1830, № 14275, стр. 85.

<sup>18</sup> Подробный обзор западной литературы конца XVIII—начала XIX в. о Пугачевском восстании см. в книге Г. Блока «Пушкин в работе над историческими источниками». М.—Л., 1949.

прочим, писал о «грубом самозванце» Пугачеве и его сторонниках как о людях, искавших «в невежестве своем паче веселие мщения, нежели пользу сотрясения уз»). В 1817 г., в короткое затишье между старыми и новыми мятежами, сенатор А. А. Бибииков в книге об отце, одном из главных подавителей крестьянской войны, напишет: «Пугачев... употребил те же меры и шел той же дорогой, коими впоследствии времени успевали в действиях своих к погубе и несчастью своего отечества и к всеобщему ужасу Мараты и Робеспьеры»<sup>19</sup>.

1816—1825 гг. — тень Пугачева на совещаниях и в спорах декабристов.

Никита Муравьев (вслед за «Рассуждением...» Д. И. Фонвизина): «Государство [...] которое мужик, никем не предводимый, может привести, так сказать, в несколько часов на самый край конечного разрушения и гибели»<sup>20</sup>.

Николай Бестужев: «В случае какого-либо переворота, и особенно ежели бы оный начался с низших сословий, быть готовым людям, могущим направить буйное стремление черни, которая никогда не знает сама, чего она хочет, чтобы, действуя совокупными силами и единодушно, остановить могущие от сего произойти неурейства и кровопролитие, как то обыкновенно случается при таковых происшествиях»<sup>21</sup>.

Когда же декабристы предстали пред Следственным комитетом, в Москву было послано предписание «доставить без огласки [...] все дело, производившееся в правительствующем Сенате обще с членами свейтейшего Синода и другими персонами о государственном преступнике Пугачеве»: для суда и казни в 1826 г. искали прецедентов в 1775 г.<sup>22</sup>

<sup>19</sup> А. А. Бибииков. Записки о жизни и службе А. И. Бибиикова. СПб., 1817, стр. 261—262.

<sup>20</sup> К. В. Пигарев. Рассуждение о непременных государственных законах Д. И. Фонвизина в переработке Никиты Муравьева. — ЛН, т. 60, кн. I. М., 1956, стр. 358.

<sup>21</sup> «Восстание декабристов», т. II. Л., 1926, стр. 71—72.

<sup>22</sup> Р. В. Овчинников. Пушкин в работе над архивными документами («История Пугачева»). Л., 1969, стр. 159 и сл. М. М. Сперанский, руководивший юридическим оформлением процесса и приговора над декабристами, рассмотрел с той же целью дело Мировича (1764 г.).



1830—1831 годы, может быть, самые пугачевские из прошедших 60 лет. Тогда (в 1770-х годах) — чума, теперь (1830-е) — холера; тогда и теперь для «черного народа» — худшие годы из плохих; тогда «военные громы» (Польша, Турция) ускоряли грозу на Урале и Волге; теперь — войны с Турцией, Персией, Польшей и мятежи, кровь — в Севастополе, Новгороде, Старой Руссе.

«Ведь не Пугачев важен, да важно всеобщее негодование», — писал А. И. Бибииков Д. И. Фонвизину в послании от 29 января 1774 г., впервые опубликованном Пушкиным в приложении к своей «Истории Пугачева» (П. IX. 201).

Чрезвычайное сходство 1770-х годов с 1830-ми было замечено, конечно, не одним Пушкиным, но вряд ли еще хоть один человек в стране мог представить, что вскоре «История Пугачева» будет написана и напечатана.

Тема Пушкин—Пугачев изучена неплохо, и последовательность событий в общем ясна.

Пушкина допускают в архивы, но первоначальный план — писать «Историю Петра» — вскоре откладывается на несколько лет, мысли постепенно возвращаются к недавним событиям. В 1832 г. начата, но не закончена повесть «Дубровский» — здесь уже «стихия мятежей»; с начала 1833 г. под видом занятий историей Суворова Пушкин принимается за Пугачева. Одновременно в переплетении с темой «1770-е—1830-е» (народный бунт тогда и теперь) появляется мотив «1790-е—1830-е годы»: Радищев, дворянская революция<sup>23</sup>. («Кто был на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько ж их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется много».)

Известно, что, пока книга не была готова, Пушкин продолжал маскировать свои намерения, боясь, как бы на Пугачева, «преданного всякому проклятию», не наложили нового запрета. Отъезд в пугачевские края — Поволжье, Урал — был объяснен властям подготовкой нового романа, «коего большая часть действия происходит в Оренбурге и Казани»

<sup>23</sup> Ю. Г. Оксман. От «Капитанской дочери» к «Запискам охотника», стр. 42—52, 73—76.

(П. XV. 70); как недавно установлено, Пушкин мистифицировал начальство нарочито неверными ссылками на свои архивные изыскания в Оренбургском, Нижегородском и других местных архивах, в то время как примерно 80 процентов материала для книги были «потихоньку» добыты из секретных документов Военной коллегии<sup>24</sup>.

Осторожничая, Пушкин знал, что делал: когда книга вышла, министр народного просвещения Уваров «кричал», по словам Пушкина, о «возмутительном сочинении» (в те времена слово «возмутительный» еще сохраняло свой первоначальный смысл — «имеющий отношение или призывающий к возмущению»). Как сообщал Пушкину И. И. Дмитриев, в Москве «дивились, как вы смели напоминать о том, что некогда велено было предать забвению. — Нужды нет, что осталась бы прореха в русской истории» (П. XVI. 18). Даже через полвека, в 1888 г., цензурный комитет воспротивился изданию «Истории Пугачева» для народного чтения, ибо «оно может быть читано в кабаках, на всех публичных местах и послужить предлогом для разнообразных толков и суждений»<sup>25</sup>.

Ясно понимая возможность всяких преград и придирок, Пушкин решил воспользоваться дарованным ему правом на царскую цензуру. Рукопись была представлена Николаю I. 17 января 1834 г. на балу царь заметил Пушкину по поводу Пугачева: «Жаль, что я не знал, что ты о нем пишешь, я бы тебя познакомил с его сестрицей, которая тому три недели умерла в крепости Эрлингфосской» (П. XII. 319)<sup>26</sup>. В тот день Пушкин, кажется, впервые поверил, что царь может пропустить его труд в печать. Вскоре рукопись вернулась к автору с 23 собственноручными замечаниями императора, которые в основном требовали смягчения отдельных характеристик, эпитетов.

<sup>24</sup> Р. В. Овчинников. Пушкин в работе над архивными документами («История Пугачева»), стр. 65, 72, 80.

<sup>25</sup> А. И. Чхеидзе. «История Пугачева» А. С. Пушкина. Тбилиси, 1963, стр. 157.

<sup>26</sup> На самом деле не «за три недели», а за 9 месяцев до этого разговора умерла «от болезни и старости лет» дочь Пугачева Аграфена.

Так, царю не понравилось, что Пугачев в одном месте назван «славным мятежником» (т. е. известным, знаменитым), что кое-где при описании побед Пугачева употреблены слова, невыгодные для престижа правительственных войск, и т. п.<sup>27</sup>

Наиболее существенной поправкой царя была перемена названия: не «История Пугачева», ибо Пугачев, по мнению высших властей, не имел истории, а «История Пугачевского бунта».

В общем Пушкин, несомненно, ждал худшего: больших и важных сокращений (как это было, например, при редактировании царем поэмы «Медный всадник») или требования коренной переделки (как это было с «Борисом Годуновым»). Однако царь разрешил публиковать «Историю Пугачева», еще и не прочитав рукопись до конца.

О причине такой снисходительности в наше время возникли ученые споры. Некоторые исследователи видели в Николае, пропустившем «Историю Пугачева», оплошного цензора (Г. П. Блок); Д. Д. Благой писал, что царь дал разрешение, «не разобравшись в существе пушкинского труда, удовлетворившись имеющейся в нем официальной фразеологией, словно бы свидетельствовавшей о политической «благонадежности» автора»<sup>28</sup>. Наконец, А. И. Чхеидзе полагала, что Пушкин ввел царя в заблуждение, сгладив некоторые острые места в представленной на высочайшее умотрение рукописи, а затем сделал ряд важных уточнений в корректуре.

Несколько лет назад, однако, сильно укрепилось иное объяснение событий. Н. Н. Петрунина сумела обосновать мысль, в свое время сформулированную еще М. Н. Покровским<sup>29</sup>:

«Пугачев был совершенно определенной фигурой

<sup>27</sup> Г. Г. Зенгер. Николай I — редактор Пушкина. — ЛН, т. 16—18. М., 1934, стр. 524—533; Н. Н. Петрунина. Вокруг «Истории Пугачева». — «Пушкин. Исследования и материалы», т. VI. Л., 1969, стр. 237—238.

<sup>28</sup> Д. Д. Благой. Предисловие к книге А. И. Чхеидзе ««История Пугачева» А. С. Пушкина». Тбилиси, 1963, стр. 7.

<sup>29</sup> М. Покровский. Пушкин-историк. — «А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в шести томах», т. V. М.—Л., 1931, стр. 13; Н. Н. Петрунина. Вокруг «Истории Пугачева», стр. 229—232.

на шахматной доске Николая. Им пугали помещиков, не желавших поступиться своими правами на личность крепостного [...] Через пять лет после смерти Пушкина Николай, проводя в Государственном совете закон об «обязанных крестьянах», будет напоминать своим дворянам, совсем в стиле своего историографа, о пугачевском бунте, показавшем, «до чего может достигнуть буйство черни». Николай, конечно, отнюдь не был против эксплуатации крестьянина помещиком, но даже и он понимал, что пора этой эксплуатации принять новые формы».

Действительно, многие документы 1830-х годов и более поздних лет свидетельствуют, что царь, стремясь предотвратить очевидную для него угрозу новой пугачевщины, не раз предостерегал дворянство и говорил о «зле крепостного права», впрочем тут же поясняя, что «отмена его при настоящих обстоятельствах есть зло еще большее»<sup>30</sup>. Н. Н. Петрунина в своей статье цитирует речь Николая I перед депутатами новгородского дворянства (1831 г.): «Приятно мне было слышать, что крестьяне ваши не присоединились к моим поселянам: это доказывает ваше хорошее с ними обращение; но, к сожалению, не везде так обращаются... Положение дел весьма нехорошо, подобно времени бывшей французской революции. Париж — гнездо злодеяний — разлил яд свой по всей Европе, и мы получили его, но позже всех, вероятно, потому, что мы для них потяжелее всех. Не хорошо. Время требует предосторожности». Николай I как бы принял библиковскую форму, дважды (в основном тексте и приложениях) повторенную Пушкиным: «Ведь не Пугачев важен, да важно всеобщее негодование». Царские опасения на руку Пушкину, глубинные мысли которого были иными, а иногда и противоположными воззрениям высочайшего редактора. Вопрос о том, чего хотел Пушкин, слишком значителен, чтобы рассуждать об этом «между про-

<sup>30</sup> Закономерным было также усиление интереса Николая I к опыту прошлого. С этим было связано и упорядочение государственных архивов в конце 1820-х — начале 1830-х годов с выявлением и отбором документов по освободительному движению XVIII—XIX вв. (Р. В. Овчинников. Пушкин в работе над архивными документами («История Пугачева»), стр. 28).

чим» (некоторые соображения будут развернуты ниже, в связи с разбором пушкинских «Замечаний о бунте»).

Полтора года было затрачено на «Историю Пугачева», причем с выходом ее работа не заканчивалась... Пушкин хотел написать о том, что интересовало и волновало, поделиться с мыслящим обществом своими идеями насчет важнейших событий прошлого и настоящего («одна только история народа может объяснить истинные требования оного». *П. XII. 18*); наконец, он желал, может быть, хоть немного повлиять на «сильных мира того»; поэт не упускал случая говорить «истину царям» с улыбкой или без улыбки... Прежде он добродушно посмеивался над няней, которая «70-ти лет выучила наизусть новую молитву о *умилении сердца владыки и укрощении духа его свирепости*, молитвы, вероятно, сочиненной при царе Иване»; посмеивался, но сам не раз пробовал «умилить» и «укротить» неумолимого владыку. В России, в ту пору и после, было немало умных, тонких людей, понимавших, что это ни к чему, и поэту не управлять царями. Однако Пушкин надеялся хотя бы на один шанс из тысячи, к тому же, если бы и такой надежды не было, все равно считал бы долгом откровенность (которая всегда при «великом характере») и продолжал бы преподносить «истину царям», хотя бы из чувства самоуважения.

В 1826 г., подавая царю (по его требованию) записку «О народном воспитании», он исходил из принципа, который позже изложил А. Н. Вульф: «Мне бы легко было написать то, чего хотелось, но не надобно же пропускать такого случая, чтоб сделать добро»<sup>31</sup>.

Согласно дневнику Пушкина, во время уже упоминавшейся беседы 19 декабря 1834 г. с великим князем Михаилом Павловичем «разговор обратился к воспитанию, любимому предмету его высочества. Я успел высказать ему многое. Дай бог, чтобы слова мои произвели хоть каплю добра!» (*П. XII. 335*).

«Нельзя пропускать случая, чтобы сделать добро...», «хоть каплю добра...» — это как бы невиди-

<sup>31</sup> Л. Майков. Пушкин. СПб., 1899, стр. 177—178.

мые эпиграфы (не единственные, не исчерпывающие, но необходимые!) к «Истории Пугачева». Впрочем:

Где капля блага, там на страже  
Иль просвещенье, иль тиран...

Само представление рукописи на просмотр царю было началом плана — «хоть каплю добра...». В худшем случае, если бы книгу запретили, она осталась бы «секретной запиской по крестьянскому вопросу»; почти все главные мысли, которые Пушкин несколько позже сконцентрирует в «Замечаниях о бунте», не предназначенных для печати, уже имелись в труде, отправленном в типографию.

Как известно, перед самым выходом книги М. М. Сперанский, наблюдавший за изданием, запросил подтверждения ранее данного царского соизволения на публикацию. Николай I отозвался, что тираж можно выдать Пушкину, «ежели ничего другого нет, как то, что я читал», после чего Сперанский представил в III отделение «для удобства сличения один печатный экземпляр сей истории». А. И. Чхеидзе обратила внимание на малый срок (менее трех дней), который отделяет эту записку от окончательного разрешения на выпуск книги, и заключила, что «сопоставление текстов было не слишком тщательным», а «смелость Пушкина, очевидно, притупила бдительность даже Бенкендорфа»<sup>32</sup>. Однако не исключено, что в этом случае шеф жандармов вообще не стал производить сличения, ограничившись честным словом Пушкина (ведь поэт рисковал головой, если бы царь обнаружил обман); наверное, не случайно не осталось никаких сведений о востребовании и возвращении Пушкину рукописи с царскими пометами. Если же беглое сличение все-таки было произведено, то Бенкендорф вполне мог поручить такую работу своему секретарю Павлу Ивановичу Миллеру, о доброжелательности которого к Пушкину — речь впереди.

Но еще до того, как из типографии II отделения собственной его императорского величества канцелярии был получен весь тираж «Истории Пугачевского

<sup>32</sup> А. И. Чхеидзе. «История Пугачева» А. С. Пушкина, стр. 150.



бунта», автор приготовил секретное дополнение к книге.

Первое упоминание о «Замечаниях...» находится в письме Пушкина к Бенкендорфу от 23 ноября 1834 г. Сообщая о том, что «История Пугачевского бунта» отпечатана, автор просил разрешения представить первый экземпляр книги царю, «присовокупив к ней некоторые замечания, которых не решился я напечатать, но которые могут быть любопытны для его величества» (П. XV. 201).

4 декабря 1834 г. начальник III отделения А. Н. Мордвинов отвечал Пушкину примечательным слогом: «Его величество соизволил отозваться, что изволит назначить время, в которое угодно будет его величеству вас принять» (П. XV. 202).

Надо думать, что в этот период «Замечания...» уже были Пушкиным составлены почти в том виде, как они известны теперь: каждое из 19 замечаний сопровождается отсылкой к соответствующим страницам первого издания «Истории Пугачевского бунта». Работа, очевидно, была закончена незадолго до 23 ноября 1834 г., вскоре после того, как Пушкин получил первый отпечатанный экземпляр (или последнюю корректуру) книги.

«История Пугачевского бунта» поступила в продажу около 28 декабря 1834 г., между тем обещанной аудиенции автор не получал и первого экземпляра царю уже поднести не мог.

Придавая большое значение своим «Замечаниям...» как для дальнейшей работы, так и для определенного воздействия на Николая, Пушкин не стал дожидаться и переслал рукопись царю при известном письме к Бенкендорфу от 26 января 1835 г.: «Честь имею препроводить к вашему сиятельству некоторые замечания, которые не могли войти в Историю Пугачевского бунта, но которые могут быть любопытны. Я просил о дозволении представить оные государю императору и имел счастье получить на то высочайшее соизволение» (П. XVI. 7).

Письмо это написано на бумаге совершенно того же типа, что и сами «Замечания...», и как бы составляет введение к ним.

Сообщая царю свои «Замечания...», Пушкин на-

деялся на успех просьбы, высказанной в том же послании Бенкендорфу от 26 января 1835 г. — «о высочайшем дозволении прочесть Пугачевское дело, находящееся в архиве».

Успокаивая Николая I представлением ему некоторых материалов «не для печати», Пушкин как бы доказывал тем свою благонадежность и право на ознакомление с другими, секретными материалами, «если не для печати, то по крайней мере, для полноты моего труда, без того несовершенного, и для успокоения исторической моей совести» (П. XVI. 8).

Таким образом, происхождение рукописи «Замечаний...» связано с далеко задуманным планом — получить доступ к секретным закрытым архивохранилищам, где сосредоточивались материалы о последних периодах Российской истории — XVIII и начале XIX столетия. Попытки Пушкина в этом отношении предвосхищают последующие исторические публикации Вольной печати Герцена и Огарева.

На пушкинском письме помета рукой Бенкендорфа удостоверяла получение рукописи царем: «Государь принял и велел его благодарить; позволяет Пушкину читать все дело и просит сделать выписку для государя, дать знать, где следует, должно быть министру юстиции» (П. XVI. 279). Помета Бенкендорфа сопровождается датой — «29 января 1835 г.».

С тех пор прошло почти полтора века... «Замечания о бунте» оставались секретом не слишком долго: появилось несколько копий, затем, в России и за границей, — первые печатные фрагменты. Наконец, стал известен полный текст, который уже около столетия помещается в собраниях пушкинских сочинений, но с пояснением, что публикуется по копиям, снятым разными людьми в разное время с «утраченного автографа».

Не потому ли «Замечания о бунте» цитируются в сотнях статей и книг, отлично известны всем, но ни разу не сделались предметом специального исследования? Хотя известный текст считался достаточно надежным, отсутствие автографа, рукописи, заверенной рукой Пушкина, все же порождало определенную сдержанность, особенно при анализе истории и текстологии «Замечаний...»: а вдруг копии не совсем со-

ответствуют подлиннику, упускают существенные дополнения? Не было еще случая, чтобы обретение прежде недоступных рукописей, даже самых известных и тысячекратно печатавшихся пушкинских работ, не вносило чего-либо нового в наши знания, представления об этих работах. И можно уверенно утверждать, что, не имея автографа «Гавриилиады», «Пиковой дамы», мы знаем об этих сочинениях много меньше, чем хотелось бы...

Через 135 лет после кончины Пушкина, 20 марта 1972 г., художница-пенсионерка Олимпиада Петровна Голубева доставила в Отдел рукописей Ленинской библиотеки материалы из семейного архива Миллеров. Среди рукописных документов Павла Ивановича Миллера оказалось десять автографов, 37 страниц рукописного пушкинского текста! Об этом примечательном событии уже писали газеты и журналы, в трудах Отдела рукописей Ленинской библиотеки появилось специальное исследование...<sup>33</sup> Десять автографов — это девять писем Пушкина (четыре — к П. И. Миллеру, одно — к В. А. Жуковскому и четыре — к А. Х. Бенкендорфу) и беловая рукопись «Замечаний о бунте».

Последняя — на пяти вложенных друг в друга больших двойных листах с водяным знаком «А. Г. 1834» — бумага производства фабрики Гончаровых, родственников Натальи Николаевны. Из 20 имеющихся страниц беловой текст, рукою Пушкина, занимает неполных 17. Заглавия никакого нет: возможно, оно когда-то было на обертке, но позже рукопись была вложена в двойной без всяких водяных знаков лист, где находятся следующие строки: ««Примечания к Истории Пугачевского бунта, написанные А. С. Пушкиным» (они не предназначались для печати, а были представлены государю) на семнадцати страницах. Получил их от А[лександр]а С[ергееви]ча в 1836 году. П. Миллер».

Павел Иванович Миллер (1813—1885), секретарь шефа жандармов графа Бенкендорфа, как и другие

<sup>33</sup> Н. Я. Эйдельман. Десять автографов Пушкина из архива П. И. Миллера. — «Записки отдела рукописей. Гос. библиотека СССР имени В. И. Ленина», т. 33. М., 1972.

чиновники из лицейских, относился к Пушкину с восторженным обожанием и несколько раз пытался помочь, облегчить положение поэта<sup>34</sup>. Так, в 1834 г. секретарь Бенкендорфа через общего лицейского приятеля Михаила Деларю предупреждает Пушкина, что ему грозит опасность: письмо поэта к жене, содержащее смелые рассуждения о трех царях и о наследнике, было перлюстрировано на московском почтамте и сообщено «наверх». Пушкин был столь же благодарен за дружеское предупреждение, сколь возмущен и оскорблен вторжением властей в его семейную переписку. Вскоре он попытается подать в отставку и покинуть двор, но будет вынужден взять свое прошение обратно. Вокруг этого эпизода завязывается переписка, которая в значительной степени тоже отложилась в бумагах Миллера. Между прочим, ознакомиться с секретными пугачевскими материалами из Военной коллегии Пушкину помог упомянутый лицейский приятель Михаил Деларю<sup>35</sup>.

Выше было высказано предположение, не Миллер ли ускорил в декабре 1834 г. сличение рукописи «Истории Пугачева» и печатных экземпляров... Но как оказался у секретаря Бенкендорфа автограф «Замечаний о бунте»? Согласно записи Миллера на обложке, Пушкин подарил ему рукопись в 1836 г., т. е. не меньше, чем через год после прочтения ее царем. Заметим, что никакой белой автокопии «Замечаний...» не сохранилось, и нужно понять, почему Пушкин, очень бережно относившийся к своим рукописям, вдруг подарил Миллеру единственный полный автограф столь серьезного документа. Трудно предположить, будто чиновник «замаскировал» ссылкой на Пушкина тот факт, что он просто сам забрал «Замечания...» из бумаг Бенкендорфа: в других случаях (см. ниже) Миллер не скрывал подобных своих действий. Куда легче объяснить этот дар, если иметь в

<sup>34</sup> Т. Г. Цявловская. Вокруг Пушкина. — «Наука и жизнь», 1971, № 6, стр. 74; Н. Я. Эйдельман. О гибели Пушкина (по новым материалам). — «Новый мир», 1972, № 3. См. также следующую главу.

<sup>35</sup> Р. В. Овчинников. Пушкин в работе над архивными документами («История Пугачева»), стр. 50—51.

виду какое-то отношение Миллера к движению самой рукописи.

Прочитав «Замечания...», царь мог оставить их у себя (как это было, например, с пушкинской запиской «О народном воспитании») или вернуть. Очевидно, работа была возвращена, а карандашные отчеркивания на полях как будто свидетельствуют об интересе, который вызвали у Николая I некоторые отрывки. Обратное движение «Замечаний...» шло, вероятно, тем же порядком, как и в других подобных случаях: переданное через Бенкендорфа через него же и возвращалось.

Мы не знаем, когда вернулась рукопись. Может быть, она «залежалась» и только в 1836 г. благодаря усилиям Миллера была извлечена из бумаг шефа жандармов? Не стараясь угадать все детали, можно, однако, допустить, что Миллер имел определенное касательство к возвращению автографа.

Сам факт такого пушкинского подарка Миллеру обнаруживает их близкие отношения в 1835—1836 гг. Однако не следует забывать, что Пушкин помнил о разных услугах, оказанных ему Миллером прежде, и по одной этой причине мог пойти навстречу просьбам или намекам бывшего лицеиста и влиятельного чиновника. К сожалению, напечатанные в «Русском архиве» и «Русской старине» воспоминания Миллера о знакомстве с Пушкиным ограничиваются 1831 и 1834 гг. и ни словом не касаются последующих лет. Не является ли это умолчание, в сопоставлении с записью о «подарке 1836 года», доводом в пользу каких-то нам не известных, не подлежавших оглашению контактов Пушкина и Миллера?

Автограф «Замечаний о бунте» совершил в первые годы некоторое путешествие, побывав, кроме Пушкина, кажется, в руках только трех лиц: Бенкендорфа, Николая I и Миллера.

П. И. Миллер писал о фактах, подробностях, касающихся Пушкина, что они «останутся всегда интересными для тех, кто обожал его как поэта и любил как человека»<sup>36</sup>.

<sup>36</sup> Из записки о дуэли и смерти Пушкина, также поступившей в марте 1972 г. в составе архива Миллера в Отдел рукописей Ленинской библиотеки.

Те, кто «обожал», «любил», — это, конечно, сам Миллер, Деларю, а также другие известные, малоизвестные и совсем неизвестные нам друзья, приятели и доброжелатели, кто не сумел спасти, но умел иногда помочь Пушкину или сохранить для себя и других некоторые его рукописи.

Миллер скончался в 1885 г. Рукопись «Замечаний о бунте» (как и другие пушкинские автографы из его собрания) перешла к племяннику генерал-майору Николаю Васильевичу Миллеру, затем к племянницам генерала (и внучатым племянницам П. И. Миллера) Марии Владимировне и Софье Владимировне Петерсен. По смерти С. В. Петерсен архив перешел к ее друзьям — сестрам Анастасии Петровне и Олимпиаде Петровне Голубевым; в марте 1972 г. О. П. Голубева, как уже говорилось, принесла рукописи в Ленинскую библиотеку.

Сейчас, почти через 140 лет после того, как «Замечания...» были переписаны и отправлены к царю, они — перед нами.

Текст, повторяем, известный, даже очень известный и в то же время новый; не потому, что там есть некоторые разночтения (о них скажем, но они невелики); обретенный автограф дает теперь повод заново перечитать «Замечания...» и заново подумать над каждой строкой.

Трижды упомянуто в пушкинских письмах и черновиках заглавие «Замечания о бунте», а не «Замечания о Пугачеве»: Пушкин, обращаясь к царю, принимает царскую формулировку — «История... бунта», но не уточняет (может быть, нарочно?), что «Замечания...» именно о «Пугачевском бунте». Действительно, в них много о бунте вообще — то, что относится не только к 1773-му, но и к 1831-му и последующим «бунтам».

Всего Пушкин сделал 19 отдельных замечаний и сопроводил их «Общими замечаниями».

1. «Стр. 16<sup>37</sup>. Пугачев был уже пятый самозванец, принявший на себя имя императора Петра III. Не

---

<sup>37</sup> Пушкин начинал каждое замечание со ссылки на соответствующую ему страницу первого издания «Истории Пугачевского бунта». СПб., 1834.



только в простом народе, но и в высшем сословии существовало мнение, что будто государь жив и находится в заключении. Сам великий князь Павел Петрович долго верил или желал верить сему слуху. По восшествии на престол первый вопрос государя графу Гудовичу был: жив ли мой Отец?»<sup>38</sup>

Пушкин сообщает царю щекотливые сведения об его отце, бабке и деде. Хотя о цареубийствах не сказано ни слова, но в нескольких строках дважды соединены Петр III и Павел I — жизнь или гибель Петра III, вопросы и сомнения Павла: оба убиты, о чем строжайше запрещено толковать и о чем толкуют непрерывно. Николая I как бы приглашают побеседовать о новом и новейшем периоде российской истории. Желание Пушкина вторгнуться в эти совершенно нетронутые области известно; еще в молодые, кишиневские годы он написал условно называемые «Заметки по русской истории XVIII века», где рассматривается период после смерти Петра I. В 1831 г. Пушкин просил разрешения заняться русской историей «от Петра Великого до Петра III». И здесь, в первом замечании, угадывается «пробный шар»: а вдруг царь заинтересуется, задаст вопросы о пяти Лже-Петрах, о тайне, окружавшей гибель Петра III? Осторожно, опасаясь усилить бдительность верховной власти, Пушкин приближался к хранившимся за семью печатями архивам недавних времен (Павел I, а, возможно, и декабристы...). Тема самозванца, неясного престолонаследия была, между прочим, «сюжетом» 1825 г.: ведь и тогда народу, даже верхам было многое неясно: Александр I — Константин — Николай — а позже Лже-Константины, легенды о скрывшемся императоре Александре, так же как прежде Павел I «в обличье» сибирского старца. Главнейшим же источником опасных, зловещих неясностей была вечная тайна, отсутствие гласности, невозможность открыто писать о секретной политической истории

---

<sup>38</sup> Некоторые слова в автографе написаны не совсем так, как их прежде (по копиям) публиковали в пушкинских сочинениях. Например, «самозванец» Пушкин написал с маленькой буквы (печаталось — с большой), зато «отец» (в последней строке) — с большой.

даже XVIII столетия. Пушкин отчасти оправдывает людей, пошедших за самозванцем: чего же от них требовать, если смерть Петра III была тайной для осведомленных придворных, даже для его сына? В основном тексте «Истории Пугачева», в том месте, к которому «привязано» замечание 1-е, говорится, что «самозванство показалось им [яицким заговорщикам] надежную пружиную. Для сего нужен был только прошлец дерзкий и решительный, еще неизвестный народу» (П. IX. 14). Выходило, что причина мятежа — в положении яицких казаков, способ же, форма выступления спровоцированы самой властью, безгласностью.

2. «Стр. 18. Пугачев говорил, что сама императрица помогла ему скряться».

По существу продолжение первого замечания. Хотя Пушкин отсылает Николая I к определенным местам своей книги и отдельные замечания, казалось бы, не связаны друг с другом, но автор «Истории Пугачева» понимает, что царь скорее всего не станет искать и перечитывать соответствующие страницы печатного издания. Поэтому отсылки к разным страницам, вернее всего, лишь повод для важных и в общем последовательных рассуждений; замечания можно читать подряд и не заглядывая при этом в «Историю Пугачева». Не случайно в беловом автографе Пушкин дважды забыл и после дописал «поверх строки» ссылки на соответствующие страницы книги.

Во 2-м замечании Пушкин снова пробует завести разговор «умного человека с умным человеком». Понятно, что мало-мальски осведомленному лицу версия Пугачева покажется смешным и вместе печальным парадоксом: Пугачев — «злодей» (по официальной терминологии), но маскируется выдумкой об участии к нему той самой императрицы, которая на самом деле свергла с престола и подготовила убийство своего мужа Петра III (цареубийство же по законам империи — «высшее злодейство»!).

3. «Стр. 20. Первое возмутительное воззвание Пугачева к яицким казакам есть удивительный образец народного красноречия, хотя и безграмотного. Оно тем более подействовало, что объявления, или публикации, Рейнсдорпа были писаны столь же вяло, как

*и правильно, длинными обиняками с глаголами на конце периодов».*

Поводом для этого замечания послужили следующие строки из «Истории Пугачева»:

«К ним [правительственному отряду] выехал навстречу казак, держа над головою возмутительное письмо от самозванца» (П. IX. 16).

В книге, на других страницах, рассказано о невразумительных «публикациях», т. е. воззваниях против Пугачева оренбургского губернатора Рейнсдорпа, и одно из них (как раз «с глаголом на конце») процитировано: «О злодействующем с яицкой стороны носится слух, якобы он другого состояния, нежели как есть» (П. IX. 23). В примечаниях к книге приведен и «удивительный образец народного красноречия, хотя и безграмотного...».

В отличие от первых двух замечаний здесь, как видим, нет существенно новых для царя секретных фактов, но есть «сгущенный», собранный в одном месте вывод из разных подробностей с разных страниц книги. По соседству и попеременно с секретными фактами Пушкин осторожно располагает важные мысли. В 3-м замечании намечена одна из главных тем представленной царю рукописи — противопоставление неумелой, нерешительной власти деятельному и решительному народу; осуждается недооценка возможностей «непросвещенной толпы» (если надо, появятся таланты, лидеры, чья безграмотность вдруг одолеет официальную ученость); царю дается один из древнейших в истории советов — привлекать к управлению лучших, умелых людей; разумеется, ирония насчет «глаголов на конце периодов» относится к начальству из немцев. Этот мотив усилится в следующих замечаниях, злободневность же его вряд ли требует доказательств: вокруг царя было достаточно важных немцев (Бенкендорф, Нессельроде, Канкрин), декабристская насмешка — «царь наш немец русский» — слишком памятна, столкновение русского и немецкого элементов, споры о русском национальном достоинстве — все это очень волновало Пушкина и относилось к важнейшим его размышлениям о судьбе народа и страны.

4. «Стр. 25. Бедный Харлов накануне взятия кре-

пости был пьян; но я не решился того сказать из уважения его храбрости и прекрасной смерти».

В этом и нескольких других случаях замечания посвящены отдельным деятелям той эпохи. Строки о Харлове, казалось бы, малозначительны для секретной записки, отосланной царю, но Пушкин, надо думать, не упустил случая подчеркнуть свое благоразумие и сдержанность (в отсутствии коих его так часто винули!). К тому же Пушкин знал специфический для дворянского монарха интерес к службе дворянина-офицера, представителя той или иной фамилии: упоминание о тогдашнем Харлове, Чернышеве, Нащокине и других сразу ассоциировалось с их нынешними потомками и включалось в оценку достоинств, чести рода. Замечание о Харлове отчеркнуто на полях карандашом, так же как еще девять пушкинских замечаний.

Кому принадлежат эти пометы? Движение рукописи: Пушкин—Бенкендорф—Николай I—Бенкендорф—Миллер.

Шеф жандармов не стал бы делать отчеркивания на записке, предназначенной для царя. Миллер, благоговейно относившийся к памяти поэта, вряд ли посмел бы «пачкать» его рукопись (хотя, как скажем после, одну карандашную поправку в пушкинском тексте он себе позволил).

Наиболее вероятной кажется принадлежность помет Николаю I. Правда, при сравнении этих отчеркиваний с другими известными пометами царя на представленных ему рукописях мнения специалистов разделились. Действительно, на полях «Медного всадника», «Истории Пугачева» царь выставил неоднократные «нота бене», знаки вопроса, делал краткие замечания и т. п. Однако не забудем, что в этих случаях Николай-редактор имел дело с сочинениями, предназначенными для печати; в «Замечаниях о бунте», составлявшихся не для печати, правка была ни к чему. Царь мог прочесть и принять к сведению. Видимо, первые три замечания не вызвали у него каких-то особых мыслей, ассоциаций, четвертое же потребовало пометы. Может быть, царь не знал подробностей гибели Харлова? Или это «знак одобрения» пушкинской сдержанности?

5. «Стр. 34. Сей Нащокин был тот самый, который дал пощечину Суворову (после того Суворов, увидя его, всегда прятался и говорил: боюсь, боюсь! он дерется). Нащокин был одним из самых странных людей того времени. Сын его написал его записки: отроду не читывал я ничего забавнее. Государь Павел Петрович любил его и при восшествии своем на престол звал его в службу. Нащокин отвечал государю: вы горячи и я горяч; служба в прок мне не пойдет. Государь пожаловал ему деревни в Костромской губернии, куда он и удалился. Он был крестник императрицы Елизаветы и умер в 1809 году».

Замечание, почти не связанное с текстом «Истории Пугачева». Генерал Нащокин упоминается в книге один раз в связи с тем, что находящемуся в Петербурге генералу Кару «велено было сдать свою бригаду генерал-майору Нащокину» (П. IX. 22) (в «Замечаниях...» в первом и третьем случаях Пушкин написал «Нащекину», а во втором — «Нащокину»). Даже здесь это упоминание генерала Нащокина выглядит искусственным: мало ли кто заменял в столице офицеров и генералов, посланных против Пугачева! В десятках других случаев Пушкин не считал нужным назвать соответствующих лиц, но здесь — как мог он «упустить случай» сделать «хоть каплю добра» сыну генерала Нащокина, своему любимому другу Павлу Воиновичу? Тем же желанием привлечь внимание царя к близкому человеку объясняется, бесспорно, уводящее в сторону от «Истории Пугачева» пушкинское — «сын его написал его записки».

Создав повод для разговора о Нащокине, автор «Замечаний...», впрочем, использовал его для напоминания о своих столкновениях с высшей властью. Он, конечно, имеет в виду себя и свой недавний конфликт с царем (1834 г., перлюстрация писем к жене, прошение об отставке), когда цитирует: «Вы горячи и я горяч; служба в прок мне не пойдет». На самом деле в воспоминаниях Нащокина, которые Пушкин в 1830 г. записал за Павлом Воиновичем, сказано еще круче: «Он горяч и я горяч, нам вместе не ужиться»; в «Замечаниях о бунте» равенство отношений царя и военного («нам вместе») несколько

ослаблено («мне в прок не пойдет») <sup>39</sup>. Перед нами почти новый вариант «Воображаемого разговора» Пушкина с Александром I («Но тут бы Пушкин разгорячился и наговорил бы мне много лишнего, я бы рассердился и сослал его в Сибирь...»). Впрочем, отец Николая I, как подчеркивает Пушкин, за смелый ответ не наказал Нащокина, а, наоборот, пожаловал ему деревни, «куда он и удалился». Николай же отнюдь не столь великодушен к горячему Пушкину: видать, прежде больше ценили таких людей, как генерал Нащокин (недаром он еще и крестник императрицы Елизаветы Петровны).

Беда стране, где раб и льстец  
Одни приближены к престолу...

Если бы Николай I отнесся к замечанию о Нащокине с тем вниманием, на какое рассчитывал Пушкин, он должен был бы заинтересоваться Павлом Воиновичем, которого поэт рекомендует, и запросить его Записки, коли уж сам Пушкин свидетельствует, что «отроду не читывал ничего забавнее». Но царь не заинтересовался Нащокиным и его Записок не запросил. На полях возле 5-го замечания — никакой карандашной отметки. Царь, преследующий, губящий Пушкина — очень часто в разных книгах и статьях этот мотив преподносится слишком прямолинейно, риторически. Но вот простой, обыденный факт: Пушкин «отроду не читывал... забавнее», а царь не замечает намека... За этой мелочью скрыто многое.

6. «Стр. 54. Чернышев (тот самый, о котором государыня Екатерина II говорит в своих записках) был некогда камер-лакеем. Он был удален из Петербурга повелением императрицы Елизаветы Петровны. Императрица Екатерина, вступив на престол, осыпала его и брата своими милостями. Старший умер в Петербурге комендантом крепости».

---

<sup>39</sup> Недавно обнаружена наиболее полная рукопись Записок Нащокина, написанная им самим. Публикация этих Записок (любезно сообщенных мне Е. П. Подъяпольской) подготовлена для пушкинского тома альманаха «Прометей». См. также спец. выпуск «Литературной газеты» и «Литературной России» — «Пушкинский праздник», 31 мая — 6 июня 1972 г.



Еще отрывок, посвященный одной исторической личности, на этот раз отчеркнутый карандашом. Снова, как и в замечаниях о Петре III, Павле I, Екатерине II, демонстрация пушкинского многознания о близких, недавних событиях, приглашение царя к разговору. В сдержанной форме автор напоминает об одном из фаворитов Екатерины II (удаление из Петербурга при Елизавете и последующая милость при Екатерине — ясное тому свидетельство). Между прочим, не скрывается знакомство с секретнейшими Записками Екатерины II, документом, к которому не имели доступа даже члены царствующей фамилии. Пушкин, как это видно из его дневника, давал свою копию записок на прочтение великой княгине Елене Павловне, которая «сходила от них с ума».

Если иметь все это в виду, можно понять, что Пушкин в своих «Замечаниях о бунте» делал серьезную заявку на занятия секретным XVIII в. и кое-чего добился: царь ведь не потребовал от него «выдачи» Записок Екатерины, и только после смерти поэта, ознакомившись с описью бумаг, распорядился насчет мемуаров своей бабки — «ко мне» — и тогда же принял меры к изъятию их у других лиц.

Впрочем, не упоминание ли о Записках вызвало карандашную помету на полях около 6-го замечания?

*7. «Стр. 55. Кар был пред сим употреблен в делах, требовавших твердости и даже жестокости (что еще не предполагает храбрости, и Кар это доказал). Разбитый двумя каторжниками, он бежал под предлогом лихорадки, лома в костях, фистулы и горячки. Приехав в Москву, он хотел явиться с оправданиями к князю Волконскому, который его не принял. Кар приехал в Благородное собрание, но его появление произвело такой шум и такие крики, что он принужден был поспешно удалиться. Ныне общее мнение если и существует, то уж гораздо равнодушнее, нежели как бывало в старину. Сей человек, пожертвовавший честью для своей безопасности, нашел, однако ж, смерть насильственную: он был убит своими крестьянами, выведенными из терпения его жестокостию».*

В одном этом отрывке (отчеркнутом карандашом читателя), как бы между прочим, высказано несколь-

ко важных пушкинских мыслей. Прежде всего о соотношении жестокости и храбрости, что в те времена естественно вызывало точные ассоциации: Аракчеев, военные поселения, трусливая жестокость в обращении с крепостными и солдатами. Вскользь замечено: «Ныне общее мнение если и существует, то уж гораздо равнодушнее, нежели как бывало в старину». Этой фразы не было в черновике — она, очевидно, внесена уже в последний момент, при окончательной переписке «Замечаний». Получалось, что за 60 лет «общее мнение» выродилось, захирело и в 1830-х годах с трудом обнаруживалось («если и существует...»).

Понятно, «общее мнение» — это прежде всего «дворянское мнение», но и дворянская честь вырождается (временщики, бюрократия...). Перед тем Пушкин занес в свой дневник несколько примеров шаткости, безнравственности современного ему «благородного сословия»: забаллотирование порядочного человека Н. М. Смирнова в Английском клубе, избрание двух неблагопристойных особ в «представительницы петербургского дворянства», история с пойманым в воровстве гвардейским офицером Бринкеном... Для Пушкина, разумеется, дело не в частности. Он иронически наблюдает за переживаниями Николая I и великого князя Михаила по поводу вырождения гвардии. Великий князь видит «упадок духа» гвардейских офицеров в том, что они во время дежурства посмели ужинать «в шлафроке», «без шарфа». Пушкин комментирует в дневнике насчет гвардии: «Но какими средствами думает он [Михаил] возвысить ее дух? При Екатерине караульный офицер ехал за своим взводом в возке и в лисьей шубе. В начале царствования А[лександр] офицеры были своевольны, заносчивы, неисправны. — а гвардия была в своем цветущем состоянии» (П. XII. 315).

Ясно, что дело не в шарфах и шлафроках, а в свободе, «общем мнении», которые были приговорены после 14 декабря 1825 г. вместе со своевольными гвардейцами — луниными, муравьевыми, якушкиными... «Или хочет он, — записывает Пушкин о царе, — сделать опять из гвардии то, что была она прежде? Поздно!» (П. XII. 315).

Снова, как и в «нащокинском» замечании, здесь подразумевается:

Беда стране, где раб и льстец  
Одни приближены к престолу...

Два года спустя в последнем письме к Чаадаеву (19 октября 1836 г.) Пушкин разбирал его «Философическое письмо» и, во многом не разделяя столь пессимистического взгляда на Россию, безусловно согласился только с одним: «Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние» (П. XVI. 172).

8. «Стр. 56. Императрица уважала Бибикова и уверена была в его усердии, но никогда его не любила. В начале ее царствования был он послан в Холмогоры, где содержалось семейство несчастного Иоанна Антоновича, для тайных переговоров. Бибиков возвратился влюбленный без памяти в принцессу Екатерину (что весьма не понравилось государыне). Бибикова подозревали благоприятствующим той партии, которая будто бы желала возвести на престол государя великого князя. Сим призраком беспрестанно смущали государыню и тем отравили отношения между матерью и сыном, которого раздражали и ожесточали ежедневные, мелочные досады и подлая дерзость временщиков. Бибиков не раз бывал посредником между императрицей и великим князем. Вот один из тысячи примеров. Великий князь, разговаривая однажды о военных движениях, позвал полковника Бибикова (брата Александра Ильича) и спросил, во сколько времени полк его (в случае тревоги) может поспеть в Гатчину? На другой день Александр узнает, что о вопросе великого князя донесено и что у брата его отымают полк. Александр Ильич, расспросив брата, бросился к императрице и объяснил ей, что слова великого князя были не что иное, как военное суждение, а не заговор. Государыня успокоилась, но сказала: скажи брату своему, что в случае тревоги полк его должен идти в Петербург, а не в Гатчину».

Самое большое из всех замечаний, впрочем не замеченное карандашом (царским?), — настойчивое, как и в предыдущих строках, напоминание о пользе для государства своеобразных, независимых деятелей — нащокиных, бибиковых: для пушкинского времени это люди вроде обиженного и отставленного Ермолова и других подозрительных, «не по ранжиру», лиц, преследуемых «подлой дерзостью временщиков».

В черновике Бибииков был еще современнее: «Свобода его мыслей и всегдашняя оппозиция были известны». Пушкин долго подыскивал здесь точные слова. Появляются и зачеркиваются: «свобода его мыслей и всегдашняя оппозиция были удивительны»; «также ему вредили...». Ниже начата и отброшена фраза: «Бибииков был во всегдашней оппозиции». Однако все это не попало в беловой автограф: слишком уж «известны» и «удивительны» царю пушкинская «свобода мыслей и всегдашняя оппозиция»...

Итак, замечание о Бибиикове, как видно, относилось не столько к «Истории Пугачева», сколько к положению дел, выбору людей 60 лет спустя. Напомним, что характеру Бибиикова уделено немало места в основном тексте книги, но в «Замечаниях...» нарочито кое-что повторено. «...Бибииков был брюзглив и смел в своих суждениях, — писал, между прочим, Пушкин. — Но Екатерина умела властвовать над своими предубеждениями. Она подошла к нему на придворном бале, с прежней ласковой улыбкою, и, милостиво с ним разговаривая, объявила ему новое его назначение. Бибииков отвечал, что он посвятил себя на службу отечеству, и тут же привел слова простонародной песни, применив их к своему положению:

Сарафан ли мой, дорогой сарафан!  
Везде ты, сарафан, пригожаешься;  
А не надо, сарафан, и под лавкою лежишь».

(П. IX. 32).

В 8-м замечании, уж в который раз, Пушкин заявляет и о своих огромных познаниях в самых недоступных, казалось бы, областях секретной истории: тайные переговоры в Холмогорах, влюбленность

Бибикова в принцессу Екатерину, столкновения между Екатериной II и Павлом... Сообщая царю эти подробности о его предках, полученные, очевидно, из «разговоров» (Дмитриев, Загряжская, Крылов), Пушкин, понятно (не без основания), предполагает, что Николаю многое из этого неизвестно. Между тем любой вопрос императора об одном из секретных сюжетов, просьба об уточнении могут открыть поэту-историку новые дороги в архивы. Не этим ли отчасти объясняется определенное сочувствие к Павлу (особенно в качестве наследника престола), хорошо заметное как в «бибиковском», так и в других замечаниях? Павел не знает, где его отец, преследуем и подозреваем матерью, раздражен и ожесточен подлостью временщиков, благородно обходится с генералом Нащокиным...

Пушкин много в ту пору размышлял и говорил о Павле I, «романтическом нашем императоре» (см. дневниковую запись от 2 июня 1834 г. — П. XII. 330). В числе его неосуществленных замыслов — драма «Павел I».

В то же время Пушкину известен интерес Николая I к царствованию отца, которого сын склонен идеализировать в противовес бабке, Екатерине II, вызывавшей у Николая неприязнь. «Судьба отца отменно занимала [Николая I] во всю его жизнь», — свидетельствовал многознающий П. И. Бартенев<sup>40</sup>.

После 8-го замечания в черновике шла прелестная миниатюра о бригадире Корфе (оплошавшем в битвах с Пугачевым), не включенная, однако, в перебеленный текст и оттого до сей поры очень мало известная (очевидно, Пушкин счел следующие строки слишком незначительными для «беседы с царем»): «Ив. Ив. Дмитриев описывал мне Корфа как человека очень простого, а жену его как маленькую и старенькую дуру; муж и жена открывали всегда губернаторские балы менаветом а' la geipe. Он в старом мундире Петра I-го, она в венгерском платье и в шляпе с перьями» (П. IX. 476).

Следующее, 9-е замечание, кроме интереса чисто фактического (из не опубликованных еще к тому

<sup>40</sup> «Русский архив», 1912, кн. I, стр. 313.

времени «Записок Храповицкого»). вероятно, ассоциировалось с ситуацией 1830—1831 гг.: опасения, что Франция и другие европейские страны поддержат восставшую Польшу, воспользуются внутренними российскими неурядищами.

9. «Стр. 73. Густав III, изъясняя в 1790 году все свои неудовольствия, хвалился тем, что он, несмотря на все представления, не воспользовался смятением, произведенным Пугачевым. — «Есть чем хвастать, — говорила государыня, — что король не вступил в союз с беглым каторжником, вешавшим женщин и детей!»».

Следующие три примечания представляются близко связанными по теме:

10. «Стр. 78. Уральские казаки (особливо старые люди) донныне привязаны к памяти Пугачева. «Грех сказать, — говорила мне 80-летняя казачка, — на него мы не жалуемся; он нам зла не сделал». «Расскажи мне, — говорил я Д. Пьянову. — как Пугачев был у тебя посаженным отцом». — «Он для тебя Пугачев. — ответил мне сердито старик, — а для меня он был великий государь Петр Федорович». Когда упоминал я о его скотской жестокости, старики оправдывали его, говоря: «Не его воля была; наши пьяницы его мutilили»».

11. «Стр. 82. И. И. Дмитриев уверял, что Державин повесил сих двух мужиков более из поэтического любопытства, нежели из настоящей необходимости».

12. «Стр. 84. Казни, произведенные в Башкирии генералом князем Урусовым, невероятны. Около 130 человек были умерщвлены среди всевозможных мучений! «Остальных, человек до тысячи (пишет Рычков) простили, отрезав им носы и уши». Многие из сих прощенных должны были быть живы во время Пугачевского бунта».

10-е замечание — о чрезмерных жестокостях Пугачева; в следующих двух — об излишних жестокостях властей, причем башкирские казни предшествовали пугачевским. Пушкин, разумеется, намекает на мстителей, которые «должны были быть живы во время Пугачевского бунта», и снова возвращается к этой мысли в «Капитанской дочке». Важное для



царя 12-е замечание отчеркнуто карандашом, так же как и предшествующее, где чрезмерное усердие правительственной партии иллюстрируется — и на каком «уровне»! Известный литератор и бывший министр И. И. Дмитриев сообщает о виселице, воздвигнутой еще более известным писателем (впоследствии тоже министром) Державиным «из поэтического любопытства»!...

Перед этим изложено мнение противоположной стороны — 80-летней казачки, Дениса Пьянова... Реально существующее, серьезное народное мнение представлено царю. Пушкин, конечно, смотрит на бунт иначе, чем уральские казаки, но одна из особенностей его художественного дара заключалась в умении взглянуть на факты глазами своих героев: будь то Сальери, Кирджали, Скупой рыцарь, Гринев, Пугачев, казаки — поэт и историк по законам «высшей мудрости» искал доводы и за них, даже в тех случаях, когда личность и поступок, несомненно, ему враждебны.

В «Истории Пугачева», в «Замечаниях...» трудно, невозможно разобраться, если все мерить одним вопросом: Пушкин за власть или за Пугачева? Подбирая факты (их немало) отрицательных описаний, характеристик, оценок (например, «скотская жестокость» Пугачева), можно легко построить (и строили!) схему — Пушкин, официальный историк, на стороне правительства. Подобрав ряд других фактов (например, замечания 11-е и 12-е о «невероятных» жестокостях власти), можно вычислить (и вычисляю) Пушкина-революционера, сторонника Пугачева.

Между тем надо бы не забывать, что Пушкин, размышляя, смотрит и «отсюда» и «оттуда»; видя, как права и не права «по-своему» каждая партия — старается приблизиться к высокой истине...

13. «Стр. 93. Князь Голицын, нанесший первый удар Пугачеву, был молодой человек и красавец. Императрица заметила его в Москве на бале [в 1775] и сказала: «Как он хорош! Настоящая куколка». Это слово его погубило. Шепелев (впоследствии женатый на одной из племянниц Потемкина) вызвал Голицына на поединок и заколол его, сказывают, изменчески. Молва обвиняла Потемкина...».

Снова — о «подлой дерзости» временщиков: Бибиков в опале, на подозрении, способный Голицын убит на дуэли происками Потемкина — разные способы удаления нежелательных людей...

Об этой истории вспомнили еще через несколько лет, после гибели на дуэли Пушкина и в связи с последней дуэлью Лермонтова. «Я говорю, — записал тогда П. А. Вяземский, — что в нашу поэзию стреляют удачнее, чем в Людвиг Филиппа [неудавшиеся покушения на французского короля Луи-Филиппа]: вот второй раз, что не дают промаха. По случаю дуэли Лермонтова князь Александр Николаевич Голицын рассказывал мне, что при Екатерине была дуэль между кн. Голицыным и Шепелевым. Голицын был убит, и не совсем правильно, по крайней мере, так в городе говорили и обвиняли Шепелева. Говорили также, что Потемкин не любил Голицына и принимал какое-то участие в этом поединке...»<sup>41</sup>

14. «Стр. 135. Замечательна разность, которую правительство полагало между дворянством личным и дворянством родовым. Прапорщик Минеев и несколько других офицеров были прогнаны сквозь строй, наказаны батогами и проч. А Шванвич только ошельмован преломлением над головою шпаги. Екатерина уже готовилась освободить дворянство от телесного наказания. Шванвич был сын кронштадтского коменданта, разрубившего некогда палашом в трактирной ссоре щеку Алексея Орлова (Чесменского)».

Поводом к этому замечанию послужила строка об «изменнике Минееве», который «загнан был сквозь строй до смерти» (П. IX. 66). В это время Пушкин много размышлял о современной и будущей роли дворянства в русской истории; не углубляясь сейчас в этот непростой сюжет, напомним только, что поэту не нравилось уравнивание разных категорий дворянства и расширение его состава. В беседе с великим князем Михаилом 19 декабря 1834 г. он заметил: «...Или дворянство не нужно в государстве, или должно быть ограждено и недоступно иначе, как по собственной

<sup>41</sup> П. А. Вяземский. Записные книжки. М., 1963, стр. 274.

воле государя. Если во дворянство можно будет поступать из других состояний, как из чина в чин, не по исключительной воле государя, а по порядку службы, то вскоре дворянство не будет существовать или (что все равно) все будет дворянством» (П. XII. 334—335).

Родовое достоинство, древние предки, аристократическая гордость — все это было для Пушкина одной из форм учреждения личной независимости. В этом смысле ему нравится, что Шванвича, который в войске Пугачева «один был из хороших дворян» (П. IX. 375), уже не бьют батогами и не гоняют сквозь строй; дворяне же, выслужившиеся из солдат, — «не хорошие дворяне»... Ниже, в «Замечаниях о бунте», Пушкин отметит: «Множество из сих последних были в шайках Пугачева». В черновике 14-го замечания находим: «Показание некоторых историков, утверждавших, что ни один дворянин не был замешан в Пугачевском бунте, совершенно несправедливо. Множество офицеров (по чину своему сделавшиеся дворянами) служили в рядах Пугачева» (П. IX. 478); затем Пушкин сократил этот отрывок и перенес его в конец «Замечаний о бунте». Так, не попал в окончательный текст «Замечаний...» анекдот о разрубленной щеке Орлова: как видим, не первый раз Пушкин освобождал важные дополнения к своей книге от сравнительно безобидных, занимательных отрывков.

В общем 14-е замечание — как бы другой, «царский» вариант разговора Пушкина с великим князем Михаилом о «стихии мятежей» в дворянстве: во времена Пугачева против правительства действовали почти одни личные дворяне; позже (т. е. 14 декабря и при «первом новом возмущении») стихия расширяется «с именными, уничтоженными бесконечными раздроблениями, с просвещением, с ненавистью против аристократии и со всеми притязаниями на власть и богатство». Шванвич — «один из хороших...». На Сенатской площади было уже много родовых дворян, даже Рюриковичи... Впрочем, Пушкин обрисовывал здесь уже не только дворянина-декабриста, но и разночинца...

Царю (как и великому князю) задается важная тема для размышлений: авторитет дворянст-

ва укрепляется его ограждением от других сословий, и это как будто необходимо первому дворянину-царю. Но старое дворянство «рассыпается», все более склоняясь к мятежам, выделяя из своей среды декабристов и грозя новыми мятежниками (Пушкин будто предчувствует Герцена, Некрасова, Каракозова, Перовскую...).

Николай заметил этот отрывок.

15. «Стр. 137. Кто были сии смышленные сообщники, управлявшие действиями самозванца? — Перфильев? Шигаев? — Это должно явствовать из процесса Пугачева, но, к сожалению, я его не читал, не смел его распечатать без высочайшего на то соизволения».

Снова, как в 3-м замечании («удивительный образец народного красноречия»), как в 7-м (победа двух каторжников «над генералом»), говорится о возможности появления способных вождей из народа в случае серьезного возмущения. О том же прямо было сказано в «Истории Пугачева»: «Редкий из тогдашних начальников был в состоянии управиться с Пугачевым или с менее известными его сообщниками» (П. IX. 67). Однако Пушкина не смущает, а, наоборот, радует возможность повториться в «Замечаниях...», сосредоточив внимание царя на нужной автору мысли.

Пушкин (это видно по его книге) немало узнал про сообщников Пугачева, но тут он не упускает случая возобновить просьбу об архивах, ранее уже дважды высказанную, и попутно подчеркнуть свою благонадежность («не смел распечатать без высочайшего соизволения...»). В предисловии к «Истории Пугачева» говорилось, что «будущий историк, коему позволено будет распечатать дело Пугачева, легко исправит и дополнит мой труд — конечно, несовершенный, но добросовестный» (П. IX. 1).

Как отмечалось, в письме к Бенкендорфу от 26 января 1835 г., сопровождавшем «Замечания о бунте», Пушкин просил пугачевское дело «если не для печати, то, по крайней мере, для полноты моего труда, без того несовершенного, и для успокоения исторической моей совести» (П. XVI. 8); теперь Пушкин просил о том же в третий раз.

В результате разрешение читать пугачевское дело было Пушкину дано, но об этом после...

16. «Стр. 138. Молодой Пулавский был в связи с женою старого казанского губернатора».

Пушкин знал, что царь вообще интересуется подобными деталями, к тому же речь шла о военнопленном поляке, жившем в Казани и переметнувшимся к Пугачеву.

17. «Стр. 145. В Саранске архимандрит Александр принял Пугачева со крестом и евангелием и во время молебствия на ектинии упомянул государыню Устинию Петровну. Архимандрит предан был гражданскому суду в Казани. 13 октября 1774 года, в полдень, приведен он был в оковах в собор. Его повели в алтарь и возложили на него полное облачение. Солдаты с примкнутыми штыками стояли у северных дверей. Протопоп и протодиакон поставили его посреди церкви во всем облачении и в оковах. После обедни был он выведен на площадь; ему прочли его вины. После того сняли с него ризы, обрезали волосы и бороду, надели мужицкий армяк и сослали на вечное заточение. Народ был в ужасе и жалел о преступнике. В указе велено было вывести Александра в одежде монашеской. Но Потемкин (Павел Сергеевич) отступил от сего, для большего эффекта».

Ошибочно написанное Пушкиным в первой строке слово «архиерей» перечеркнуто карандашом, сверху рукою П. И. Миллера карандашом написано «архимандрит».

Легко заметить, что большая часть этого отрывка посвящена не преступлению архимандрита Александра, а описанию издевательского обряда расстрижения. Противопоставлен «большой эффект», к которому стремился Павел Потемкин, и другой эффект, им достигнутый («народ был в ужасе и жалел о преступнике»). Пушкин, конечно, видел во всем этом подтверждение своих излюбленных мыслей о роли духовенства, которое «до Феофана<sup>42</sup> было достойно уважения», а затем «отстало» (из письма к Чаадаеву 19 октября 1836 г. — П. XVI. 172). Полагая, что духовенство не может в его нынешнем виде

<sup>42</sup> До Феофана Прокоповича (т. е. до Петра I).

помочь просвещению, и отмечая его раболепство, Пушкин еще решительнее высказался в черновике того же письма к Чаадаеву: «Духовенство [...] не принадлежит к хорошему обществу. Оно не хочет быть народом. Наши государи сочли удобным оставить его там, где они его нашли» (П. XVI. 261).

«Солдаты с примкнутыми штыками», стоящие у дверей алтаря архимандрит в оковах — все это вызывает у Пушкина чувства, известные нам по стихотворению «Мирская власть» (именно так можно было бы «озаглавить» и 17-е примечание):

Но у подножия теперь креста честного,  
Как будто у крыльца правителя градского,  
Мы зрим поставленных на место жен святых  
В ружье и киверах двух грозных часовых...

Замечание об архимандрите вызвало карандашную отметку.

18. «Стр. 157. Настоящая причина, по которой Румянцев не захотел отпустить Суворова, была зависть, которую питал он к Бибикову, как вообще ко всем людям, коих соперничество казалось ему опасным».

В черновике после этих строк было еще: «Вместо Суворова прислал он Щербатова. Императрица Екатерина не любила Румянцева за его низкий характер» (П. IX. 479). В конце концов Пушкин снял столь категорическое суждение о герое Ларги и Кагула, тем более что предыдущие строки и без того были достаточно красноречивы.

Любопытно, что зависть Румянцева противопоставлена в этом случае бескорыстию Бибикова, чей образ Пушкин идеализирует, возможно, намеренно.

Замечание отчеркнуто.

19. «Стр. 164. Падуров, как депутат, в силу привилегий, данных именованным указом, не мог ни в каком случае быть казнен смертию. Не знаю, прибегнул ли он к защите сего закона; может быть, он его не знал; может быть, судьи о том не подумали; тем не менее казнь сего злодея противузаконна».

В черновике после слов «он не знал» было еще острее: «Может быть, сама государыня о том не подумала. Тем не менее казнь сего злодея противузаконна. Вот один из тысячи примеров, доказывав-



ших необходимость адвокатов». Среди «тысячи примеров», безусловно, подразумевается один: никаких адвокатов не было у декабристов, да и суда в сущности не было: вполне достаточными были сочтены их показания на следствии.

«Как! Разве нас судили?» — воскликнул Пушкин, выслушав приговор.

«Тем не менее казнь сего злодея (сначала было «казнь его») противузаконна» — простая и ясная формула законности, о которой Пушкин не уставал вспоминать с юных лет:

И днесь учитесь, о цари...

.....  
 Склонитесь первые главой  
 Под сень надежную закона,  
 И станут вечной стражей трона  
 Народов вольность и покой...

Пушкин не знал того, что известно современным историкам: вопрос о неприкосновенности Падурова обсуждался судьями, но — решили сего предмета «не касаться»! Россия обходилась без адвокатов и присяжных в течение веков, предшествующих пушкинскому рассуждению, и еще 30 лет после него... Впрочем, 19-е замечание отмечено карандашом.

Среди черновиков, сохранившихся в бумагах Пушкина, отсутствуют «Общие замечания», как бы сводившие воедино все, что было сказано в книге о Пугачеве и 19 замечаниях к отдельным ее местам.

Возможно, Пушкин, придававший такое значение своему разговору с Николаем I, внес «резюме» сразу в беловую рукопись. При этом, судя по разному цвету чернил в завершающей части белового автографа, можно предположить, что «Общие замечания» создавались в два этапа.

Сначала были написаны первые два абзаца:

*«Весь черный народ был за Пугачева. Духовенство ему доброжелательствовало, не только попы и монахи, но и архимандриты и архиереи. Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства. Пугачев и его сообщники хотели сперва и дворян склонить на свою сторону, но выгоды их были слишком противоположны. (N<sup>o</sup> Класс приказных и чиновников был еще малочислен и решительно*

принадлежал простому народу. То же можно сказать и о выслужившихся из солдат офицерах. Множество из сих последних были в шайках Пугачева. Шванвич один был из хороших дворян.)

Все немцы, находившиеся в средних чинах, сделали честно свое дело: Михельсон, Муфель, Меллин, Диц, Деморин, Дуве *etc.* Но все те, которые были в бригадирских и генеральских, действовали слабо, робко, без усердия: Рейнсдорп, Брант, Кар, Фрейман, Корф, Валленштерн, Биллов, Декалонг *etc. etc.*»

По-видимому, на этом месте Пушкин первоначально хотел закончить свою работу, еще раз разделившись с немцами «бригадирскими» и «генеральскими» (вероятно, намек на то, что они полезнее для Российского государства в «средних чинах»). Двойное «*etc.*» говорило об очень многих, действовавших «слабо, робко, без усердия», или о том, что вообще еще многое можно было бы высказать царю...

Возможно, в последний момент, когда «Замечания...», пролежавшие неподвижно более двух месяцев, отправились «наверх», появились два последних абзаца, отличающиеся более светлыми чернилами:

«Разбирая меры, предпринятые Пугачевым и его сообщниками, должно признаться, что мятежники избрали средства самые надежные и действительные к достижению своей цели. Правительство со своей стороны действовало слабо, медленно, ошибочно.

Нет худа без добра: Пугачевский бунт доказал правительству необходимость многих перемен, и в 1775 году последовало новое учреждение губерниям. Государственная власть была сосредоточена; губернии, слишком пространные, разделились; сообщение всех частей государства сделалось быстрее, *etc.*».

В финальной части своей работы Пушкин ясно высказал те мысли, из-за которых во многом он и взялся писать «Историю Пугачева»: в стране две главные силы (однажды Пушкин выразился — «составы» государства) — правительство, народ; разумеется, общество, дворянство также принимается в расчет, но созидающие, разрушительные или консервативные возможности власти представляются в 1830-х годах неизмеримо большими (пушкинское «правительство — главный европеец в России...»).

Куда, в какую сторону направится эта сила, по Пушкину, вопрос еще не решенный: цивилизация, просвещение, европеизм — исторический курс, начавшийся реформами Петра I, дорог поэту, желающему сохранения и улучшения достигнутого. Но какова цена?

Народ «подавлен и раздражен», не дай бог привести его к последнему пределу — бунту, восстанию, пугачевщине.

Еще 26 июля 1831 г. Пушкин замечал по поводу холерных беспорядков в столице: «Дело обошлось без пушек, дай бог, чтоб и без кнута» (П. XIV. 181).

В дневнике 14 декабря 1833 г. (по «странному сближению» ровно через 8 лет после другого 14 декабря):

«Кочубей и Нессельроде получили по 200 000 на прокормление своих голодных крестьян. — Эти четыреста тысяч останутся в их карманах. В голодный год должно стараться о снискании работ и о уменьшении цен на хлеб; если же крестьяне узнают, что правительство или помещики намерены их кормить, то они не станут работать, и никто не в состоянии будет отвратить от них голода. В обществе ропщут — а у Нессельроде и Кочубей будут балы — (что также есть способ льстить двору)» (П. XII. 317).

История последних 60 лет открывала автору «Истории Пугачева» усиление стихии мятежей. Класс приказных и чиновников («разночинцы») вырос численно, дворяне уж побывали «на площади», черный народ тот же, что и был... Что же нужно сделать? Чего просит, чего хочет Пушкин, принадлежавший к дворянству, обществу, находившийся на государственной службе и видевший, знавший, слышавший мнение безмолствующего пока народа?

Реформы... Благодетельные реформы, их перечень легко вычлняется из текста «Замечаний...» — два последних абзаца толкуют о них прямо: «Пугачевский бунт доказал правительству необходимость многих перемен».

Дело не в том, что при Екатерине II последовали перемены «немногие», все больше по части укрепления государства и дворянства; 1773-й «доказал не-

обходимость...», как и 1825-й, 1831-й... Нужны крестьянские реформы — ограничение, смягчение (очевидно, в будущем — отмена) крепостного права, хотя в «Замечаниях...» о последнем — ни слова;

законность («адвокаты...», недопущение пыток);

гласность (Павел I, не знающий, жив ли его отец; вялые публикации Оренбургского губернатора...);

ограничение «подлой дерзости временщиков»;

в духе времени — усиление национального элемента в правительстве, ограничение роли немцев-самоуправников;

привлечение к управлению лучших, более независимых, более способных людей;

реформа церкви, духовенства...

«Необходимость многих перемен» — Пушкин намекает, просит, заклинает царя использовать свою гигантскую власть для существенных преобразований. Как вещая Кассандра, поэт видит вперед намного дальше, чем царь и правительство.

Между тем мы знаем теперь, что именно после 1830—1831 гг. Николай в сущности отказывается от сколько-нибудь серьезных реформ. Непосредственно после 14 декабря этот вопрос не был еще решен. Секретный комитет, образованный 6 декабря 1826 г., действительно рассматривал серьезные, коренные общественно-политические проблемы. Однако после российских, польских и западноевропейских потрясений 1830—1831 гг. царь напуган возможными последствиями уступчивости и утверждает в мысли — в корне ничего не менять: констатируя российское зло и неустройство (крепостное право прежде всего), он находит решительные перемены «при настоящих обстоятельствах... злом еще большим». Если же крупных реформ не будет, спокойствие крестьян, по Николаю, почти целиком будет зависеть от помещиков; в этой-то обстановке правительство, царь все громче будут обращаться к дворянству, предостерегая против чрезмерного жестокосердия, которое чревато новой пугачевщиной.

Хотя Николай I, в своих видах, считал полезной публикацию «предостерегающей» книги Пушкина, он шел при этом в другую сторону, нежели автор. В «Истории Пугачева» и «Замечаниях о бунте» дока-

зывается необходимость «многих перемен», царь же хочет сохранить все «как есть»: Пушкин пишет для реформ — царь печатает (вообще затевает разговор на крестьянскую тему) вместо реформ.

Пушкин советует — царь помечает карандашом любопытные строки («Общие замечания» тоже подчеркнуты) и возвращает рукопись. «Глас вопиющего...» Впрочем, сам Пушкин вряд ли рассчитывал на большой эффект, но «не надобно мне упустить такого случая, чтобы сделать добро», «каплю добра...».

Судьба «Истории Пугачева» и «Замечаний о бунте» сложна и не совсем исследована.

Пушкин не отпускал Пугачева: после «Истории...» завершается «Капитанская дочка».

«Рядом с своим историческим трудом, — писал лучший биограф поэта, — Пушкин начал по неизменному требованию артистической природы роман «Капитанская дочка», который представил другую сторону предмета — сторону нравов и обычаев эпохи. Сжатое и только по наружности сухое изложение, принятое им в истории, нашло будто дополнение в образцовом его романе, имеющем теплоту и прелесть исторических записок»<sup>43</sup>.

Интереснейшим и важнейшим обстоятельством является замечательно осмысленное М. И. Цветаевой отличие Пугачева в «Истории...» и в «Капитанской дочке». Можно не согласиться с увлеченным цветаевским «как Пугачевым «Капитанской дочки» нельзя не зачароваться, так от Пугачева «пугачевского бунта» нельзя не отвратиться»<sup>44</sup>. И в «Истории...» немало доводов за Пугачева — хотя бы многочисленные доказательства храбрости самозванца (вспомним: «Он ехал впереди своего войска. «Берегись, государь, — сказал ему старый казак, — неравно из пушки убьют». — «Старый ты человек, — ответил самозванец. — Разве пушки льются на царей?»»).

<sup>43</sup> П. В. Анненков. Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина. СПб., 1855, стр. 361.

<sup>44</sup> Марина Цветаева. Мой Пушкин. М., 1967, стр. 142.

Однако главное Цветаевой схвачено глубоко и верно: Пушкин справедлив, и в повести еще больше доводов за Пугачева<sup>45</sup>.

Одновременно с окончанием «Капитанской дочки» и после того Пушкин продолжает работать также над «Историей Пугачева». По просьбе, высказанной в «Замечаниях о бунте», он получает новые материалы — по удивительному историческому совпадению те восемь связок пугачевских дел, которые десятью годами ранее были представлены Сперанскому для оформления процесса над декабристами (Пушкину эта подробность, вероятно, была известна)<sup>46</sup>. При этом главные следственные материалы о Пугачеве и его сообщниках Пушкин все же не получил, возможно, из-за неупорядоченных архивов или оттого, что «архивные старцы» не открыли ему верных путей розыска<sup>47</sup>.

Однако работу теперь замедлял не столько недостаток архивов, сколько неуспех первого издания «Истории Пугачевского бунта». Как известно, автор мужественно объявил в своем «Современнике» (1836 г.), что ««История Пугачевского бунта», не имея в публике никакого успеха, вероятно, не будет иметь и нового издания» (П. IX. 379)<sup>48</sup>. «Ругают Пушкина за «Пугачева»», — записал в 1835 г. М. П. Погодин<sup>49</sup>.

Споры вокруг «Истории Пугачева», происходившие при жизни и после смерти ее создателя, имеют, как увидим, прямое отношение и к судьбе «Замечаний о бунте» — вплоть до появления их первых печатных публикаций.

<sup>45</sup> Н. Н. Петрунина в своей очень хорошей статье «Вокруг «Истории Пугачева»», разбирая соотношение двух пушкинских книг о восстании, к сожалению, не анализирует мотивы, указанные Цветаевой, — зачем Пушкин написал такого Пугачева в своей повести.

<sup>46</sup> Р. В. Овчинников. Пушкин в работе над архивными документами («История Пугачева»), гл. VI — «Архивные разыскания Пушкина в 1835—1836 годах».

<sup>47</sup> Там же, стр. 161—162.

<sup>48</sup> Тем не менее сохранилось свидетельство И. П. Сахарова, что Пушкин работал над «Пугачевым» и за несколько дней до кончины.

<sup>49</sup> «Пушкин и его современники», вып. 23—24. Пг., 1916, стр. 126.



Пушкинистов, конечно, занимал вопрос: почему книга Пушкина не имела успеха? Из воспоминаний и отзывов современников (недавно проанализированных Н. Н. Петруниной) видно, что было как будто две причины, обусловившие холодное отношение публики к «Пугачеву». Обе представлены в упоминавшемся письме И. И. Дмитриева от 10 апреля 1835 г.:

«Сочинение Ваше подвергалось и здесь разным толкам, довольно смешным, но никогда дельным [...] Дивились, как вы смели напоминать о том, что некогда велено было предать забвению [...] Большая часть лживых романтиков желали бы, чтоб История ваша и в расположении и в слоге изуродована была всеми припасами смирдинской школы и чтобы была гораздо погрознее» (П. XVI. 18).

Итак, во-первых, критика по политической линии, критика «справа», вместе с министром Уваровым находившая сочинение «возмутительным» и полагавшая, что о Пугачеве лучше вообще не вспоминать. Затем критика «по части художественной», с претензиями, отчего Пушкин не употреблял в своей книге краски «лживых романтиков»: ему пеняли, что «История...» без всяких размышлений (графиня С. В. Строганова); «писана вяло, холодно, сухо, а не пламенной кистью Байрона» (Б. В. Броневский).

Жуковский, Погодин и другие друзья, понимавшие замысел Пушкина, пытались защищать достоинства его труда. «Занимательное повествование. Простоты образец», — записывает Погодин. «Жуковский откровенно восхищался этим простодушием», — замечает с неудовольствием С. В. Строганова.

Давно доказано, что вторая, «художественная» критика была сплетена с первой: Броневский, требовавший «кисти Байрона», одновременно утверждал, что Пугачев у Пушкина не освещен «надлежащим светом». Эта связь с противоположных позиций была ясна и Белинскому. Разбирая слог, манеру Пушкина-историка, критик нашел, что «История Пугачева» писана «пером Тацита на меди и мраморе»<sup>50</sup>, и ясно

<sup>50</sup> В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. V, М., 1954, стр. 274.

дал понять читателю, что существует связь между стилем и сутью. «Об «Истории Пугачевского бунта», — писал Белинский, — мы не будем распространяться. Скажем только, что этот исторический опыт—образцовое произведение и со стороны исторической, и со стороны слога»<sup>51</sup>.

Тень Пугачева проводила Пушкина в могилу. Вяземский жаловался А. О. Смирновой на запрет русским писать о любимом поэте: «С Пушкиным точно то, что с Пугачевым, которого память велено было предать забвению»<sup>52</sup>.

Таковы в самом общем виде были споры о «Пугачеве» в 1830-х годах и позднее. Однако при разборе различных мнений об «Истории...», в частности в работе Н. Н. Петруниной, не хватает еще одного элемента.

Если «светская чернь», привыкшая к лжи и романтической прозе, никак не могла привыкнуть к Пушкину, если откровенные ретрограды искали в книге поводов для политических обвинений, что же говорила, как судила молодежь, например «юная Москва» 1830—1840-х годов: кружки Станкевича, Герцена, те свободные или освобождающиеся люди, которые не прекращали существовать, мыслить, сомневаться и в суровейшие николаевские годы? О Белинском только что упоминалось, но его статья написана уже после смерти Пушкина. А как эти молодые люди толковали в 1835 г.?

Сведений немного, причем в основном это отзывы более поздних 1840-х, даже 1850-х годов, отчасти воссоздающие то, что говорилось и думалось прежде. Однако даже то малое, что к нам дошло, открывает, что была критика слева, неудовлетворенность, непонимание пушкинского сочинения частью молодых. Этих людей, по-видимому, раздражали в книге отрицательные характеристики Пугачева и его сообщников, определения, как будто сходные с тем, что говорила на эту тему власть. При этом молодые критики, как правило, не считали идеалом торжество пугачевщины, но весьма критически относились к

<sup>51</sup> Там же, т. VI, М., 1955, стр. 578.

<sup>52</sup> «Русский архив», 1888, № 2, стр. 303.

«разрешенной» истории (см. выше о письме Чумикова Герцену).

Именно в то время, когда Чумиков заверял Герцена, будто новое издание Пушкина не требуется, — именно в эти месяцы приятель Герцена и Огарева П. В. Анненков готовил первое научное издание биографии и произведений поэта. Анненков в ту пору уже перевез в свое Симбирское имение переданный ему для издания сундук с пушкинскими рукописями, где, между прочим, находились обширные материалы к «Истории Пугачева».

Хотя книга Пушкина была некогда разрешена Николаем I, времена с тех пор переменились. Анненков, писавший в последние, самые холодные и глухие годы этого царствования, не вдавался в серьезные рассуждения об «Истории Пугачева», потому что за 15 прошедших лет крестьянский вопрос не только не был решен, но еще больше обострился, и книга Пушкина делалась все опаснее... Когда настала пора возвращать рукописи поэта его семье, Анненков отдал большие тетради, многие же отдельные листки, беловые и черновые, оставил у себя. Среди них оказались не только подготовительные материалы к «Истории Пугачева», но и черновики «Замечаний о бунте»<sup>53</sup>; впрочем, на них не было обозначено, для чего они делались и куда был отправлен беловик... Знал ли Анненков, расспрашивавший о Пушкине всех, кого только мог, про секретные «Замечания...», переданные царю? Скорее всего знал. Понятно, в труде, проходившем цензуру за несколько месяцев до кончины Николая, — о том ни слова...

Сама рукопись «Замечаний...», между тем, мирно лежала у Павла Миллера, который вскоре после смерти Бенкендорфа (1844 г.) вышел в отставку и поселился в Москве, сначала в Скатертном, потом в Гнездиновском переулке. Как видно, страх наказания не очень одолевал бывалого Миллера, и он не держал пушкинский манускрипт за семью печатями. Копии с белого автографа «Замечаний...» известны уже с 1840-х годов. Датой «28 октября

<sup>53</sup> Позже от Анненкова эти материалы поступили к академику Л. Н. Майкову, а от того — в Пушкинский дом.

1847 года» сопровождается список С. Д. Полторацкого<sup>54</sup>. Хотя он был напечатан в «Русской старине» с большими купюрами, но, как можно судить по сохранившейся части публикации, довольно точно отражает подлинник. Заглавие списка близко к миллеровскому: «Примечания к истории Пугачевского бунта А. С. Пушкина, им писанные и оставшиеся в рукописи».

Вероятно, в 1840-х годах снял копию и крупный чиновник И. П. Шульгин, которому Миллер мог доверить рукопись как бывшему своему лицейскому профессору. Обладал, наконец, копией Николай Васильевич Путята, приятель Пушкина, родственник Баратынского и Тютчева. На этой копии имеется несколько пояснительных строк: «Следующие примечания к Истории Пугачевского бунта, сочиненной А. С. Пушкиным, остались в рукописи. Я списал их с манускрипта, писанного рукой Пушкина и сообщенного мне г. М[иллером], который был секретарем у гр. Бенкендорфа».

Путята, владелец знаменитого Мураново, внес копию в свою записную книжку, очевидно, в начале 1850-х годов<sup>55</sup> (по этой копии в 1940 г. «Замечания...» напечатаны в академическом собрании сочинений Пушкина).

Между тем Анненков, закончивший свое 6-томное издание Пушкина еще в 1855 г., печатает VII, дополнительный том (1857 г.), куда вошло кое-что прежде запретное. Однако оставалась обширная Пушкиниана, не разрешенная к опубликованию. Т. Г. Зенгер предположила, что Анненков передал некоторые тексты Герцену<sup>56</sup>. Действительно, П. В. Анненков был в числе первых корреспондентов Вольной типографии. Однако, прежде чем посылать материалы в Лондон, друзья Герцена пытались выпустить их в

<sup>54</sup> «Русские достопамятные люди» (рукопись из собрания С. Д. Полторацкого). — «Русская старина», 1892, № 7, стр. 5—8.

<sup>55</sup> Записная книжка хранится ныне в ЦГАЛИ, ф. 394 (Н. В. Путята), оп. 1, № 46. В ней находятся записи 1840—1850-х годов. Копии «Замечаний...» предшествует выписка из «Revue de deux mondes» за 1852 г. (л. 33).

<sup>56</sup> ЛН, т. 16—18, стр. 526.

свет по частям, в отдельных легальных периодических изданиях, поскольку новая книга «потаенного» Пушкина проходила бы через цензуру с большими затруднениями. Анненков предоставил еще не напечатанные пушкинские тексты, находившиеся в его распоряжении, энергичному и смелому ученому Евгению Ивановичу Якушкину, сыну декабриста, фактическому руководителю декабристской артели в период после окончания ссылки<sup>57</sup>.

Якушкину удалось сделать немало. В 5-м и 6-м номерах прогрессивного московского журнала «Библиографические записки» в форме развернутой рецензии на анненковское издание Пушкина была напечатана большая статья Якушкина «Проза А. С. Пушкина. Библиографические замечания по поводу последнего издания сочинений поэта». Автору удалось как бы «между прочим» ввести в текст рецензии часть неопубликованных отрывков пушкинской прозы, публицистики, дневников. Дошло дело и до «Истории Пугачева». Осторожно и умело Якушкин намекнул на трудности изучения такого рода сюжетов и особенности пушкинской работы: «Официальный характер Истории Пугачевского бунта дал Пушкину возможность передать события в необходимой полноте, с теми подробностями, которые так трудно узнать русскому историку, описывающему эту эпоху, не столько по скудости материалов, сколько по характеру самих происшествий»<sup>58</sup>. Усыпляя власти, Якушкин далее объяснял существование неопубликованных отрывков «Истории...» только тем, что они посвящены будто бы «лицам второстепенным, происшествиям мелким», которые «не могли занять места в сочинении, не нарушив соразмерности его частей». Замысел Якушкина, как видно, удался, потому что далее следует текст «Замечаний о бунте», касавшийся важных лиц и происшествий.

Приглядимся к этим отрывкам. Разумеется, ни слова не сказано о том, что они предназначались для Николая I, и это, наверное, мера предосторожности.

<sup>57</sup> Об этой деятельности Е. И. Якушкина подробнее в ТК, особенно в главах 1, 8, 9-й (см. по именному указателю).

<sup>58</sup> «Библиографические записки», 1859, № 6, стб. 179.

Якушкин сумел в той статье напечатать (полностью или частями) 13 отрывков. При этом в четырех случаях воспроизводится точный или несколько неточный (в духе тогдашней текстологии) черновой текст пушкинских «Замечаний о бунте»: о казнях, произведенных генералом Фрейманом в Башкирии (замечание 12), о Румянцеве (замечание 18), о Густаве III (замечание 9) и анекдот о разрубленной щеке Орлова, оставшийся только в черновике; в четырех других случаях явно приводится текст, восходящий к беловому, «миллеровскому» автографу: о гибели Харлова (замечание 4), о генерале Каре (замечание 7), о саранском архимандрите (замечание 17) и часть «Общих замечаний». В одном случае точно воспроизведен рассказ Н. Свечина о «немецких указах Пугачева», писанных рукою Шванвича (П. IX. 498). Однако этот отрывок находится не в «Замечаниях о бунте», а среди пушкинских подготовительных материалов к «Истории Пугачева». Наконец, в четырех случаях Якушкин осуществляет собственную, или находившуюся в его первоисточнике, контаминацию различных текстов: так, черновой вариант замечания о братьях Чернышевых (замечание 6) продолжен записью о них же, сделанной Пушкиным за И. И. Дмитриевым и находящейся в «Материалах» (П. IX. 497; последний абзац). То же — в рассказе о Державине: отрывок из «Материалов» (пушкинская запись за сенатором Барановым) плюс черновик 11-го замечания. В отрывках о депутате Падурове (замечание 19) и дворянстве (замечание 14) соединены черновые и беловые редакции. Несколько раз ссылка на беловой текст дается как на «другой список». Так, Якушкин сообщает, что «в некоторых списках вслед за этими рассмотренными нами дополнениями к «Истории Пугачевского бунта» следует небольшая статья под общим заглавием «Общие замечания». Выписываем из нее окончание...». Напомним, что среди пушкинских черновигов «Общие замечания» о бунте не сохранились. Таким образом, Якушкин уже располагал не только текстами черновых пушкинских «Замечаний...» и «Материалов» — их он легко мог получить от Анненкова, — но и списками с автографа белового. Копии, снятые к тому вре-



мени несколькими людьми у Миллера, были «недалеки» от Анненкова и Якушкина: они оба знали известного библиографа и обладателя одной из рукописей С. Д. Полторацкого; на одном экземпляре VII, дополнительного тома анненковского издания пушкинские «Замечания...» приписаны рукой П. А. Ефремова, человека очень близкого к Е. И. Якушкину и кругу «Библиографических записок...».

Пушкинские «Замечания...» звучали в 1859 г. весьма актуально. Недаром из фразы о генерале Каре, который «был убит своими крестьянами, выведенными из терпения его жестокостью», в печать проходит только: «он был убит...»<sup>59</sup>. Невозможно было напечатать и замечания Пушкина, относившиеся к Петру III, Екатерине II, Павлу, — например, о том, что «Пугачев был уже пятый самозванец, приявший на себя имя Петра III». Не могло пройти в печать и начало «Общих замечаний» — о том, что почти все население страны было за Пугачева, и т. п.

Выполнив с блеском задачу ознакомления русской публики с важными материалами «вокруг Пугачева», опубликовав, в частности, больше половины секретных «Замечаний о бунте», Е. И. Якушкин, по-видимому, переправил верный список непрошедших в печать текстов в Лондон, к Герцену.

«Примечания А. Пушкина к Истории Пугачевского бунта» попали в VI книгу «Полярной звезды»<sup>60</sup> как один из семи разделов довольно больших «Материалов для биографии А. С. Пушкина». Разбор материалов показал, что главным составителем их был Евгений Иванович Якушкин, доставил же статью в Лондон скорее всего А. Н. Афанасьев летом 1860 г.<sup>61</sup>

Так же, как прежде в «Библиографических записках», литераторы представили в «Полярной звезде» не простой свод неопубликованных пушкинских строк, но публикацию-статью.

В руках тайных корреспондентов Герцена, несомненно, находились тексты как беловых «Замечаний

<sup>59</sup> Там же, стб. 180.

<sup>60</sup> ПЗ, VI. Лондон, 1861, стр. 128—131.

<sup>61</sup> ТК, гл. IX.

о бунте», так и черновых. К строкам «первое возмущительное воззвание Пугачева [...] есть удивительный образец народного красноречия, хотя и безграмотного» указан в примечании черновой вариант — «...несмотря на грамматические ошибки». Примечание о Бибикове начато по черновику Пушкина, а белые строки в этом случае попали в «варианты»<sup>62</sup>. Вообще особенности текстологии здесь точно такие же, как и в только что описанной публикации «Библиографических записок». Это естественно, потому что оба материала подготовлены одними и теми же людьми».

Всего в «Полярную звезду» попало десять «Замечаний о бунте», (1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 14, 15, 16-е), а также «Общие замечания»<sup>63</sup>.

Кое-какие строки, напечатанные в «Полярной звезде», появлялись и двумя годами ранее в «Библиографических записках», но в основном Герцен и Огарев публиковали как раз те фрагменты, которые Е. И. Якушкин не смог провести в легальную печать. Впервые печатались пушкинские замечания о Петре III, Екатерине II, Павле, о «смышленных сообщниках» Пугачева; эпизод с генералом Каром подавался в «Полярной звезде» следующим образом: «Генерал Кар, так позорно кончивший свое поприще, был в одно время и зверь и трус по характеру; о последнем намекают слова Пушкина<sup>64</sup>: отличившийся в Польше твердым исполнением строгих предписаний начальства».

Между тем у Пушкина буквально такой фразы нет, но говорится о твердости и жестокости Кара, «что еще не предполагает храбрости». В черновике

<sup>62</sup> ПЗ, VI, стр. 129: «Бибиков [...] был послан в Шлиссельбург для переговоров с несчастным семейством Иоанна» (как в П. IX, 475—476), а к этому указан вариант: «... в Холмогоры, где содержалось семейство несчастного Иоанна Антоновича, для тайных переговоров» (ср. П. IX. 372).

<sup>63</sup> Заглавие «Общие замечания» находится в «Полярной звезде» не на своем месте — перед 10-м и следующими замечаниями.

<sup>64</sup> До этого места цитата набрана в «Полярной звезде» мелким шрифтом, чем подчеркивалось ее происхождение не от Пушкина, а от корреспондентов.

затем следовало: «[В Польше...] в Радоме он был стражем Радзивила» (П. IX. 475). Корреспонденты Герцена, как видно, «заострили» пушкинскую мысль в унисон современным событиям: 1861 год, борьба за освобождение крестьян и Польши...

«Общие замечания», начинаясь в «Полярной звезде» с громких строк — «весь черный народ был за Пугачева», резко, на полуслове, обрывались как раз в том месте, за которым шел текст, напечатанный в «Библиографических записках». «Разбирая меры...» — так кончалась публикация «Полярной звезды», а затем шло любопытное послесловие:

«История Пугачевского бунта была ценсирована самим государем, который читал ее весьма внимательно. В одном месте, после рассказа о взятии князем Голицыным крепости Татищевой и совершенном там поражении Пугачева, Пушкин рассказывает, что в пору весенней оттепели, тела убитых под Татищевой плыли по Яику и были узнаваемы женами и матерями убитых; в то же время старая казачка, мать Степки Разина, беспрестанно останавливала костью плывшие трупы и, не узнавая своего Степушки, снова отталкивала их от берега. Государь написал карандашом: «Лучше выпустить, ибо связи нет с делом». Пушкин отнес рассказ в примечание, но скрыл имя казачки (см. примеч. 17 к V главе). В двух других местах государь поставил по вопросительному знаку перед двумя прилагательными: «так бедный колодник, за год тому бежавший из Казани, отпраздновал свое возвращение» [...]; «Суворов с любопытством расспрашивал славного мятежника о его военных действиях»... *Бедный* и *славный* переименованы на *темный* и *пленный*. Стоит упомянуть, что одна из глав была вложена в лист бумаги, на котором были написаны слова: «Креницины Петр и Александр». Как бы досадуя на подобное небрежение при представлении рукописи, государь подчеркнул их и подписал: «Что такое?» Сам по себе Пушкин выпустил окончание письма Бибикова (февр. 1775 г.), которое свидетельствует о мрачном взгляде, с каким он смотрел на происходящее: «Ой да работка! Один всевышний да будет помощник! Однако работаю и рабо-

тать буду до положения риз. Твори бог волю свою»<sup>65</sup>.

Как видно, автор этого текста хорошо знает рукописи «Истории Пугачева». Впервые на страницах печатного издания появились подробности о «ценсировании» Николаем I пушкинского сочинения. Публикуя в 1934 г. полный свод царских поправок к «Истории Пугачева», Т. Г. Зенгер (Цявловская) писала: «Впервые появились в печати четыре замечания Николая I (почему только четыре?) в герценовской «Полярной звезде» на 1861 г. Эти замечания Николая I тогда же были перепечатаны Гербелем в Берлине, а в России они появились впервые в 1878 г. Затем сведения о редакции Николая I точно исчезли из оборота исследователей лет на семьдесят»<sup>66</sup>.

Герцену были сообщены только четыре замечания царя. Наверное, потому, что именно в них был известный политический заряд (правительственный террор, сочувственные Пугачеву «эпитеты» Пушкина...). Якушкин и Афанасьев, стремясь напечатать неизвестные пушкинские тексты, как мы видели, не придерживались слишком строгих научных рамок. Герцен и Огарев, понятно, тоже предпочитали материал, созвучный битвам 1861 г. В общем «Замечания о бунте», опубликованные тогда в легальной и Вольной русской печати, заняли свое место в сложной смеси современных и исторических, литературных, политических и других материалов, питавших умы в тот горячий период российской истории. Сложив строки из «Библиографических записок» и «Полярной звезды», читатель мог бы уже тогда составить единый текст «Замечаний о бунте», где, впрочем, были бы перемешаны беловые и черновые варианты. Более строгие, «спокойные» публикации появятся позже. Через девять лет в «Заре», известном консервативном журнале, связанном с именем Н. Н. Страхова, а также Ф. М. Достоевского, впер-

<sup>65</sup> ПЗ, VI, стр. 131. Дата письма Бибикова неверна: следует «февраль 1774 г.».

<sup>66</sup> ЛН, т. 16—18, стр. 526.

вые печатается полный, довольно исправный текст «Замечаний о бунте» по списку И. П. Шульгина<sup>67</sup>.

Любопытно, что через 22 года в «Русской старине» перепечатка текста того же документа по списку Полторацкого была разрешена с большими купюрами<sup>68</sup>: во время контрреформ Александра III пушкинские мысли о крестьянских восстаниях и необходимых переменах были «не по погоде».

Несколько позже «Замечания...», по разным копиям, начинают постепенно включаться в издания пушкинских произведений...

Пушкин не думал о потомках-читателях, когда набрасывал свои «Замечания...». Но рука, писавшая в те же времена и другие строки, стихи, прозу, попутно, как бы между прочим, не могла не внести в документ временный частицу вечного. И мы находим в пушкинских замечаниях мысль, беспокойство, борьбу, страдание «за каплю добра».

Доказывая, что «История Пугачева» должна быть опубликована, Пушкин замечал: «Историческая страница, на которой встречаются имена Екатерины, Румянцева, двух Паниных, Суворова, Бибикова, Михельсона, Вольтера и Державина, не должна быть затеряна для потомства».

Рассматривая теперь 17 страниц белой пушкинской рукописи «Замечаний о бунте», мы можем оценить это сочинение перефразированными пушкинскими строками: не могла быть затеряна для потомства литературная и историческая страница, на которой и близ которой встречаются люди и события целого столетия — Герцен, Белинский, Анненков, Якушкин, десятки государственных и военных деятелей XVIII и XIX вв., Пугачев и его смысленные сообщники, крестьяне, казаки — все, соединенные светлой мыслью Пушкина.

<sup>67</sup> «Заря», 1870, декабрь, стр. 418—422.

<sup>68</sup> «Русская старина», 1892, № 7.

Глава VIII  
«АДСКИЕ КОЗНИ»

Будучи единственным судьей и хранителем моей чести и чести моей жены, [...] я не могу и не хочу представлять кому бы то ни было доказательства того, что утверждаю.

Пушкин

(из письма к Бенкендорфу и царю. 21 ноября 1836 г.)



Рисунки А. С. Пушкина  
на его рукописях

«Адские козни окутали Пушкиных и остаются еще под мраком. Время, может быть, раскроет их...» — это было сказано П. А. Вяземским вскоре после гибели поэта. «Времени» оказалось нелегко разобраться во всем: много



лет спустя П. Е. Щеголев, первооткрыватель важнейших материалов о последних днях Пушкина, признавался, что некоторые существенные обстоятельства трагедии не видны или видны неясно.

После Щеголева было еще немало работ о «дуэли и смерти», в результате последние месяцы пушкинской жизни расписаны исследователями по дням, иногда и по часам — куда более подробно, чем другие главы его биографии. И все же многого не знаем, не понимаем, о многом спорим.

Попытки понять и оценить «адские козни» начались еще при жизни поэта. Разные версии о его гибели столкнулись через несколько дней после 29 января 1837 г. Одна из них имела достаточно мощных сторонников, чтобы долго не допускать открытых возражений. Другая, существуя в основном рукописно, через четверть века достигла Вольных русских изданий.

Первым документом, открывающим историю последней дуэли Пушкина, был, как известно, анонимный пасквиль — «диплом», разосланный 3 ноября 1836 г. Он давно опубликован, проанализирован, однако до сих пор недостаточно ясна история его сохранившихся экземпляров.

Довольно скоро после смерти Пушкина появился и стал распространяться в списках своеобразный сборник документов, относящихся к гибели Пушкина. Мне удалось в различных архивах ознакомиться почти с 30 такими рукописными сборниками, принадлежавшими различным общественным и литературным деятелям<sup>1</sup>. Все сборники в главных чертах абсолютно совпадают — одни и те же документы, в том же порядке, со сходными особенностями, ошибками и т. п., только в некоторых рукописях 12, а в некоторых 13 документов. О сборниках этих речь впереди, пока же только заметим, что абсолютно все списки открываются следующими словами (по-французски или в русском переводе):

«Два анонимные письма к Пушкину, которых содержание, бумага, чернила и формат совершенно оди-

<sup>1</sup> Неполный перечень их см. ТК, стр. 292, примеч. 30.

наковы (второе письмо такое же, на обоих письмах другою рукою написаны адреса: Александру Сергеевичу Пушкину)».

Затем следует точный текст «диплома».

Как видно, некий человек, очевидно причастный к составлению сборника дуэльных документов, проделал своего рода «текстологическую работу»: располагая двумя экземплярами пасквиля, он их сравнил, отметил полное сходство, а также разницу почерков «диплома» и конверта.

Пушкин писал о «семи или восьми» экземплярах пасквиля, появившихся 4 ноября 1836 г. в Петербурге. Три экземпляра вскоре оказались в его руках, но он их в какой-то момент, очевидно, уничтожил: во всяком случае среди пушкинских бумаг, зарегистрированных жандармами в ходе «посмертного обыска» на квартире поэта, ни одного экземпляра не значится. Один «диплом» получил (и уничтожил, сняв копию) П. А. Вяземский<sup>2</sup>. Судьба остальных экземпляров менее известна. Возникает вопрос, кто имел в то время возможность сопоставить два экземпляра пасквиля; между тем, как раз два подлинных «диплома» сохранились до наших дней. Случайное ли это совпадение? Не располагал ли неизвестный современник Пушкина именно теми уцелевшими двумя экземплярами? Для ответа на этот вопрос надо было выяснить, где хранились прежде эти два «диплома». Один был обнаружен А. С. Поляковым в секретном архиве III отделения<sup>3</sup>. Еще раньше другой образец «диплома» поступил в Лицейский пушкинский музей.

Откуда поступил? В информационном листке Пушкинского лицейского общества от 19 октября 1901 г. сообщается, что получено «за истекший 1900—1901 года подлинное анонимное письмо, быв-

---

<sup>2</sup> Об этом подробно в статье Н. Ф. Бельчикова «П. А. Вяземский об авторе анонимного пасквиля на Пушкина». — Сб. «Из истории русских литературных отношений XVIII—XX веков». М.—Л., 1959, стр. 117—131.

<sup>3</sup> А. С. Поляков. О смерти Пушкина (по новым данным). Пг., 1922, стр. 13; «диплом» был отправлен в конверте на имя приятеля Пушкина, известного музыканта М. Ю. Виельгорского и, вероятно, передан властям сразу после получения.

шее причиной предсмертной дуэли Пушкина, из Департамента полиции»<sup>4</sup>.

Департамент полиции, учрежденный в 1880 г., был прямым наследником III отделения. Отсюда следует, во-первых, что ведомство Бенкендорфа располагало двумя экземплярами анонимного пасквиля. Во-вторых, что скорее всего в этом ведомстве находился «таинственный доброжелатель», стремившийся сохранить подробности, важные для истории последних дней Пушкина<sup>5</sup>.

Оба только что сделанных наблюдения необходимы для последующего изложения. С пасквиля начинаются и другие сложные загадки. Этим документом были задеты три лица: Пушкин, его жена, а также Николай I (намек на положение Пушкина, аналогичное роли Д. Л. Нарышкина, чья жена была любовницей прежнего царя)<sup>6</sup>. Намек пасквиля «по царственной линии», замеченный пушкинистами лишь сто лет спустя<sup>7</sup>, был, очевидно, хорошо понятен современникам, и прежде всего Пушкину: как известно, через день после получения пасквильного «диплома» поэт, отягощенный долгами и безденежьем, написал министру финансов Канкрину о своем желании «сполна и немедленно» выплатить деньги казне (45 тыс. руб.), т. е. избавиться от какой бы то ни было двусмысленности в отношениях с властью<sup>8</sup>.

<sup>4</sup> ПД, ф. 665 (архив Пушкинского лицейского общества), информ. листок № 22, л. 43.

<sup>5</sup> Напомним, что впервые в России текст анонимного послания был опубликован лишь в 1880 г.

<sup>6</sup> Кажется несостоятельным встречающееся иногда мнение, будто Николая I не могла задеть столь лестная для его мужских достоинств характеристика: царь должен был счесть оскорбительным и недопустимым сам факт вольного рассуждения о его персоне.

<sup>7</sup> В статье Б. В. Казанского «Гибель Пушкина» («Звезда», 1928, № 1).

<sup>8</sup> Трудно согласиться с недавним комментарием этого письма, где утверждается, что Пушкин «явно не желал, чтобы его просьба была доведена до сведения Николая» (*Пушкин. Письма последних лет. Л., 1969, стр. 333*). Наоборот, из текста письма хорошо видно, что Пушкин как раз желал, чтобы царь узнал об уплате, и заранее предупреждал власть об отказе от царской милости, если Николай I «прикажет про- стить» долг.

О причинах, вызвавших косвенный выпад «диплома» против царя, существуют разные мнения.

Одно из них состоит в том, что вдохновители пасквиля, Геккерн и Дантес, были обозлены высочайшим приказом Дантесу жениться на Е. Н. Гончаровой; сторонник этой гипотезы М. И. Яшин сослался, между прочим, на недавно опубликованные за границей (в русском переводе) мемуары дочери Николая — Ольги, королевы Вюртембергской, где имелись следующие строки:

«Папа поручил Бенкендорфу разоблачить автора анонимных писем, а Дантесу было приказано жениться на младшей сестре госпожи Пушкиной, довольно заурядной особе»<sup>9</sup>. Позже выяснилось, что подлинный французский текст тех же воспоминаний выглядит иначе: «Бенкендорфу было поручено предпринять поиски автора писем. Друзья нашли только одно средство, чтобы обезоружить подозрения: Дантес должен был жениться на младшей сестре г-жи Пушкиной, довольно мало интересной особе»<sup>10</sup>.

Вопрос, однако, остается открытым. Только что приведенные строки еще не уничтожают гипотезы Яшина: действительно, друзья Пушкина, гасившие дуэль в ноябре 1836 г. (Жуковский, Загряжская), могли «заставить» Дантеса жениться, сообщив ему в той или иной форме высочайшую волю!

Не углубляясь более в этот вопрос, заметим только, что «тень царя» присутствует в дуэльной истории с самого начала.

Первая вспышка смертельной вражды между Пушкиным и Геккернами длилась, как известно, две недели — с 4 по 17 ноября — и завершилась внешним примирением: помолвка Дантеса и Екатерины Гончаровой была оглашена, Пушкин взял свой вызов

<sup>9</sup> «Сон юности. Записки дочери Николая I, великой княжны Ольги Николаевны, королевы Вюртембергской». Париж, 1963, стр. 67; М. И. Яшин. История гибели Пушкина. — «Нева», 1968, № 2, стр. 187.

<sup>10</sup> «Временник Пушкинской комиссии 1970». Л., 1972, стр. 25 (фр. текст), стр. 26 (перевод); Я. Л. Левкович. Две работы о дуэли Пушкина. — «Русская литература», 1970, № 2, стр. 212.

обратно. Однако именно после 17 ноября поэт вынашивает план особого отмщения, говорит: «Вы мне теперь старичка подавайте» — и составляет письмо голландскому посланнику, первый вариант того смертного вызова, который был отправлен два месяца спустя.

Этим же днем, 21 ноября 1836 г., датируется столь же известное, сколь и таинственное письмо Пушкина к Бенкендорфу (а в сущности к царю через Бенкендорфа).

Напомним его текст (П. XVI. 191—192; перевод — 397—398) с уточнениями по недавно обретенному автографу:

«Граф!

Считаю себя вправе и даже обязанным сообщить вашему сиятельству о том, что недавно произошло в моем семействе. Утром 4 ноября я получил три экземпляра анонимного письма, оскорбительного для моей чести и чести моей жены. По виду бумаги, по слогу письма, по тому, как оно было составлено, я с первой же минуты понял, что оно исходит от иностранца, от человека высшего общества, от дипломата. Я занялся розысками. Я узнал, что семь или восемь человек получили в один и тот же день по экземпляру того же письма, запечатанного и адресованного на мое имя под двойным конвертом. Большинство лиц, получивших письма, подозревая гнусность, их ко мне не переслали.

В общем все были возмущены таким подлым и беспричинным оскорблением; но, твердя, что поведение моей жены было безупречно, говорили, что поводом к этой низости было настойчивое ухаживание за нею г-на Дантеса.

Мне не подобало видеть, чтобы имя моей жены было в данном случае связано с чьим бы то ни было именем. Я поручил сказать это г-ну Дантесу. Барон Геккерн приехал ко мне и принял вызов от имени г-на Дантеса, прося у меня отсрочки на две недели.

Оказывается, что в этот промежуток времени г-н Дантес влюбился в мою свояченицу, мадемуазель Гончарову, и сделал ей предложение. Узнав об этом из толков в обществе, я поручил просить г-на д'Аршиака (секунданта г-на Дантеса), чтобы мой вызов

рассматривался как не имевший места. Тем временем я убедился, что анонимное письмо исходило от г-на Геккерна, о чем считаю своим долгом довести до сведения правительства и общества.

Будучи единственным судьей и хранителем моей чести и чести моей жены и не требуя вследствие этого ни правосудия, ни мщениия, я не могу и не хочу представлять кому бы то ни было доказательства того, что утверждаю.

Во всяком случае надеюсь, граф, что это письмо служит доказательством уважения и доверия, которые я к вам питаю.

С этими чувствами имею честь быть, граф, ваш нижайший и покорнейший слуга А. Пушкин.

21 ноября 1836».

Это, без сомнения, один из самых впечатляющих документов последнего периода пушкинской жизни. Поэт оскорблен, задет, чего не считает нужным скрывать, но при этом издевается над врагом («оказывается, что в этот промежуток времени г-н Дантес влюбился в мою свояченицу...») и дерзит верховной власти; разумеется, в царя и Бенкендорфа метит: «будучи единственным судьей и хранителем моей чести и чести моей жены...», «...я не могу и не хочу представлять кому бы то ни было...» и «мне не подобало видеть, чтобы имя моей жены было в данном случае связано с чьим бы то ни было именем...» (в анонимном пасквиле ведь имя жены Пушкина связано с именем царя!).

История этого письма была одной из важных загадок преддуэльных месяцев. Автограф его разыскивали многие пушкинисты, и П. Е. Щеголев констатировал, что «в секретном досье III отделения такого письма к Бенкендорфу не оказалось». В бумагах Пушкина сохранились лишь фрагменты черновика (П. XV. 265—266).

Среди документов, составивших рукописный сборник материалов, касающихся дуэли и смерти Пушкина, письмо Бенкендорфу неизменно помещалось на втором месте (после текста анонимного «диплома»-пасквиля), обычно под заглавием «Письмо Пушкина, адресованное, кажется, графу Бенкендорфу».

Самый ранний из известных нам списков этого



послания через 17 дней после кончины поэта, 14 февраля 1837 г., был приложен к письму П. А. Вяземского великому князю Михаилу Павловичу<sup>11</sup>. После многолетнего рукописного хождения «дуэльного сборника» (и в составе его — копии письма Пушкина к Бенкендорфу) все эти материалы попали в печать: в 1861 г. 12 документов сборника появились (на русском языке) в бесцензурной «Полярной звезде» Герцена и Огарева<sup>12</sup>, через два года, в 1863 г., А. Аммосов напечатал в России большую часть дуэльных материалов, в том числе письмо к Бенкендорфу, по-французски и в переводе, несколько отличающемся от текста «Полярной звезды»<sup>13</sup> (подробнее об этих публикациях см. ниже). Слово «подлинник», помещенное у заглавия письма в этой книге, породило ошибочное мнение, будто в руках А. Аммосова был автограф письма<sup>14</sup>. На самом же деле Аммосов употреблял термин «подлинник», имея в виду подлинные французские тексты документов в отличие от русского перевода.

После 1863 г. письмо к Бенкендорфу неоднократно и без особых комментариев перепечатывалось в изданиях сочинений и биографических материалов Пушкина, пока об истории этого документа не заговорил журнал «Русский архив». Дважды, в 1888 г. и 1902 г., П. И. Бартенев опубликовал почти одинаковые сведения о письме<sup>15</sup>. Ссылаясь на П. А. и В. Ф. Вязем-

<sup>11</sup> Полный текст — в первом издании кн. П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина». — Сб. «Пушкин и его современники», вып. 25—27. Пг., 1916, стр. 140—160. Кроме письма Пушкина Бенкендорфу Вяземский отправил в тот день великому князю Михаилу Павловичу еще восемь текстов (из 12, составивших упомянутый «дуэльный сборник»). Они хранятся в ЦГАОР, ф. 666 (вел. кн. Михаила Павловича), оп. 1, № 563. Копия письма Вяземского и приложений к нему, снятая для Лицейского музея. — ПД, ф. 244, оп. 18, № 103.

<sup>12</sup> ПЗ, кн. VI, стр. 132—140. «Письмо Пушкина, адресованное, кажется, на имя графа Бенкендорфа», на русск. яз. (как и все остальные материалы), см. там же, стр. 132—133.

<sup>13</sup> А. Аммосов. Последние дни жизни и кончина Александра Сергеевича Пушкина. Со слов бывшего его лицейского товарища и секунданта Константина Карловича Данзаса. СПб., 1863, стр. 43.

<sup>14</sup> Пушкин. Письма последних лет, стр. 337.

<sup>15</sup> «Русский архив», 1888, № 7, стр. 308, и «Русский архив», 1902, № 10, стр. 235.

ских, а также на П. И. Миллера (к тому времени уже покойных), Бартенева сообщал, что Пушкин это письмо не отправил.

Не вникая в детали сообщений П. И. Бартенева, заметим только, что позже П. Е. Щеголев поддерживал в общих чертах версию о письме, не отосланном к фактическому адресату—царю. При этом Щеголев долгое время считал, что письмо предназначалось не Бенкендорфу, а другому графу — К. В. Нессельроде, который, по мнению ученого, документ «скрыл в тайнике своего стола и не дал ходу»<sup>16</sup>.

Бартенева и Щеголева полагали, что важное письмо Пушкина от 21 ноября не попало к Николаю I, так как с конца ноября 1836 г. до конца января 1837 г. власть как будто бездействовала: не известны какие-либо секретные розыски в связи с анонимными письмами и другие действия царя и Бенкендорфа, которые, казалось, непременно должны были последовать, если бы письмо от 21 ноября пришло по адресу.

Однако несколько позже Щеголев установил по камер-фурьерскому журналу, что 23 ноября 1836 г., т. е. через день после написания изучаемого письма, царь дал Пушкину аудиенцию в присутствии Бенкендорфа<sup>17</sup>.

Подобная аудиенция была весьма исключительным явлением (вспомним, что царь несколько месяцев не принимал и в конце концов так и не принял Пушкина в связи с «Замечаниями о бунте»). Случайное совпадение двух фактов — письмо от 21 ноября и аудиенция 23-го — казалось крайне маловероятным, и вскоре в пушкиноведении утвердилось мнение, будто письмо к Бенкендорфу Пушкин послал и следствием этого была аудиенция у Николая I<sup>18</sup>. Более 40 лет во всех дискуссиях о последних месяцах жизни Пушкина всеми участниками, кажется, принималось.

<sup>16</sup> П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина, изд. 3. М.—Л., 1928, стр. 456 (в дальнейшем ссылки на это издание).

<sup>17</sup> П. Е. Щеголев. Царь, жандарм и поэт. Новое о дуэли Пушкина. — «Огонек», 1928, № 24, стр. 4—5; его же. Из жизни и творчества Пушкина, изд. 3. М.—Л., 1931, стр. 140—149.

<sup>18</sup> Б. В. Казанский. Письмо Пушкина Геккерну. — «Звенья», т. VI. М.—Л., 1936, стр. 9.

что письмо 21 ноября было отослано: выдвигались различные гипотезы, объяснявшие влияние этого факта на последующие события.

Однако в феврале 1972 г., через 135 лет после гибели Пушкина, в отдел рукописей Ленинской библиотеки был доставлен автограф послания к Бенкендорфу — среди упоминавшихся в предшествующей главе десяти новообретенных рукописей Пушкина из архива П. И. Миллера.

Обнаружение этого автографа не открывает существенных дополнений к прежде известному тексту знаменитого преддуэльного документа, однако само существование его, а также относящиеся к нему примечания Миллера вносят важные коррективы в наши представления об истории последних месяцев жизни Пушкина.

Исследуемый документ является беловым автографом, занимающим почти целиком четыре страницы голубой бумаги (письмо было сложено вчетверо и протерлось на сгибах, надорван и первый лист).

Большая часть разночтений с прежде известным текстом связана с мелкими неточностями, описками. Лишь полное написание «Monsieur le comte» (граф) в обращении к Бенкендорфу (вместо прежнего «M-le comte» — см. П. XVI. 192; 16 строка сверху) и полное написание имени автора в конце письма — Alexandre Pouchkine (прежде — А. Pouchkine) подчеркивают особую инвенктивную тональность послания, рассчитанную, вероятно, на широкий круг читателей в случае распространения списков документа: в письме говорится по поводу роли Геккерна в написании анонимных писем, о стремлении Пушкина этот факт «довести до сведения правительства и общества» (см. П. XVI. 192; 398).

У верхнего края первой страницы письма находится несколько стершаяся карандашная запись рукой П. И. Миллера: «Найдено в бумагах А. С. Пушкина и доставлено графу Бенкендорфу 11 февраля 1837 года». Ни в этой записи, ни в автографе нет прямого указания, что адресат письма — именно Бенкендорф. Однако кроме содержания документа достаточно веским является авторитетное свидетельство Миллера в черновой (без заглавия) записке

о гибели Пушкина (также поступившей в составе его архива).

Эта запись, несомненно, меняет сложившееся за последние десятилетия мнение о судьбе послания Пушкина к Бенкендорфу и является сильным доводом в пользу самой ранней версии — о неотосланном письме.

Еще одно свидетельство об этом находится в упомянутой черновой записке, посвященной истории гибели Пушкина. «Письмо к гр. Бенкендорфу, — писал Миллер о Пушкине, — он не послал, а оно найдено было в его бумагах после его смерти, переписанное и вложенное в конверт для отсылки».

Остановимся на этом подробнее. К примечанию Миллера на письме Пушкина следует отнестись с доверием. Гибель поэта, несомненно, потрясла его постоянного доброжелателя и почитателя. События тех дней, к которым Миллер оказался причастным, навсегда остались в его памяти. Отмеченная на пушкинском письме дата доставки его к шефу жандармов, «11 февраля 1837 года», вполне соответствует описываемой ситуации.

Как известно, в феврале 1837 г. на квартире В. А. Жуковского, куда были доставлены бумаги Пушкина, происходил их «разбор». Судя по «Журналу», который сопровождал всю эту процедуру, в течение 9 и 10 февраля 1837 г. бумаги Пушкина были разделены на 36 категорий, среди которых под № 12 значатся «Письма Пушкина», а под № 8 «Бумаги генерал-адъютанта гр. Бенкендорфа»<sup>19</sup>.

Вероятно, письмо от 21 ноября должно было попасть в одну из двух этих категорий, причем документ, выявленный 10 февраля, естественно попадает к шефу жандармов 11-го (согласно «Журналу», 11 и 12 февраля 1837 г. разборка бумаг заключалась уже в чтении писем князя Вяземского)<sup>20</sup>.

Разбор пушкинских бумаг, как известно, производился жандармским генералом Л. В. Дубельтом

<sup>19</sup> М. А. Цявловский. Посмертный обыск у Пушкина. — В кн.: М. А. Цявловский. Статьи о Пушкине. М., 1962, стр. 280.

<sup>20</sup> Там же, стр. 281.

и В. А. Жуковским, но, вероятно, кроме того, в «по- смертном обыске» участвовали и менее важные лица: опись всех материалов, представленная царю, была составлена писарем<sup>21</sup>, о кабинете Пушкина сообщалось, что он был распечатан «в присутствии действительного статского советника Жуковского и генерал-майора Дубельта»<sup>22</sup>, т. е., очевидно, не сами «присутствующие» снимали печати, и т. п. В записке Миллера не сказано, кем было взято письмо из бумаг Пушкина. Однако рано или поздно, особенно после того, как шеф жандармов ознакомился с документом, последний едва ли мог миновать Миллера.

Невидимое присутствие Бенкендорфа при «по- смертном обыске» не требует особого объяснения.

6 февраля 1837 г. шеф жандармов писал Жуковскому: «Бумаги, могущие повредить памяти Пушкина, должны быть доставлены ко мне для моего прочтения. Мера сия принимается отнюдь не в намерении вредить покойному в каком бы то ни было случае, но единственно по весьма справедливой необходимости, чтобы ничего не было скрыто от наблюдения правительства, бдительность коего должна быть обращена на всевозможные предметы. По прочтении этих бумаг, ежели таковые найдутся, они будут немедленно преданы огню в Вашем присутствии»<sup>23</sup>.

Между тем уже с первых дней часть разобранных пушкинских бумаг отправлялась к Бенкендорфу и не возвращалась, хотя в «Журнале» это не фиксировалось. Так, 13 февраля 1837 г. Бенкендорф через генерала Апраксина отправил в Военно-судную комиссию «найденные между бумагами покойного камерюнкера А. С. Пушкина письмо, записки и билет [...] могущие служить руководством и объяснением к делу Судной комиссии»<sup>24</sup>.

Также были изъяты и переданы в III отделение

<sup>21</sup> М. П. Султан-шах. Документальные материалы об А. С. Пушкине. Краткое описание. — «Бюллетени рукописного отдела Пушкинского Дома», вып. VIII. М.—Л., 1959, стр. 30.

<sup>22</sup> М. А. Цявловский. Статьи о Пушкине, стр. 279.

<sup>23</sup> П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина, стр. 229.

<sup>24</sup> А. С. Поляков. О смерти Пушкина (по новым данным), стр. 78,

письма о несостоявшейся дуэли Пушкина с В. А. Соллогубом<sup>25</sup>.

Заметим, что документы о дуэли Бенкендорф отослал в Военно-судную комиссию 13 февраля, конечно, после предварительного просмотра.

Таким образом, изъятие письма Бенкендорфу из пушкинских бумаг, передача его шефу жандармов 11 февраля 1837 г. и последующее «исчезновение» — все это представляется эпизодом вполне возможным и даже типичным для «посмертного обыска».

Приняв, что письмо от 21 ноября действительно найдено в бумагах Пушкина после его смерти, мы должны пересмотреть некоторые сложившиеся представления об истории этого документа. Можно, конечно, допустить, что 21 ноября 1836 г. Пушкин письмо все же послал, а себе оставил автокопию, которую и нашли при разборе бумаг. Однако ни в бумагах Бенкендорфа, ни в архивах царствующей фамилии этого послания, как известно, не обнаружилось. Миллер, несомненно, был убежден, что у него единственный экземпляр письма (это отмечено в его записке о гибели Пушкина). Трудно представить, чтобы о письме Пушкина, отосланном 21 ноября 1836 г. шефу жандармов, ничего бы не знал его личный секретарь.

Разумеется, при обсуждении такого рода проблем исследователи всегда вынуждены выносить суждения с большей или меньшей долей вероятности, но в данном случае совокупность фактов ведет к тому, что 21 ноября 1836 г. Пушкин письмо Бенкендорфу (царю) написал, но не отослал.

Конечно, это в высшей степени важный факт для осмысления душевного состояния поэта в тяжелые преддуэльные месяцы.

Приняв положение о неотосланном письме, постараемся восстановить историю документа с ноября 1836 по февраль 1837 г.

Около 21 ноября 1836 г. первый вызов Дантесу уже взят обратно, но Пушкин стремится свести счеты с Геккерном. Именно 21 ноября, согласно точным воспоминаниям В. Соллогуба, Пушкин прочел ему

<sup>25</sup> Там же, стр. 10—11.



страшное, оскорбительное письмо голландскому посланнику, реконструируемое ныне по сохранившимся его клочкам (П. XVI. 189—191)<sup>26</sup>. Письмо датируется 17—21 ноября 1836 г., но скорее всего оно было составлено в конце указанного четырехдневного периода. Существовала несомненная связь между посланием к Геккерну и рассматриваемым письмом к Бенкендорфу. Последнее написано под впечатлением тех же фактов, в том же настроении, что и первое (клочки письма к Геккерну, между прочим, на той же бумаге, что и письмо к Бенкендорфу, — «№ 250», согласно классификации Л. Б. Модзалевского и Б. В. Томашевского<sup>27</sup>).

У нас нет сомнения, что письмо Геккерну, написанное около 21 ноября, послано не было, иначе дуэль состоялась бы на два месяца раньше. Теперь мы видим, что и соответствующее ему письмо шефу жандармов также осталось у Пушкина. В этой общности судеб связанных друг с другом писем можно увидеть определенную закономерность.

Около 21 ноября Пушкин готовил какую-то необычайную месть Геккерну. П. Е. Щеголев писал о пушкинском замысле: «Может быть, план был таков, как рассказывает граф Соллогуб, может быть, нет»<sup>28</sup> — и справедливо связал с этим планом пушкинское письмо к Бенкендорфу от 21 ноября. В строках: «Я убедился, что анонимное письмо исходило от г-на Геккерна, о чем считаю своим долгом довести до сведения правительства и общества» — вероятно, скрыта формула предполагавшейся страшной мести: до сведения правительства факт мог быть доведен письмом Бенкендорфу, до сведения общества — письмом Геккерну; заметим, что Пушкин, прочитав последнее Соллогубу, уже тем самым начал осведомлять общество.

В случае одновременного отправления обоих по-

<sup>26</sup> Граф В. А. Соллогуб. Воспоминания. М.—Л., 1931, стр. 367.

<sup>27</sup> Л. Б. Модзалевский и Б. В. Томашевский. Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском Доме. М.—Л., 1937.

<sup>28</sup> П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина, стр. 110. В. А. Соллогуб рассказывал в этой связи только о письме Пушкина к Геккерну.

сланий Геккерн и Дантес оказались бы в очень трудном положении. Их компрометация была бы осуществлена с двух сторон одновременно.

В письме Бенкендорфу есть как будто намек на возможную ситуацию, которая образуется после отсылки двух писем (дуэль неминуема, но осведомленная власть может вмешаться): «Будучи единственным судьей и хранителем моей чести и чести моей жены и не требуя вследствие этого ни правосудия, ни мщения, я не могу и не хочу представлять кому бы то ни было доказательств того, что утверждаю».

«Не могу» и «не хочу» означает здесь нежелание Пушкина, чтобы власть заменила свою местью его месть, и в то же время поэт «считает долгом» осведомить царя о случившемся.

Любопытно, что и Миллер, отмечая связь двух ноябрьских писем в «Записке о гибели Пушкина», рассуждает о действиях Дантеса и Геккерна в ноябре 1836 г. и, между прочим, пишет: «Пушкин тогда же решился ошельмовать их и написал два письма: одно к гр. Бенкендорфу, в котором излагал все обстоятельства, а другое к барону Геккерну, в котором нещадно отхлестал Геккерна и Дантеса». Затем следует текст письма Бенкендорфу от 21 ноября 1836 г. и письма Геккерну от 26 января 1837 г. (без указания даты). Миллер смешивает два письма Пушкина Геккерну: первое, ноябрьское, неотосланное и второе, январское, за которым последовала дуэль. Как известно, смешением этих двух документов грешили долгое время также и многие исследователи биографии Пушкина<sup>29</sup>; ошибка же Миллера, вероятно, связана и с некоторыми обстоятельствами «посмертного обыска», о чем будет сказано ниже.

Мы не знаем в подробностях, почему Пушкин не отправил два приготовленных послания Геккерну и Бенкендорфу? Соллогуб рассказывал, что, узнав (21 ноября 1836 г.) о письме Пушкина Геккерну, он предупредил Жуковского. «Жуковский испугался и обещал остановить отсылку письма. Действительно, это ему удалось; через несколько дней он объявил

<sup>29</sup> Б. В. Казанский. Письмо Пушкина Геккерну. — «Звенья», т. VI, стр. 15—17.

мне у Карамзиных, что дело он уладил и письмо послано не будет. Пушкин точно не отсылал письма, но сберег его у себя на всякий случай»<sup>30</sup>.

Остановка писем, очевидно, связана и с тем событием, которое произошло через день, — аудиенцией 23 ноября 1836 г.

До сих пор беседа Пушкина с царем и Бенкендорфом в этот день считалась доказательством того, что письмо Бенкендорфу было отослано. Теперь необходимо объяснить прямо противоположную ситуацию.

Согласно вполне логичным гипотезам исследователей, именно на аудиенции царь взял с Пушкина слово не возобновлять ссоры с Геккерном, не известив верховную власть.

Однако какова связь аудиенции и писем?

Кажется, и в эти дни, как и в начале ноября 1836 г., как и при столкновении поэта с властями в 1834 г., поворот событий был связан с Жуковским. Поддаваясь уговорам Жуковского, Пушкин, возможно, нашел план мщения, отправку двух писем, нецелесообразным. Хотя в письме Бенкендорфу подчеркивалось, что его автор является «единственным судьей и хранителем своей чести и чести своей жены», но фактически все дело, в случае обнародования писем, передавалось на суд общества и власти. Жуковский, постоянный ходатай за Пушкина перед Николаем I, в течение 21 и 22 ноября мог упросить императора, чтобы тот срочно вызвал Пушкина.

Пушкин был приглашен на аудиенцию. С него взяли слово не драться.

Пока нет возможности точно определить, какую часть информации, содержащейся в неотправленном письме шефу жандармов от 21 ноября, Пушкин открыл на аудиенции 23-го. Однако, исходя из гипотезы, что поэт видел смысл только в «двойном ударе», отправке двух писем сразу, можно усомниться, что он многое открыл царю и шефу жандармов во время беседы с ними. Не послав одновременно уничтожающего письма Геккерну, Пушкин считал бы недостойным осведомлять власть о своих мнениях и планах: или два письма сразу, или ни одного!

<sup>30</sup> В. А. Соллогуб. Воспоминания, стр. 370—371.

Впрочем, царь и Бенкендорф, не получив много подробностей непосредственно от Пушкина, на самом деле знали, конечно, немало.

Теперь получают должное объяснение строки из последнего, преддуэльного письма Пушкина к Геккерну. Вспомнив раннюю, ноябрьскую стадию конфликта, Пушкин определял ситуацию, сложившуюся после середины ноября: «Вы хорошо понимаете, барон, что после всего этого я не могу терпеть, чтобы были какие бы то ни было отношения между моей и Вашей семьей. Только на этом условии согласился я не давать хода этому грязному делу и не обесчестить Вас в глазах дворов нашего и Вашего, к чему я имел и возможность и намерение» (П. XVI. 269—270; перевод — П. XVI. 427). Понятно, что обесчестить Геккерна «в глазах двух дворов» Пушкин мог, отослав 21 ноября 1836 г. оба письма. Он этого не сделал, получив заверения, что отношения между двумя семьями прекратятся. Посредником, давшим такое заверение, конечно, мог быть Жуковский. На аудиенции 23 ноября царь или Бенкендорф, возможно, сообщили Пушкину, что Геккернам рекомендовано держаться «подальше».

После переговоров 23 ноября письмо Бенкендорфу было Пушкиным отложено, как и письмо Геккерну. Последнее, как известно, было отчасти использовано Пушкиным при составлении второго письма от 26 января 1837 г., которое отправилось к Геккерну и привело к дуэли.

Сведения об использовании Пушкиным сохраненного им письма Бенкендорфу перед дуэлью и в день дуэли смутны и противоречивы. Попытаемся свести воедино и проанализировать известные данные.

1. Примечание Миллера на автографе пушкинского письма и его собственная записка о дуэли констатируют только эпизод из «посмертного обыска»: в бумагах поэта обнаружено письмо, «вложенное в конверт», которое доставлено Бенкендорфу 11 февраля 1837 г.

2. Свидетельство Вяземского (относящееся к пушкинской автокопии преддуэльного письма Геккерну): «Копия сия [автографическая] найдена была в кармане сюртука его [Пушкина], в котором он дрался.

Он сказал о ней Данзасу: если убьют меня, возьми эту копию и сделай из нее какое хочешь употребление»<sup>31</sup>.

3. В 1888 г. среди «Рассказов князя Петра Андреевича и княгини Веры Федоровны Вяземских, записанных в разное время П. И. Бартеневым», между прочим, находится следующий текст:

«Так как сношения Пушкина с государем происходили через графа Бенкендорфа, то перед поединком Пушкин написал известное письмо свое на имя графа Бенкендорфа, собственно назначенное для государя. Но письма этого Пушкин не решился послать, и оно найдено было у него в кармане сюртука, в котором он дрался. Письмо это многократно напечатано. В подлиннике я видал его у покойного Павла Ивановича Миллера, который служил тогда секретарем при графе Бенкендорфе; он взял себе на память это не дошедшее по назначению письмо»<sup>32</sup>.

4. В 1902 г. П. И. Бартенев сопровождал следующей заметкой напечатанные в «Русском архиве» воспоминания П. И. Миллера: «Когда по кончине Пушкина описывали и опечатывали комнату, где он скончался, Миллер взял себе на память из сюртука, в котором Пушкин стрелялся, известное письмо его на имя гр. Бенкендорфа. Пушкин написал его, исполняя обещание, данное в ноябре 1836 года государю, уведомить его (через гр. Бенкендорфа), если ссора с Дантесом возобновится, но послать это письмо он не решился: ему тяжело было призывать власть к разбору его личного дела. Миллер показывал нам это письмо в подлиннике. Будь оно послано по назначению, жандармское ведомство было бы обязано принять меры к предупреждению рокового поединка»<sup>33</sup>.

Сравнивая две бартеневские записи, заметим, что в более ранней (1888 г.) история о письме, лежавшем будто бы в кармане дуэльного сюртука

<sup>31</sup> М. А. Цявловский. Бумаги о дуэли и смерти Пушкина из собрания П. И. Бартенева. — Б. Модзалевский, Ю. Оксман, М. Цявловский. Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина. Пг., 1924, стр. 83—84.

<sup>32</sup> «Русский архив», 1888, № 7, стр. 308.

<sup>33</sup> «Русский архив», 1902, № 10, стр. 235.

Пушкина, выглядит как сообщенная Вяземскими и помещается среди их рассказов. Осведомленность Вяземских понятна: ведь именно в руках П. А. Вяземского был самый ранний из известных нам списков послания к Бенкендорфу. П. И. Миллер в контексте заметки 1888 г. выступает не как информатор Бартенева, но лишь как человек, предъявивший автограф и сообщивший, что — «взял себе на память».

14 лет спустя Барте́нев несколько меняет акцент. О Вяземских во второй записи — ни слова; создается впечатление, что передается рассказ П. И. Миллера.

Однако тут возникают явные противоречия между разными версиями.

Сам Миллер ни слова не пишет о письме, найденном им в сюртуке Пушкина, дважды указывая, что документ обнаружен в бумагах поэта. Пушкинские бумаги разбирались спустя две недели и более по смерти их владельца, на квартире Жуковского, куда рукописи были свезены. Понятно, никакого дуэльного сюртука поблизости быть не могло; он остался на квартире покойного. С другой стороны, Барте́нев явно сблизжает, а потом соединяет сведения, полученные от Миллера и от Вяземских.

В передаче издателя «Русского архива» Вяземский свидетельствует, будто в дуэльном сюртуке поэта было письмо Бенкендорфу. В то же время запись, сделанная самим Вяземским, констатирует, что Пушкин держал при себе во время дуэли другое письмо — автокопию послания к Геккерну.

Близость темы, историческое пересечение первого письма Геккерну (около 21 ноября 1836 г.) с письмом Бенкендорфу (21 ноября 1836 г.), а также общее сходство второго письма Геккерну (26 января 1837 г.) с первым — все это могло породить ошибки памяти у Барте́нева, Вяземских, Миллера.

Снова вспомним, что перед 13 февраля 1837 г. на стол Бенкендорфа легли извлеченные из пушкинских бумаг документы, относящиеся к дуэли (13-го они уже отосланы в Военно-судную комиссию). Очевидно, эти документы были доставлены шефу жанлармов П. И. Миллером (или через посредство П. И. Миллера) вместе с неотправленным письмом



Пушкина самому Бенкендорфу от 21 ноября 1836 г.: даты 11 и 13 февраля 1837 г. очень близки. Обнаружение этих писем в одном комплексе отразилось и в цитированной записке Миллера и, вероятно, в его рассказах П. И. Бартеневу 30—40 лет спустя.

Б. В. Казанский полагал, что Пушкин во время дуэли имел при себе автокопии двух писем — Геккерну и Бенкендорфу — и потом передал их Данзасу<sup>34</sup>. Однако у Данзаса была лишь автокопия первого документа, о втором же ничего не известно.

Недоразумением (отмеченным выше) является гипотеза, будто автограф письма Бенкендорфу находился у А. Аммосова, а последним получен от К. Данзаса.

Пушкину вряд ли важно было иметь при себе письмо более чем двухмесячной давности, в основном касавшееся ноябрьской ситуации (анонимные письма и др.) и не отражавшее многих преддуэльных январских обстоятельств. При немалом сходстве второго и первого писем Пушкина Геккерну — в январе об анонимных письмах уже сказано глухо, но говорится о продолжающихся и после ноябрьского конфликта преследованиях Дантесом и Геккерном жены Пушкина.

Заметим, между прочим, что находившаяся в кармане Пушкина во время дуэли автокопия последнего письма Геккерну была сложена «в восемь раз»<sup>35</sup>, в то время как письмо от 21 ноября сложено лишь вчетверо. Справедливости ради заметим, что последнее письмо потерто на сгибах, как действительно бывает с бумагой, долго пролежавшей в кармане. Однако вся совокупность свидетельств Миллера и Вяземского позволяет утверждать, что письмо от 21 ноября 1836 г. Пушкин с собой на дуэль не брал.

Судьба этого послания после смерти Пушкина в общих чертах сходна с историей других документов, попавших к Миллеру: от шефа жандармов пи-

<sup>34</sup> Б. В. Казанский. Письмо Пушкина Геккерну. — «Звенья», т. VI, стр. 13.

<sup>35</sup> Л. Б. Модзалевский, Б. В. Томашевский. Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском доме, № 683.

сьмо, очевидно, вернулось к секретарю, а тот его забрал себе. Бенкендорф, как отмечалось, обещал Жуковскому, что все бумаги, «могущие повредить памяти Пушкина», будут уничтожаться, чтение же письма Пушкина от 21 ноября 1836 г. не могло доставить шефу жандармов большого удовольствия. Документ этот, во-первых, был достаточно смел и, по понятиям Бенкендорфа, дерзок. Во-вторых, его существование доказывало, что еще за два с лишним месяца до дуэли Пушкин некоторое время желал «открыться» высшей власти. Получалось, что Бенкендорф «проглядел», «не все знал», не принял меры и т. п.

Разумеется, точного хода рассуждений шефа жандармов мы не ведаем, однако нежелание его дать письму ход кажется очевидным.

Ни к каким текущим делам III отделения оно не было присоединено.

После 11 февраля, когда от Бенкендорфа отправлялись некоторые документы в Военно-судную комиссию, решила, очевидно, и судьба послания от 21 ноября, и оно осело в бумагах П. И. Миллера.

Буквально через день-два, 14 февраля, копией этого важного письма уже располагал П. А. Вяземский. Вскоре сформировался тот рукописный сборник из 12 (или 13) дуэльных материалов, о котором говорилось в начале главы.

Версия правительства о гибели Пушкина и событиях вокруг дуэли сложилась в течение нескольких дней после 27 января. Тогда же были написаны основные документы и начали распространяться выгодные для «верхов» слухи. Позиция Николая I яснее всего выразилась в его письмах близким родственникам, хотя и опубликованных много лет спустя, но заложивших основу официальной точки зрения<sup>36</sup>, а также в опубликованных П. Е. Щеголевым

<sup>36</sup> Письмо Николая I брату Михаилу Павловичу от 3 февраля 1837 г. см. П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина, стр. 67; письмо царя к сестре Анне Павловне от 3 февраля 1837 г. впервые полностью в кн. П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина» (изд. I). — Сб. «Пушкин и его современники», вып. 25—27, стр. 139—160 и 169—170. Письмо Нико-

делешах западных дипломатов, касавшихся смерти Пушкина.

Основные черты официальной версии:

Религиозное покаяние Пушкина.

Этот факт подчеркнут в письмах Николая I брату и сестре Марии Павловне. Последняя записка царя к умирающему Пушкину (в ночь с 27 на 28 января 1837 г. — П. XVI. 228) содержала «прощение и совет умереть по-христиански».

Когда в бумагах умершего Пушкина обнаружилось стихотворение «Молитва» («Отцы пустынники и жены непорочны...»), В. А. Жуковский представил его царю и сообщил в редакцию «Современника» (скорее всего В. Ф. Одоевскому): «Государь желает, чтобы эта молитва была там факсимилирована как есть и с рисунком. Это хорошо будет в 1-й книге «Современника», но не потерять этого листка; он должен быть отдан императрице»<sup>37</sup>. Приказание было исполнено, стихотворение Пушкина факсимильно воспроизведено в «Современнике», в первом номере после гибели Пушкина.

Забота царя о семье Пушкина — одна из самых распространенных тем в откликах при дворе и в обществе на смерть поэта. Этот же мотив повторяется почти во всех депешах иностранных посланников.

Политическое примирение Пушкина с властью.

Среди разных нюансов этой темы следует отметить распространившуюся среди дипломатов версию о том, что царь, «зная характер и убеждения писателя, возложил на одного из его друзей сжечь перед его смертью все произведения, которые могли бы ему повредить и которые находились в его бумагах» (из депеши сардинского посланника; о том

---

лая I сестре Марии Павловне от 4 февраля 1837 г. — Е. В. Муза и Д. В. Сеземан. Неизвестное письмо Николая I о дуэли и смерти Пушкина. — «Временник Пушкинской комиссии. 1962». М.—Л., 1963, стр. 39. Ответные письма Вильгельма Оранского Николаю I в ст. Н. Я. Эйдельмана «О гибели Пушкина (по новым материалам)». — «Новый мир», 1972, № 3, стр. 207—210.

<sup>37</sup> Впервые опубликовано в малоизвестных «Трудах Черниговской архивной комиссии», т. II, 1899; автограф — в фондах Черниговского исторического музея, № 349.

же — в депешах австрийского, неаполитанского и саксонского посланников).

### Наказание убийц.

Дантес, как известно, был предан суду, разжалован и выслан из России, нидерландский посол Геккерн в письме царя к брату был аттестован «гнусной канальей» и вынужден был вскоре покинуть свой пост.

Официальное толкование событий отнюдь не было примитивной ложью, но чаще всего односторонне выделяло некоторые действительно происходившие события, умалчивая о других, тоже реальных, важных фактах.

Пушкин действительно принял священника, но подлинные отношения его с религией и церковью много сложнее, чем было представлено в конце января — начале февраля 1837 г. Царь действительно погасил громадные долги поэта, но сами эти долги были часто плодом придворной жизни и разных литературно-издательских затруднений, от которых Пушкин не раз пытался избавиться, но встречал противодействие властей.

Основанием легенды о Жуковском, уполномоченном уничтожить все, что может повредить памяти поэта, явились известные обещания Бенкендорфа. Однако мрачным комментарием к этой декларации было появление жандармского генерала Дубельта, разбиравшего бумаги Пушкина и в сущности контролировавшего Жуковского. Бумаги же, «подлежавшие сожжению», согласно разъяснению Бенкендорфа (цитированному выше), должны были предварительно представляться ему на прочтение, «дабы ничего не было скрыто от наблюдения правительства, бдительность коего должна быть обращена на всевозможные предметы»<sup>38</sup>.

Наконец, гнев императора, обрушившийся на убийц, во многом объясняется его личной неприязнью к Геккерну; некоторые же причины конфликта «Геккерн — царь» не имели никакой связи с гибелью Пушкина<sup>39</sup>.

<sup>38</sup> П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина, стр. 229.

<sup>39</sup> Н. Я. Эйдельман. О гибели Пушкина. — «Новый мир», 1972, № 3.

Многие закулисные мотивы и отношения, «адские козни», были непонятны даже самым осведомленным друзьям поэта. Однако они знали достаточно, как это видно из гневного, полного обвинений в адрес высшей власти письма Жуковского Бенкендорфу, очевидно неотосланного, но сохранившегося и подробно проанализированного П. Е. Щеголевым<sup>40</sup>. Друзья поэта не могли, не хотели распространять все известные им тайные подробности, материалы: взгляды таких людей, как Жуковский, А. И. Тургенев, были достаточно умеренны; кроме того, они боялись повредить семье Пушкина. И тем более интересно, что сразу после кончины поэта, когда еще не завершилась переписка Петербурга и Гааги насчет отставки Геккерна, — в это самое время начал формироваться тот самый сборник дуэльных материалов, о котором уже говорилось. Это была первая и на многие годы вперед единственная попытка друзей Пушкина представить главные вехи случившегося.

Впервые этот комплекс документов был напечатан четверть века спустя с другими запрещенными и потаенными текстами Пушкина и о Пушкине Герценом и Огаревым в «Полярной звезде». Те же самые документы, в том же порядке (но без анонимного пасквиля, не пропущенного цензурой) появились в 1863 г. в России в составе книги А. Н. Аммосова «Последние дни жизни и кончина Пушкина». Автор сообщал, что получил документы от друга и секунданта Пушкина Данзаса, однако Данзас не был в те годы единственным их обладателем: уже говорилось о десятках списков, сохранившихся в архивах различных деятелей 1840—1850-х годов.

Напомним состав «дуэльных сборников»: в них 12 (иногда 13) документов, которые обычно имеют следующие заглавия:

1. Два анонимных письма к Пушкину, которых

---

<sup>40</sup> П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина, стр. 206—273. Именно сведения, восходящие к Жуковскому, легли, надо полагать, в основу секретного доклада И. Геверса, нидерландского дипломата, заменившего Геккерна на посту посланника в России (Н. Я. Эйдельман. Донесение Геверса о гибели Пушкина. — «Временник Пушкинской комиссии. 1971». (в печати).

содержание, бумага, чернила и формат совершенно одинаковы.

2. Письмо Пушкина, адресованное, кажется, на имя графа Бенкендорфа 21 ноября 1836 г.

3. От Пушкина к Геккерну-отцу.

4. Ответ Геккерна.

5. Записка от д'Аршиака. 26 января 1837 г.

6. Записка от д'Аршиака. 27 января 1837 г., 9 час. утра.

7. Записка от д'Аршиака. 27 января 1837 г.

8. Визитная карточка д'Аршиака.

9. Письмо Пушкина к д'Аршиаку. 27 января между 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub> и 10 час. утра.

10. От д'Аршиака к Вяземскому. 1/13 февраля 1837 г.

11. Князю Вяземскому от Данзаса.

12. От графа Бенкендорфа к графу Строганову.

В ряде списков вслед за этим идет еще 13-й документ — письмо Вяземского московскому почт-директору А. Я. Булгакову от 5 февраля 1837 г.

Уже из одного этого перечня видна немалая роль П. А. Вяземского в составлении сборника.

Документ № 10 — послание д'Аршиака Вяземскому — начинается со слов: «Князь, Вы хотели знать подробности грустного происшествия, которого я и г. Данзас были свидетелями. Я их сообщу Вам и прошу Вас передать это письмо г. Данзасу для его прочтения и удостоверения подписи». Следующий, 11-й документ сборника, — письмо Данзаса Вяземскому — опровергает некоторые утверждения д'Аршиака о ходе дуэли и появляется после того, как Вяземский показал секунданту Пушкина записку секунданта Дантеса.

В эти же дни Вяземский взывает к другим осведомленным друзьям погибшего — сохранить точные свидетельства о случившемся. Поэта уберечь не удалось, но можно попытаться спасти его память от лживых домыслов.

Известное письмо свое А. Я. Булгакову от 5 февраля 1837 г. с подробностями насчет последних дней Пушкина <sup>41</sup> Вяземский просит показать И. И. Дмит-

<sup>41</sup> «Русский архив», 1879, кн. 6, стр. 243—247.



риеву, М. М. Сонцову, П. В. Нащокину: «Дай им копию с него, и вообще показывай письмо всем, кому заблагорассудишь». Мало того, Вяземский сообщает: «Собираем теперь, что каждый из нас видел и слышал, чтобы составить полное описание, засвидетельствованное нами и докторами. Пушкин принадлежит не одним близким и друзьям, но и отечеству, и истории. Надобно, чтобы память о нем сохранилась в чистоте и целости истины». О том, что «собирают» друзья погибшего, видно из одной фразы все того же письма: «После пришлю тебе все письма, относящиеся до этого дела».

Очевидно, подразумевается именно «дуэльный сборник», о котором мы ведем речь. Через 10 дней, 15 февраля 1837 г., Вяземский благодарит Булгакова: «Спасибо за доставленную копию с моего письма, которая пришла вчера очень вовремя и отдана отъезжавшему вчера же генералу Философову для сообщения великому князю»<sup>42</sup>. Как видим, полученные свидетельства Вяземский торопится разослать тем лицам, суждения которых много весят в свете. (Денис Давыдов взывал к Вяземскому в эти дни: «Скажи мне, как это случилось, дабы я мог опровергнуть многое, разглашаемое здесь бабами обоего пола».)

14 февраля 1837 г. датируется самый ранний из всех известных пока сборников дуэльных документов, приложенный к тому самому посланию Вяземского великому князю Михаилу Павловичу, которое отправилось с генералом Философовым.

Брат царя был извещен о гибели Пушкина самим Николаем I (в письме от 3 февраля 1837 г.). Спустя 11 дней Вяземский отправляет Михаилу длинное, дипломатически составленное послание, описывавшее главные обстоятельства последних месяцев пушкинской жизни (полностью опубликовано Щеголевым). К письму были приложены и главные дуэльные документы, позже оказавшиеся в архиве герцогов Мекленбург-Стрелецких — прямых потомков Михаила Павловича<sup>43</sup>. 14 февраля 1837 г. Вяземский отправил

<sup>42</sup> Там же, стр. 254.

<sup>43</sup> Кроме того, Вяземский послал Михаилу Павловичу «Условия дуэли», не вошедшие в дуэльный сборник.

восемь документов (из 12, составивших «дуэльный сборник»): анонимный пасквиль, письма Пушкина Бенкендорфу, Геккерну, ответ Геккерна, переписка Пушкина с д'Аршиаком. Нетрудно понять, откуда пришло к Вяземскому большинство документов. Кроме писем, ему адресованных, он сам, а также близкие друзья в первые же дни после 29 января общались с д'Аршиаком. Но особенно важно, что Вяземский через 17 дней после гибели Пушкина располагает не только текстом анонимного пасквиля, но также и письмом Пушкина графу Бенкендорфу от 21 ноября 1836 г.

В начале главы говорилось, что к появлению этих документов в «дуэльных сборниках», вероятно, было причастно некое лицо, имевшее доступ к секретным бумагам шефа жандармов и способное, например, сопоставить два экземпляра пасквиля, находившиеся в архиве III отделения. Затем была отмечена близость дат (11 и 14 февраля), когда письмо Пушкина от 21 ноября было доставлено шефу жандармов и когда его текст оказался в руках Вяземского. Роль Павла Миллера в этой истории кажется немалой.

Уже дважды появлявшийся на страницах этой книги Павел Иванович Миллер был племянником начальника московских жандармов генерала А. А. Волкова, одного из ближайших приближенных Бенкендорфа. Вероятно, этим объясняется должность, которую Миллер занял сразу же после окончания лицея. В личном деле Миллера сохранилось следующее отношение А. Х. Бенкендорфа к министру юстиции Д. В. Дашкову от 19 февраля 1833 г.: «На основании высочайше утвержденного, в 28-й день апреля минувшего 1827 года, штата корпуса жандармов, я определил выпущенного из Царскосельского лицея с чином 9 класса воспитанника Павла Миллера на имеющуюся при мне вакансию секретаря, о чем и имею честь уведомить Ваше высокопревосходительство для надлежащего сведения Герольдии»<sup>44</sup>.

Личный секретарь второй персоны империи гра-

---

<sup>44</sup> ПД, ф. 157 (архив музея Александровского лицея), № 263.

фа Бенкендорфа, разумеется, получал доступ к секретнейшим материалам. Понятно, что молодой выпускник лицея обязан был исполнять то, что ему предписывалось главою страшных и всемогущих карательных учреждений николаевской империи (так, среди бумаг семьи Мухановых сохранился вежливый французский ответ, составленный Миллером от имени Бенкендорфа и извещавших о невозможности существенного улучшения в положении ссыльного декабриста Петра Муханова).

Шеф был, по-видимому, доволен своим секретарем, который прослужил у него 12 лет; после смерти Бенкендорфа (1844 г.) Павел Миллер числился некоторое время по почтовому ведомству, а затем, в чине действительного статского советника, вышел в отставку, уехал в Москву и жил там около 40 лет, до самой смерти.

Но человек сложен, и личный секретарь Бенкендорфа, исправно исполняя свои обязанности, всегда сохранял в своем внутреннем мире потаенную область, в которую не мог заглянуть даже всевидящий шеф. В той области царил Пушкин. Началось с поклонения младших лицейстов своим «пращурам» (именно так тогда выражались). Когда 27 июля 1831 г. Пушкин зашел в лицей, он встретился и познакомился с Павлом Миллером, заканчивавшим курс.

Пушкин разговорился с «внуком по Лицею», спрашивал о старых учителях, лицейских журналах, песнях. «Многие расставленные по саду часовые, — вспоминал Миллер, — ему вытягивались [...] Когда я спросил, «отчего они ему вытягиваются», то он отвечал: «Право не знаю; разве потому, что я с палкой». Миллер взялся доставать для Пушкина книги из лицейской библиотеки, и Пушкин четыре раза писал молодому человеку (автографы этих писем сохранились в его архиве и недавно поступили в Ленинскую библиотеку).

Служба при Бенкендорфе не может погасить любовь и интерес к Пушкину, но наступит день, когда эти две жизненные сферы столкнутся, и, по-видимому, Миллер, не колеблясь, выберет сторону Пушкина. В 1834 г. он, как отмечалось в прошлой главе,

предупредил Пушкина о перехвате его письма к жене на московской почте; через два года — получил в подарок от Пушкина белой автограф «Замечаний о бунте».

Всю жизнь — на службе и в отставке — Миллер буквально исповедовал культ Пушкина. Сохранились любопытные письма Миллера к его однокурснику, впоследствии академику Я. К. Гроту<sup>45</sup>, где мы находим между прочим:

6 февраля 1837 г.

«Спешу ведомить тебя, что граф позволил напечатать стихи твои в «Северной пчеле» — он расспрашивал меня о тебе, и в подкрепление слов барона я со своей стороны также дал самый лестный отзыв о моем старом и добром брате по Лицею. Спасибо тебе за дань Пушкину: она вылилась прямо из души. Вместе с сим я пишу Гречу, чтобы напечатал твои гекзаметры в своей газете, — и ты, вероятно завтра или послезавтра, прочтешь их в том же совершенном виде, в каком они вылились из-под пера».

Однако даже разрешение самого Бенкендорфа, хлопотанное его секретарем, не смогло помочь делу. Могущественный враг Пушкина министр народного просвещения С. С. Уваров решительно воспрепятствовал публикации стихов в память поэта.

Много лет спустя Грот истребовал у лицейского товарища, уже жившего в Москве, рукопись его воспоминаний о Пушкине. Миллер писал 16 декабря 1859 г.: «Насколько позволило мне заглавие моей статьи, настолько упомянул я о тогдашнем быте Лицея, но не более. Личность Пушкина так крупна и так интересна, что все до нее касающееся должно показаться или мелковато, или незначительно. Я по крайней мере так думал и оттого ни о чем другом не распространялся».

1 февраля 1860 г., в связи с приближающимся полувековым юбилеем лицея, Миллер писал Гроту:

«Благодарю тебя за подробности о приготовлениях

---

<sup>45</sup> ЦГАЛИ, ф. 123 (Я. К., К. Я. и Н. Я. Гроты), оп. 1, № 50; кроме того, некоторые письма Миллера к Я. К. Гроту хранятся в Отделе рукописей Пушкинского дома и Архива Академии наук СССР.

к юбилею Лицея. Ознаменовать этот день ничем лучше, по-моему, нельзя, как открытием подписки на памятник Пушкину. Давно пора об этом подумать, и если до сих пор об этом в России не думали, то, право, не потому ли, что сама судьба хотела предоставить это дело лицеистам, и для этого ждала 50-летнего юбилея? Нет сомнения, что на наш призыв откликнутся десятки тысяч людей. Досадно, что памятник не может поспеть ко дню открытия памятника тысячелетия России — а отпраздновать открытие обоих если не в один день, то в один год было бы очень интересно и знаменательно. А сколько мест, где памятник Пушкину был бы кстати! И в нашем отечестве — Царском Селе, в нашей бывшей ограде, даже, пожалуй, с надписью: *Genio loci*<sup>46</sup>, и в большом Царскосельском саду, на берегу озера, куда при кликах лебединых стала являться ему муза, и, наконец, в Летнем саду, и на более видном месте, нежели Крылов...»

Миллер даже упрекал Якова Грота, крупнейшего знатока русской литературы, в некоторой недооценке роли Пушкина за счет менее значительных лицейских знаменитостей.

Особенно часто писал Миллер Гроту в 1879 — 1880 гг. Он представлял в Москве комиссию Академии наук по сооружению памятника Пушкину, и эти его «отчеты» очень интересны для искусствоведа: в них отражается каждый этап в создании опекушинского памятника, все споры, затруднения, восторги, финансовые расчеты, шутки по этому поводу. В письме от 11 мая 1880 г. Миллер, между прочим, просит Я. К. Грота упомянуть в какой-нибудь речи (в связи с открытием памятника в Москве) о трех эпизодах, «характеризующих честное и смелое прямодушие Пушкина». Речь идет о хорошо известных фактах — ответе Пушкина на вопрос царя: «Был ли бы ты 14-го декабря на Сенатской площади вместе с бунтовщиками?» — и запрещенных стихах, которые поэт сам представил петербургскому губернатору Милорадовичу. Третий эпизод также попал в Пушкиниану, но для нас важно, что известие о нем исходит от сек-

<sup>46</sup> *Гению (доброму духу) места (лат.).*

ретаря Бенкендорфа, находившегося «близко к событию».

«Когда гр. Бенкендорф, — сообщает Миллер, — послав за Пушкиным, спросил его, на кого он написал оду на выздоровление Лукулла, он сказал ему: «На вас»<sup>47</sup>. Бенкендорф невольно усмехнулся. «Вот я вас уверяю, что на вас, — продолжал Пушкин, — а вы не верите; отчего же Уваров уверен, что это на него?» Дело так и кончилось смехом»<sup>48</sup>.

Все сказанное о Павле Миллере как будто ясно рисует его взгляд на Пушкина и тот выбор, который он, случалось, делал между любимым поэтом и грозным шефом. Миллеру легче всего было положить рядом два экземпляра пасквиля, поступившие в III отделение, и снять копию, сопроводив ее пояснением, что почерки «дипломов» одинаковы, но адрес на конверте написан другой рукой. Письмо же Пушкина Бенкендорфу от 21 ноября 1836 г. Миллер после 11 февраля 1837 г. забрал себе. Вслед за тем мог он сообщить важные тексты Вяземскому, который, как говорилось, имел их в составе «дуэльного сборника» уже в середине февраля 1837 г.

В «Русском архиве» приведенная история о Миллере, который будто бы нашел письмо в кармане пушкинского дуэльного сюртука, помещен среди «рассказов князя Петра Андреевича и княгини Веры Федоровны Вяземских, записанных П. И. Бартеневым»<sup>49</sup>.

Любопытно само соединение имен Миллера и Вяземского.

Чтобы закончить тему о Вяземском, Миллере и сборнике дуэльных материалов, нужно, однако, сообщить еще два наблюдения.

Заглавие документа № 2 «Письмо Пушкина, адресованное, кажется, графу Бенкендорфу», может быть, связано с тем, что Миллер (или Вяземский) маскировали свою роль: слово «кажется» в заглавии указывало на более дальнюю дистанцию между Бенкен-

<sup>47</sup> Ода была направлена против министра просвещения С. Уварова.

<sup>48</sup> ПД:  $\frac{16.056}{\text{сб. 2}}$ , Письма Миллера П. И. Гроту Я. К.

<sup>49</sup> «Русский архив», 1888, № 7, стр. 308.



дорфом и копнистом письма, чем она была на самом деле.

Первая печатная публикация «дуэльного сборника» в «Полярной звезде» Герцена заканчивалась несколькими строками, явно принадлежавшими составителю. При этом Герцен и Огарев по неизвестным нам причинам выпустили несколько слов в этом отрывке, которые восстанавливаются по двум авторитетным спискам дуэльных материалов (из бумаг А. Н. Афанасьева и В. И. Яковлева)<sup>50</sup>.

Вот эти заключительные строки (не попавшие в «Полярную звезду» выделены курсивом):

«Вот и вся переписка. Она будет, может быть, со временем напечатана в одной повести, если только цензура ее пропустит... Об одном просил бы я вас по-христиански — не давать кому-нибудь переписывать этих писем, потому что в них цена потеряется при раздроблении, исказят их и будут все толковать их по-своему; к тому же я дал честное слово не распространять их слишком далеко. *(Об этой переписке)*: вдруг—бум! Опять раздалась оплеуха, и на другой бою, нам он был нужнее чести его жены, — ему же честь жены была нужнее нас, быть может» (кажется, из письма кн. Вяземского)».

Здесь много таинственного: любопытно пояснение, «кажется, из письма кн. Вяземского», похожее на только что упоминавшееся, «кажется, на имя графа Бенкендорфа». Такого письма Вяземского мы не знаем, но это еще ни о чем не говорит: ведь именно Вяземский был главным вдохновителем сборника. Любопытна задача, которую ставит перед собой составитель, — дать цельное (теряющееся при раздроблении) документальное освещение событий. Слова «не распространять письма слишком далеко», очевидно, принадлежат тому, кто сумел скопировать эти ценные материалы. Хотя в «дуэльном сборнике» отсутствуют многие важные документы, позже опубликованные пушкинистами, здесь все же представлена версия, немало отличающаяся от официальной: в частности, приведен текст пасквиля-«диплома», секретного письма Бенкендорфу, письма-вызова Геккер-

<sup>50</sup> ТК, стр. 181.

ну, сопоставление которых могло вызвать недоуменные вопросы, например: «Почему власть, все знавшая в ноябре 1836 г., допустила дуэль в конце января?»

С другой стороны, в сборнике никак не представлена роль царя — «утешителя умирающего и благодетеля его семьи»: письмо Николая I умирающему поэту, скопированное, например, А. И. Тургеневым и другими близкими Пушкину людьми, ни в одном списке не фигурирует. Тема сборника — максимально верная история дуэли, вопреки всем слухам, пересудам и «клеветущей молве».

Это была первая и на много десятилетий единственная работа, освещавшая дуэль и смерть Пушкина. Ее публикация в Вольной печати Герцена спустя 24 года сама по себе являлась высокой оценкой гражданского подвига составителей, прежде всего П. А. Вяземского, а также К. К. Данзаса и, очевидно, в какой-то мере П. И. Миллера.

Интересно, что бывший секретарь Бенкендорфа, как видно из его архива, также пытался сотрудничать с Вольной русской типографией в Лондоне, внимательно и сочувственно наблюдая за публикациями, исторически связанными с его нелегальной деятельностью.

Среди сохранившихся документов П. И. Миллера находятся два его дневника: один небольшой, велся в 1846 г., во время поездки Миллера по Германии; другой, более обширный, относится к 1862 г. и озаглавлен «Путешествие на Лондонскую выставку». Наиболее интересные записи посвящены Вольной русской типографии: «11-го [июня] в 5 ч. вечера отправился на пароходе русского общества «Керчь», заплатив из Одессы до Галаца за первое место с удовольствием 20 руб. сер. Капитан Николай Павлович Повало-Швейковский, сын моряка [...] Читали с ним *потайную русскую литературу*, издаваемую Герценом, и проболтали до 3 ч. утра у него в каюте».

20 июня/2 июля 1862 г. в Пеште Миллер купил «в книжном магазине два выпуска «Полярной звезды» за 62 год и последние номера «Колокола»; за каждый томик заплатил 3 гульдена, т. е. 1 р. 60 к.;

за каждый номер «Колокола» 40 крейцеров, т. е. 30 копеек серебром».

Еще более примечательна запись, свидетельствующая о прямых контактах Миллера с Вольной русской типографией, в частности с известным помощником Герцена и Огарева В. И. Кельсиевым: «3/15 июля. Вторник. Ездил к Кельсиеву, главному редактору Народного веча по старообрядческой литературе, чтоб переговорить с ним об издании Евангелия. Он сказал, что печатный лист, включая все типографские расходы, обойдется мне в 6 фунтов, т. е. 36 р. сер., а листов будет 5. Следовательно, издание будет стоить до 200 р. Он взялся переговорить с Трюбнером: не возьмется ли он издать на свой счет в числе 1500 экземпляров, выдав мне, как автору, 10 экземпляров даром, остальные пустить в продажу в свою пользу. На этом мы расстались, поговорив об его планах и об России вообще. Завтра я должен отвезти ему рукопись.

4/16 июля. Отвез Кельсиеву мое Евангелие и поручил окончательно переговорить с Трюбнером — он мне жаловался на нерасположение соотчицей помогать деньгами, а единственно фразами»<sup>51</sup>.

Кельсиев надеялся на активное участие раскольников в освободительной борьбе и для привлечения их задумал специальное, исправленное издание Ветхого и Нового завета. Часть этого замысла была исполнена, и несколько книг Библии, напечатанных в Вольной типографии, были строго запрещены Синодом. Теперь мы узнали, что Кельсиев пытался довести дело до конца, и ему помогал бывший секретарь Бенкендорфа! Если б это открылось, Миллеру не сносить бы головы... Однако Кельсиев вскоре уехал из Лондона, а герценовская типография Евангелия не напечатала.

В заключение еще одно соображение. Зная особую, скрытую роль Павла Миллера в борьбе за память Пушкина, было бы важно понять, какие сведения о Пушкине и Бенкендорфе восходят к нему. Как известно, уже в первом печатном издании дуэльных материалов в России — книге А. Аммосова

<sup>51</sup> ЛБ, ф. 661 [П. И. Миллера].

«Последние дни жизни и кончина Александра Сергеевича Пушкина. Со слов бывшего его лицейского товарища и секунданта Константина Карловича Данзаса» сообщался факт, который приобрел позже печальную известность.

«На стороне барона Геккерна и Дантеса был, между прочим, и покойный граф Б., не любивший Пушкина<sup>52</sup>. Одним только этим нерасположением, говорит Данзас, и можно объяснить, что дуэль Пушкина не была остановлена полицией. Жандармы были посланы, как он слышал, в Екатерингоф будто бы по ошибке, думая, что дуэль должна была происходить там, а она была за Черной речкой...»<sup>53</sup>

Известно, что многие друзья и знатоки Пушкина, порой преувеличивая, идеализируя роль Николая I, как правило, весьма отрицательно относились к Бенкендорфу. Павел Васильевич Анненков, готовивший первое научное издание пушкинской биографии в начале 1850-х годов, переписывался и беседовал о многих интимных и секретных обстоятельствах с друзьями и знакомыми поэта. Он очень много знал и был человеком объективным; взгляды его, особенно к концу жизни, носили либерально умеренный характер. И тем не менее Анненков числил Бенкендорфа среди убийц Пушкина. Вот отрывок из неопубликованного письма его к другому известному пушкинисту и организатору пушкинской выставки 1880 г. — В. П. Гаевскому<sup>54</sup>. «Я где-то читал, — пишет Анненков, — что на одной стене у Вас красуются портреты гр. Бенкендорфа, Дантеса, княгини Белосельской. Если это верно (они, кажется, не упомянуты в каталоге), то это очень счастливая мысль, за которую Вас следует особенно поблагодарить. Жаль, если это не так и если к этой коллекции не присоединен у Вас еще, для большей полноты, портрет Фаддея Венедиктовича. Напишите мне об этом: очень интересно [...] Что за прелестная мысль была у Вас выставить портреты убийц Пушкина».

<sup>52</sup> Разумеется, Бенкендорф.

<sup>53</sup> А. Аммосов. Последние дни жизни и кончина Александра Сергеевича Пушкина, стр. 15—16.

<sup>54</sup> ПБ, ф. 171 (В. П. Гаевского), № 10.

Если признать, что важные документы, связанные с III отделением и Бенкендорфом, мог доставить Вяземскому П. И. Миллер, то, надо думать, сведения Аммосова (шедшие от Данзаса), а также Анненкова, между прочим, имеют источником сообщения Миллера. Последний хорошо знал все, что делал граф Бенкендорф, и по должности своей владел едва ли не всеми его секретами.

Если сведения о жандармах, посланных в другую сторону, восходят к Миллеру, это уже не простой слух, а серьезный факт...

Время постепенно раскрывало «адские козни», окутывавшие последние дни Пушкина, и рассеивало мрак, за которым скрывалась подлинная история угрюмого николаевского тридцатилетия.





венников по мыслям и борьбе — декабристов только открывалась «антикорфикою» 1857—1858 гг.

После амнистии возвратившиеся декабристы сделались *шестидесятниками*; в России и за границей во время подъема 1856—1863 гг. произошло «второе явление» декабря. В Вольных изданиях Герцена появились, полностью или частично, сочинения Лунина («Взгляд на тайное общество...», «Разбор Донесения следственной комиссии», «Письма из Сибири»); воспоминания Николая и Михаила Бестужевых, И. Д. Якушкина, И. И. Пущина, В. И. Штейнгеля, Н. Р. Цебрикова, А. Ф. Бриггена, М. И. Муравьева-Апостола, Ф. Ф. Вадковского, В. Н. Соловьева, А. А. Быстрицкого, А. Е. Мозалевского, С. П. Трубецкого; мемуары «недекабристов» (термин из «Полярной звезды») о встречах с декабристами. Кроме того, впервые увидели печать десятки вольных стихотворений первой четверти века.

Главными «поставщиками» этих рукописей в герценовскую печать были сами декабристы, связанные дружбой и делом с кругом молодых общественных деятелей, историков, публицистов — М. И. Семевским, А. Н. Афанасьевым, В. И. Касаткиным, П. А. Ефремовым, Н. В. Гербелем и особенно Е. И. Якушкиным. Как известно, Якушкин-младший был вдохновителем почти всех декабристских мемуаров 1850—1860-х годов, передавал уже завершенные рукописи другим свидетелям события для дополнения и затем отсылал их Герцену.

Вольная печать, однако, приводила в движение не только рукописи, исходившие от близких сторонников и соратников, но также разнообразные документальные пласты, скрытые под спудом еще за много лет до этого... Существенным эпизодом в сражениях за декабристское наследство были документы и материалы, собранные и опубликованные П. В. Долгоруковым, видным представителем русской эмиграции 1860-х годов, выступавшим по ряду вопросов, особенно при рассекречивании прошлого, заодно с Вольной печатью Герцена и Огарева.

Петр Владимирович Долгоруков — потомок знатнейшей княжеской фамилии (непосредственно происходившей от причисленного к святым древнего князя

Михаила Черниговского), полагавший себя более родовитым, чем Романовы, — с ранних лет он был известен как нарушитель светских законов и приличий. Уже в 11 лет за какую-то шалость его изгоняют из камер-пажей, и придворная карьера пресекается. С юных лет *le bancal* (кривоногий — так дразнили хромого аристократа) был зол и мстителен.

Впрочем, к началу 1840-х годов аристократическая родня и свет решили, что если «непутевый князь» занялся дворянскими родословными, то это значит, что он утих и соответствует своему титулу и богатству. В течение многих лет он подготавливает четыре тома «Российской родословной книги», сохраняющие научную ценность до сего дня.

Все это, как выяснилось позже, была только поверхность явлений, под которой накапливался грозный заряд обиды, мстительности, честолюбия, своенравия и, наконец, свободомыслия.

Меж тем в тиши Чернского уезда Тульской губернии и во время поездок в столицы и за границу князь узнавал, собирал, систематизировал разнообразнейшие секретные документы, рассказы, слухи.

Пушкина, как отмечалось, с опаской пускали в архивы, тайные мемуары императрицы Екатерины II не разрешалось читать даже взрослому наследнику престола. Подлинные документы Тайной канцелярии и Следственной комиссии 1825—1826-х годов лежали закованные в сундуках, а прочность замков постоянно свидетельствовалась...

И в это самое время «кривоногий князь» читает многие из запретных документов, а также те бумаги, которые в государственных хранилищах не числятся, но сохранились в громадных семейных архивах знатнейших фамилий. Долгорукова охотно допускают к своим тайнам честолюбивые аристократы, чтобы князь представил все «как нужно». в своих генеалогических трудах. С ним охотно и откровенно говорит князь Дмитрий Голицын, московский генерал-губернатор в течение четверти века, сын «пиковой дамы». Таков же с ним граф Петр Толстой, один из ближайших к Николаю I людей, некогда участвовавший в убийстве отца своего императора. Один из главных собирателей старинных и недавних документов—

Петр Федорович Карабанов на девятом десятке лет не только принимает Долгорукова и потчует удивительными рассказами о прошедшем, но и завещает ему после смерти (1851 г.) целый сундук исторических рукописей.

«Я знал много стариков, — вспоминает позже Долгоруков, — я всегда любил вызывать их на разговоры, слушать их, записывать их рассказы; воспоминания некоторых из них шли далеко назад и часто основывались на воспоминаниях других стариков, которых они сами знали в отдаленные дни их молодости. Явись к большей части таких людей человек, занимающийся историей, хоть будь Тацитом или Маколеем, ему бумаг этих не сообщат... Но явись человек, хотя бы ума ограниченного, только занимающийся родословными, и ему поспешают все показать и все сообщить»<sup>1</sup>. Для губернаторов, сенаторов, министров, даже членов царской фамилии Долгоруков — свой, а среди своих, за многими дверями, возникает иногда уютное чувство особой откровенности, когда можно высказать почти все про всех.

Первый тревожный для власти сигнал о направлении долгоруковских занятий поступил еще в 1842 г., когда под псевдонимом граф Альмагро князь напечатал в Париже по-французски «Заметки о главных фамилиях России»<sup>2</sup>. В этой книге он, между прочим, настаивал на том, что Романовы, воцаряясь в 1613 г., обещали советоваться с народом (Земскими соборами), но вскоре позабыли свои конституционные заверения. Кроме того, в брошюре имелись намеки на некоторые события, давно приговоренные к умолчанию, — убийство Павла I, декабристы. Другое издание книги с прямым указанием на авторство князя Петра Долгорукова появилось тогда же в Брюсселе и Лейпциге<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> П. В. Долгоруков. Петербургские очерки. М., 1934, стр. 91—92.

<sup>2</sup> По свидетельству самого Долгорукова, псевдоним был им выбран случайно, по названию города в Новой Кастилии, в трех лье от Сьюдад-реал (Ламанча). — ЛБ, ф. 233 (С. Д. Полторацкого). 25. 35, л. 139.

<sup>3</sup> В 1858 г. берлинский издатель Ф. Шнейдер выпустил третье издание книги «без разрешения и против воли автора» (там же).

Первоначально в Петербурге не разобрались, какова книга Альмагро. 22 декабря 1842 г. (3 января 1843 г.) газета министерства иностранных дел «*Journal de St. Pétersbourg*» еще рекламировала выходящий труд. Однако вскоре, как сообщала осведомленная английская «*Morning post*», «князь послал книги в Санкт-Петербург, где они произвели большую сенсацию, особенно предисловие от 7 января 1843 г., где говорилось о готовящейся истории России. Мы информированы, что Долгоруков не передал в верные руки свою историю и что он надеется такой мерой смягчить угрожающие ему репрессии»<sup>4</sup>. В русской печати, понятно, ничего не сообщалось об этой операции, и тем интереснее реакция осведомленной французской прессы.

28 марта 1843 г. «*Journal de débats*» сообщала о приглашении Долгорукову явиться в Россию: «Его брошюра произвела громадное впечатление при дворе, словно она содержала неопровержимые идеи и опаснейшие тенденции. Вот место, которое особенно сильно задело императора Николая: «Конституция, которой Михаил Романов присягнул в 1613 году, а его сын и наследник Алексей — в 1645, не разрешала государю без предварительного обсуждения обеих палат [земского собора, боярской думы] устанавливать новые налоги, заключать мир и приговаривать к смерти [...] Петр I, который видел мало толку в конституционных формах, упразднил обе палаты, и после того ни одна русская книга не смела о них упоминать. Однако официальные документы сохраняются в государственных архивах».

Ссылаясь на известия, полученные от собственного корреспондента, та же газета отмечала другое место, вызвавшее гнев императора: объявление Дол-

<sup>4</sup> Здесь и далее используется коллекция вырезок из иностранных газет о книге Альмагро, собранная С. Д. Полторацким (ЛБ, ф. 233. 25. 35). Согласно сообщению С. Д. Полторацкого, в газетах, поступавших в русские библиотеки, цензура вырезала отклики на книгу Долгорукова (там же, л. 155).

Как известно, петербургские власти были подробно информированы о книге Долгорукова агентом III отделения за границей Я. Н. Толстым (М. К. Лемке. Николаевские жандармы и литература. 1826—1855 гг. СПб., 1909, стр. 529—547).

горукова, что он представит русское дворянство «от его зарождения, покажет изменения в нем — как его цивилизовали силой против воли и, как, однажды, встав на этот путь, оно зашло более далеко, чем желали его цивилизаторы». Развитие этой мысли Альмагро — Долгорукова обещалось читателям в сочинении, начатом автором три года назад «и в настоящий момент близком к завершению... Эта работа, озаглавленная «История России после установления династии Романовых», будет завершена к маю».

Газета «Temps» 29 марта 1843 г. сообщила, что нельзя было нанести худшего оскорбления Николаю I, как напомнить, что он занимает трон согласно конституционным условиям: «Император Николай к тому же имеет личные, особые мотивы гневаться на эти напоминания, так как он знает, что заговор 1825 года, который имел среди своих вождей Трубецкого, стремился к установлению конституции 1613 года, уничтоженной с основанием Петербурга»<sup>5</sup>. Смысл сочинения Долгорукова французские газеты видели в том утверждении, что свобода в России — очень древняя, а деспотизм — нов (когда-то эту мысль высказывала де Сталь).

Николай I и Бенкендорф затребовали Долгорукова в Россию, где его арестовали и отправили на службу в Вятку (за 8 лет до того именно в Вятке уже отслужил ссыльный Александр Герцен). Однако даже из ссылки опальный князь сумел надерзить: он написал Бенкендорфу, что смиренно принимает перемену местожительства, но, согласно закону о вольности дворянской, никто не может заставить его служить. Николай был так изумлен, что велел «освидетельствовать умственные способности» сосланного, и все же от службы освободил, а вскоре вернул из ссылки (слишком знатная фамилия и влиятельная

<sup>5</sup> Понятно, представления о «конституции 1613 года» были модернизацией истории XVII в. в терминах XIX столетия. Однако вполне реальным было, во-первых, исчезновениесловно-представительных учреждений в XVIII в., а во-вторых, частые обращения свободной мысли начала XIX в. к примерам «древних вольностей». Вспомним пушкинское: «Неблагодарные [Романовы]! 6 Пушкиных подписали избирательную грамоту! Да двое руку приложили за неумением писать! А я, грамотный потомок их, что я? Где я?» (П. XIII. 182).

родня!). К тому же другой дворянский публицист — Иван Головин, выступивший в это время с заграничным памфлетом против Николая I, отказался вернуться по вызову III отделения, был объявлен вне закона и косвенно облегчил участь более послушного Долгорукова<sup>6</sup>.

В секретных государственных архивах осталась часть долгоруковских бумаг, конфискованных у него при аресте<sup>7</sup>. Князь продолжал свои генеалогические занятия, но после полученной встряски сделался много осторожнее. Впрочем, его сложные оппозиционные настроения не выветрились от вятских морозов. Уже в это время аристократический протест «боярина» Рюриковича соединялся с мыслями о пользе различных дворянских выступлений против деспотизма. В частности, Долгоруков видел в своих действиях продолжение декабризма, претендуя на историческое наследство людей 14 декабря.

«Мы с тобою, уже доживающие пятый десяток лет наших, — писал позже Долгоруков И. С. Гагарину, — помним поколение, последовавшее хронологически прямо за исполинами 14 декабря, но вовсе на них непохожее; мы помним юность нашего жалкого поколения, запуганного, дрожащего и пресмыкающегося, для которого аничковские балы составляли цель жизни. Поколение это теперь управляет кормилом дел — и смотри, что за страшная ерунда. Зато следующие поколения постоянно улучшаются, и, не взирая на то, что Россия теперь в грязи, а через несколько лет будет, вероятно, в крови, и нимало не унываю, и все-таки — *Гляжу вперед я без боязни...*»<sup>8</sup>

<sup>6</sup> О Головине в «Былом и думах» (Г. XI. 404—430; комментарий, стр. 724—726); М. К. Лемке. Николаевские жандармы и литература 1826—1855, стр. 553—572.

<sup>7</sup> М. К. Лемке. Николаевские жандармы и литература 1826—1855, стр. 538—540; ЦГИА, ф. 1250, XVI, № 47 (о рассмотрении старинных бумаг князя Долгорукова, 1843, 209 л.).

<sup>8</sup> ЦГАЛИ, ф. 1245 (П. В. Долгоруков) № 3. Письмо от 18/6 января 1863 г. Фотокопии нескольких писем П. В. Долгорукова, в том числе шести писем к И. С. Гагарину, сохранились в ЦГАЛИ, куда попали из Государственного литературного музея: в 1930-х годах по инициативе В. Д. Бонч-Бруевича были получены копии ряда долгоруковских материалов из архива И. С. Гагарина в парижской Славянской библиотеке,



Репрессии за одно упоминание о прежних русских свободах и свободолобцах только усилили интерес Долгорукова к этим предметам. К 1840-м годам относится появление документа о декабристах, оказавшегося со временем в архиве Долгорукова. Не затрагивая пока причудливой истории его бумаг, рассмотрим интересующую нас рукопись.

12 листов заполнены не слишком разборчивым черновым почерком князя: «нотаты», т. е. заметки о декабристах<sup>9</sup>. Как будто ничего особенного — список осужденных по делу 14 декабря; список почти полный, 114 человек из 121, с точным указанием места ссылки, а также географии и хронологии последующих перемещений каждого по Сибири и Кавказу. Эти сведения сейчас легко доступны любому — достаточно взять изданный в 1925 г. «Алфавит» декабристов, к которому первоклассные знатоки Б. Л. Модзалевский и А. А. Сиверс составили примечания с максимальным числом подробных данных о каждом революционере. Точные сведения о судьбе ссыльных взяты учеными в основном из тех дел, которые были заведены в секретном архиве III отделения на каждого осужденного декабриста и где фиксировались все скудные внешние перемены их существования: выход на поселение, разрешение или запрет служить, освобождение, но под надзором, или амнистия для тех, кто дожил...

Но откуда же в XIX в. князь Долгоруков мог получить такую сводку и, вероятно, позже поделить ее с Герценом и другими противниками власти?

114 лиц — и почти все сведения абсолютно точны; формулировки же часто именно такие, как в соответствующих делах III отделения.

Может быть, эти данные были почерпнуты у какого-либо ссыльного? Но каждый знал обычно лишь о группе товарищей, соседей по ссылке, и уже куда хуже представлял более дальних друзей по несчастью. Никто из них не мог бы верно и своевременно узнать десятки дат — скажем, день перевода Михаила Нарышкина из одного черноморского батальона в другой, точную формулировку секретного определе-

<sup>9</sup> ЦГАОР, ф. 728, № 1406.

ния о необходимости «Дивова содержать в работах особо» или о смерти Лунина в Акатуевской тюрьме.

Наиболее вероятный вариант — князь Петр Владимирович (или его информатор) сумел при помощи своих связей заглянуть в секретные дела III отделения; возможно, через третьих лиц, усиливая свою просьбу деньгами или заверениями о необходимости для собирателя дворянских родословных точно знать, в какой глухой волости содержатся бывшие князья Волконский, Трубецкой, Щепин-Ростовский и в каком монастыре кончается жизнь князя Шаховского.

Дату проникновения Долгорукова, или его корреспондента, в недра «всероссийской шпионницы» (долгоруковское выражение) тоже можно установить. Дело в том, что подробнейшие сведения о судьбах декабристов обрываются на 1846 г. Смерть Лунина (3 декабря 1845 г.) еще отмечена, об освобождении из Петропавловской крепости Батенькова (январь 1846 г.) тоже есть, но о перемещении его в Томск в марте 1846 г. уже не сказано: видно, этот факт не успел еще осесть в секретном деле. Нет сообщения и об увольнении от службы Беляева второго (21 января 1846 г.) и вообще никаких более поздних событий, как, например, смерть Иосифа Поджио (1848 г.), Митькова (1849 г.) и др.

Конечно, версии о том, как князь получил эти данные, могут быть разнообразными; не исключено, что справка, обрисовавшая положение декабристов на 1846 г., составлялась для какой-то важной персоны, а к Долгорукову попала позже, но так или иначе в мертвое николаевское время, в конце 1840-х годов, из самого секретного николаевского ведомства утекли на волю сведения о тех, кого старались забыть...

Когда началась либеральная эра первых лет Александра II, Петр Долгоруков решил, что настал его час. Он буквально обстреливал нового царя и министров различными проектами по крестьянскому и другим вопросам, почти не скрывая своих конституционных убеждений<sup>10</sup>.

<sup>10</sup> Предисловие С. В. Бахрушина к кн. П. В. Долгорукова «Петербургские очерки». М.—Л., 1934, стр. 61—63.

О планах и настроениях князя в 1856—1860 гг. свидетельствуют, между прочим, некоторые из его неопубликованных писем, сохранившиеся в архивах адресатов.

19 сентября 1858 г. Долгоруков сообщал Н. В. Путяте подробности своих столкновений с тульскими крепостниками на заседании губернского комитета<sup>11</sup>.

В письме Путяте от 21 декабря 1858 г. из Петербурга Долгоруков сообщал, что когда Александр II назначил в Высший цензурный комитет трех сановников — Муханова, Адлерберга, Тимашева, то министр просвещения Ковалевский «просил назначить иных лиц, а именно литераторов, называя Тютчева, И. С. Тургенева и других; государь рассердился и сказал ему: «Что твои литераторы! Ни на одного из них нельзя положиться!» Ковалевский просил назначить хоть из придворных, но из людей по крайней мере известных любовью к словесности: кн. Николая Орлова, графа Алексея Конст. Толстого и флигель-адъютанта Ник. Як. Ростовцева — и получил самый резкий отказ. Таким образом, литература поступила под ведомство III отделения, и ясно обнаружилась и совершенное неведение общественного мнения, и совершенное непонимание потребностей современных, и глубокая, родовая ненависть, со млеком всосанная, ко всему пишущему и мыслящему. Теперь сомнение становится столь же невозможным, как и надежды; положение безысходно и будущее грозно [...] Вероятно, последствием этого комитета будет значительное усиление печати русской литературы за границею и рукописной литературы в России»<sup>12</sup>.

В письме П. И. Бартеневу, 1 июля 1857 г., Долгоруков рассуждал о XVIII в., но ни на минуту не забывал своего времени и своего недовольства:

«В 1767 году при собрании депутатов всероссийских 23-летний граф Андрей Петрович Шувалов избран был секретарем и ему поручено было вести протоколы этого бессмертного собрания. Ему было дано несколько помощников, в том числе 22-летний Мих. Илл. Голенищев-Кутузов. Заметьте молодость лет их.

<sup>11</sup> ЦГАЛИ, ф. 394 (Н. В. Путятин), оп. 1, № 99, л. 1—3.

<sup>12</sup> Там же, л. 4—5.

В то время не требовалось одного удара паралича для поступления в Сенат, а двух для поступления в Гос. совет»<sup>13</sup>.

И в 1850-х годах и позже возникали дискуссии о смысле долгоруковской оппозиции: одни находили, что князь — «красный либерал», другие — что все дело в желании (которое он, кстати, не скрывал) попасть в статс-секретари или губернаторы, третьи видели во всем сведение счетов Долгорукова со старыми недругами. И по-видимому, все были правы: широкая и странная натура князя вмещала «несколько формаций» — от древнейших феодальных традиций до новейших конституционных идей. В конце концов «князь-республиканец» напугал свое сословие: «наверх» его не взяли, и он отправился за границу с немалыми деньгами и кипами исторических бумаг. Вскоре выходит его труд «Правда о России», который настолько соответствовал своему названию, что «кузен Базиль», т. е. шеф жандармов Василий Долгоруков, потребовал «кузена Пьера» к ответу. Хотя полемику вели весьма знатные персоны, политес не особенно соблюдался. «Что же касается до сволочи, составляющей в Петербурге царскую дворню, — писал Петр Долгоруков в III отделение из Парижа, — пусть эта сволочь узнает, что значит не допускать до государя людей умных и способных. Этой сволочи я задам не только соли, но и перцу».

Вскоре в «Колоколе» появилась переписка князя с русским правительством, где, между прочим, имелись следующие (переведенные с французского) документы<sup>14</sup>:

«Российское Генеральное Консульство в Великобритании № 497.

10/22 мая 1860 года.

Нижеподписавшийся, управляющий Генеральным Консульством, имея сообщить Князю Долгорукову официальную бумагу, просит сделать ему честь пожаловать в Консульство послезавтра в четверг, во втором или третьем часу пополудни.

Ф. Грот».

<sup>13</sup> ЦГАЛИ, ф. 46 (П. И. Бартенева), оп. 1, № 559, л. 188 об.

<sup>14</sup> «Колокол» № 73—74, 15 июня 1860 г., стр. 612—613.

«Лондон, 10/22 мая 1860 года.

Если господин управляющий Генеральным Консульством имеет сообщить мне бумагу, то прошу его сделать мне честь пожаловать ко мне в Отель Кларидж, в Пятницу 13/25 мая, во втором часу пополудни.

Петр Долгоруков».

«Российское Генеральное Консульство в Великобритании № 498

12/24 мая 1860 года.

Нижеподписавшийся, управляющий Генеральным Консульством, имеет поручение пригласить Князя Долгорукова немедленно возвратиться в Россию вследствие Высочайшего о том повеления. Нижеподписавшийся просит Князя Долгорукова почтить его уведомлением о получении сего сообщения.

Ф. Грот».

«Письмо к Начальнику III отделения. Лондон, 17/29 мая 1860 г.

Князю В. А. Долгорукову.

Почтеннейший Князь Василий Андреевич, вы требуете меня в Россию, но мне кажется, что, зная меня с детства, вы могли бы догадаться, что я не так глуп, чтобы явиться на это востребование? Впрочем, желая доставить вам удовольствие видеть меня, посылаю вам при сем мою фотографию, весьма похожую. Можете фотографию эту сослать в Вятку или в Нерчинск, по вашему выбору, а сам я — уж извините — в руки вашей полиции не попадусь, и ей меня не поймать!

Князь Петр Долгоруков».

Там же публиковалась объяснительная «Записка кн. П. В. Долгорукова», где, между прочим, было: «В нашем веке неоднократно видели, как политические эмигранты возвращались на родину, а члены правительства, их дотоле преследовавшие, обрекались на изгнание. Искренно желаю, чтобы дом принцев Голштейн-Готторпских, ныне восседающий на престоле Всероссийском, понял наконец, где находятся его истинные выгоды; желаю, чтобы он снял наконец с себя опеку царедворцев жадных и неспособных (мнимая к нему преданность коих не переживет

годов его могущества); желаю, чтобы он учредил в России порядок правления дельный и прочный, даровал бы конституцию и через то отклонил от себя, в будущем, неприятную, но весьма возможную случайность промена Всероссийского престола на вечное изгнание...

Князь Петр Долгоруков».

Как известно, это была не первая и не последняя выходка князя, разумеется, не столько против шефа жандармов — такого же потомка Рюрика и Михаила Черниговского, как он сам, — сколько против менее знатной, но более преуспевшей фамилии Романовых (небрежно обозванных Голштейн-Готторпскими)<sup>15</sup>.

В мае 1860 г. 43-летнего князя догоняет высочайший указ «О запрете на имение...» Затем его лишают титула, объявляют изменником, изгнанником. Это был не первый и не последний дворянин, выступивший против своей власти и сословия. («Родился и жил я, — пояснял Долгоруков, — подобно всем русским дворянам, в звании привилегированного холопа в стране холопства всеобщего»). Однако никогда еще в решительной оппозиции и эмиграции не оказывался человек, одновременно столь знатный и столь осведомленный.

В том же номере герценовского «Колокола», где князь Петр просил князя Василия сослать в Сибирь его фотокарточку, было напечатано заявление:

«На будущее время я предлагаю издать следующие книги:

- 1) Россия с 1847 по 1859 год;
- 2) История заговора 14 декабря 1825 года;
- 3) История России;
- 4) Записки о России с 1682 по 1834 год;
- 5) Биографический и родословный словарь русских фамилий;
- 6) Мои собственные Записки, начатые с 1834 года (они ускользнули от осмотра бумаг моих, произведенного III отделением в 1843 году).

Князь Петр Долгоруков».

<sup>15</sup> Намек на прекращение прямой мужской линии Романовых после Петра II и царствование «немецкой родни» — Петра III, Екатерины II и т. д.



10 сентября 1860 г. Долгоруков писал из Ниццы другому русскому князю — священнику-иезуиту И. С. Гагарину:

«С будущего года я смогу ежегодно, издавать обзор происшествий в России за каждый предыдущий год под заглавием «Des hommes et des choses en Russie en l'année 18...»<sup>16</sup>. Первая книга, о 1860 годе, выйдет, надеюсь, в феврале 1861 года; тут помещены будут биографии всех лиц, ныне занимающих в России важные места или имеющих влияние на дела, биографии, разумеется, политические, не вмешиваясь в частную жизнь»<sup>17</sup>.

Через 2 месяца, 20/8 ноября 1860 г., из Парижа:

«Я буду ежегодно издавать по-французски «Revue annuelle des hommes et de choses en Russie»<sup>18</sup>. Обзорение 1860 года выйдет, надеюсь, в марте или в апреле 1861 года, и в нем помещены будут политические биографии наших деятелей и наших бездельников» [...] По довольно странному стечению обстоятельств, я живу в том же самом доме, где жил в 1842 и 1843 годах и написал брошюру графа Альмагро. Только теперешняя моя квартира выходит на улицу»<sup>19</sup>.

Программу эту князь не выполнил, но — выполняя и за семь лет сумел нагнать страху на многих, по должности самых смелых подданных Российской империи. Вот перечень некоторых статей и очерков, напечатанных Долгоруковым за границей<sup>20</sup>. В скобках иногда указывается значение атакуемого лица.

Нынешнее положение дел при дворе. Взгляд назад. Император Александр Николаевич. Его характер и образ жизни. Его жена Мария Александровна.

<sup>16</sup> О русских людях и делах в 18... году (фр.).

<sup>17</sup> ЦГАЛИ, ф. 1245, № 3.

<sup>18</sup> Ежегодное обозрение русских людей и дел (фр.).

<sup>19</sup> ЦГАЛИ, ф. 1245, № 3.

<sup>20</sup> Наиболее интересные заграничные работы П. В. Долгорукова были изданы в 1934 г. в кн. «Петербургские очерки», которую собрал и приготвил к печати П. Е. Щёголев; дополнил, снабдив введением и примечаниями, С. В. Бахрушин.

Интересная переписка Долгорукова (1860-х годов) опубликована в ст. В. Сливовской «Два эпизода из жизни Петра Долгорукова». — «Przegląd historyczny», 1967, т. LVIII, № 2, стр. 301—318.

Великий князь Константин Николаевич и константиновцы.

Карьера Мины Ивановны [всесильная фаворитка влиятельнейшего графа В. Адлерберга].

Граф В. Ф. Адлерберг и подрядчики. Граф А. В. Адлерберг. Их сестра графиня Баранова. Полудинастия Адлербергов и Барановых.

Гр. Блудов, В. П. Бутков. Кн. А. М. Горчаков [соответственно председатель Государственного совета, государственный секретарь и министр иностранных дел].

Александр Егорович Тимашев, А. Л. Потапов, семейство Шуваловых [в разное время начальники III отделения].

Граф Александр Густавович Армфельд и князья Барятинские [влиятельные придворные; А. Барятинский — наместник Кавказа].

Князь Александр Федорович Голицын [председатель многих секретных следственных комитетов].

Михаил Николаевич Муравьев. Биографический очерк [министр, подавитель Польши в 1863—1864 гг.].

Министр Ланской.

О том, что происходит в министерстве финансов.

Генерал-губернатор Анненков.

Законодатель Войт.

Граф Киселев [министр, затем посол в Париже].

Многие важные, интимные подробности об этих персонах сопровождалось пояснением автора: «я сам слышал...», «в беседе со мною...», «мне сообщили об этом...» — и далее ссылки на весьма уважаемые имена.

Князь писал недурно, Герцен даже ставил его как журналиста в пример Огареву. В работах его был, пожалуй, лишь один явный недостаток, о котором довольно точно написал однажды Долгорукову князь И. С. Гагарин<sup>21</sup>: «Княже Петре! Хотя я теперь очень занят разными церковными и духовными упражнениями, я немедленно от доски до доски прочел твои листы. Что же тебе сказать после чтения? Лю-

<sup>21</sup> Письмо не опубликовано; на нем нет даты, но оно явно относится к весне 1860 г. и хранится в ЦГАОР, ф. 728 (рукописное собрание библиотеки Зимнего дворца), № 2652, л. 13.

боятно и зело полезно и весьма, но иногда и чересчур круто сказано. Ты мне напоминаешь Курбского, но у Курбского корреспондентом был Грозный, а Грозного теперь нету. Мне кажется, что можно бы было то же сделать, но мягче; а тебя читаешь, читаешь, а вдруг шум раздается, как будто тяжелая оплеуха упала на какую-то щеку, немножно опомнишься, продолжаешь читать, страницу перевернул, вдруг—бум! Опять раздалась оплеуха, и на другой щеке, так что иногда невольно жаль становится всех этих щек, а если бы то же понежнее сказать, можно бы так было устроить, что их совсем не жаль, а, напротив, они еще смешны».

Этой манеры князя всегда побаивался Герцен и, когда давал коллеге-эмигранту «место под Колоколом», был готов к бурным сценам, даже к вызову на дуэль за попытку разбавить крепчайшие «долгорукизмы».

Однако «издержки характера» все же не уничтожали смысла публикаций, и при всех идеологических различиях и разногласиях Герцен и Долгоруков часто выступали сообща.

«Всем известны, — писал Долгоруков в 1861 г., — высокий ум А. И. Герцена, его блистательное остроумие, его красноречие, своеобразное, колкое и меткое, и замечательные способности Н. П. Огарева, являющего в себе весьма редкое сочетание поэтического дара с познаниями по части политической экономии и с даром обсуждения вопросов финансовых и политических. Мы не разделяем политических мнений гг. Герцена и Огарева: они принадлежат к партии социалистов, а мы принадлежим к партии приверженцев монархии конституционной, но мы душевно любим и глубоко уважаем Александра Ивановича и Николая Платоновича за их благородный характер, за их отменную благонамеренность, за их высочайшее бескорыстие, столь редкое в наш корыстолюбивый век»<sup>22</sup>.

Впрочем, для Долгорукова характерны и резкие «качания», и прямо противоположные суждения.

<sup>22</sup> 4 июня 1862 г. Долгоруков писал Гагарину: «Зная мое остается то же: конституционная монархия на республиканских основаниях» (ЦГАЛИ, ф. 1245, № 3).

В своих изданиях он мог защищать восставших поляков, солидаризироваться с Герценом и в то же время писать Гагарину, что мечтает о «свободной от русского золота и от польских претензий русской типографии за границей»<sup>23</sup>. Очень «по-долгоруковски» описано свидание князя с Герценом, Огаревым и Бакуниным в письме от 31 октября 1862 г.:

«В Лондоне я провел две недели: видался с Герценом, который так же остроумен и так же легкомыслен, как и прежде; с Огаревым, по-прежнему добрейшим и тупоумным; познакомился с Бакуниным, умным, но самым взбалмошным существом, истым героем баррикад: накануне и на другой день после баррикад невозможным, но в самый день битвы великолепным.

Представь себе Барбеса, но умного и с даром слова. Познакомился с Кельсиевым, тупоумным, но добрым человеком, ужаснейшим фанатиком с лицом самым добродушным. Кельсиев, мягким голосом, с нежным взглядом, говорит: «Ведь коли нужно будет резать, как не резать, если оно может быть полезным?», а между тем делится с нищим последнею своею копейкою. Все эти лондонские господа несут чушь ужаснейшую: «жечь, резать, рубить» у них не сходит с языка со времени приезда в Англию Бакунина, который их сделал еще нелепее прежнего. Бакунин мне говорит: «Я вас очень полюбил, но уж извините, когда мы заберем власть в руки, мы вам и вашим единоверцам будем рубить головы». Я ему ответил: «Михаил Александрович, когда мои политические единоверцы будут иметь власть в руках, мы не только не будем рубить никому голов, но еще, надеюсь, уничтожим смертную казнь, но вас, хотя я вас очень полюбил, мы, извините, засадим снова в Шлиссельбургскую крепость»<sup>24</sup>.

Герцен же, даже в период размолвок со слишком нервным князем, признавался: «Долгоруков мне слишком друг — этого не переделаешь вдруг» (Г. XXVIII. 104).

В другой раз Огареву: «Аристократ ли я, дурак

<sup>23</sup> Там же.

<sup>24</sup> ЦГАЛИ, ф. 1245, № 3.

ли я — не знаю, но с Долгоруковым у меня есть общий язык» (Г. XXIX. 330).

Сейчас нам трудно представить, что в 1860-х годах имя Долгорукова для многих друзей и врагов стояло рядом, чуть ли не наравне с Герценом. Более того, в каком-то смысле высшие власти боялись Долгорукова даже больше, чем Искандера. Герцен был много опаснее по силе влияния на десятки тысяч грамотных читателей, он воспитал целое поколение протестующих дворян и разночинцев, его необыкновенный литературный и публицистический талант притягивал к нему даже людей инакомыслящих, но замороженных блеском и мастерством. Но Герцен и Огарев все же никогда не были так близки к «верхам», чтобы лично знать едва ли не всех своих противников. Информация «Колокола» и других герценовских изданий была результатом рискованной деятельности тайных корреспондентов. Другое дело — Долгоруков, сам вышедший из тех сфер, которые теперь сделал мишенью.

С. В. Бахрушин писал в предисловии к «Петербургским очеркам»: «Сила Долгорукова-журналиста заключалась исключительно в том, что он знал хорошо ту правящую среду, против которой он направлял тяжеловесный огонь своих батарей, и не стеснялся вскрывать перед читателем ее реальную физиономию. На страницах его листов русский, попавший за границу, с захватывающим любопытством читал самые интимные подробности о таких людях, имена которых у себя дома, в России, он не дерзал произносить вслух; а в Петербурге ни один из самых блистательных сановников не мог быть уверен, что в очередном номере «Будущности» или «Листка» он не найдет свой портрет, облитый грязью. А поскольку всем было известно, что Долгоруков до своего отъезда был действительно близок к тем сферам, которые он теперь так жестоко разоблачал, то это придавало его разоблачениям особенную ликантность, а его инвективам — особенную убийственность»<sup>25</sup>.

Войну с долгоруковскими изданиями петербургские власти вели без устали; первую газету — «Бу-

<sup>25</sup> П. В. Долгоруков. Петербургские очерки, стр. 87.

душность», выходявшую в Париже<sup>26</sup>, пришлось прекратить, так как французские издатели потребовали переменить программу. Почувствовав тут руку российской полиции и дружественной к ней французской, князь решил следующую свою газету, «Правдивый», печатать уже в Лейпциге<sup>27</sup>. Однако и тут, после посещения типографии русским консулом и последовавшей денежной сделки, пришлось менять почву — и третья газета, «Листок», появилась в Брюсселе<sup>28</sup>. Весной 1863 г., ожидая прямой атаки бельгийских властей, Долгоруков перенес издание в Лондон, откуда послал своему «второму другу» Наполеону III пророчество, что вскоре и тот вынужден будет спасаться от французов за Ламаншем (все сбылось семь лет спустя).

Из Лондона Долгоруков позже перебрался в Женеву. Князь старел, делался все нетерпимее и злее, устраивал сцены любому подвернувшемуся ему русскому аристократу (те бегали от него в Швейцарии, как от прокаженного). По словам Герцена, он, «как неутомимый тореадор, дразнил без отдыха и пощады, точно быка, русское правительство и заставлял дрожать камарилью Зимнего дворца». Неоднократно «Колокол» и Долгоруков выступали по одним и тем же сюжетам<sup>29</sup>.

Правительство мстило как могло, порой больно. В 1863 г. в России впервые было опубликовано мне-

<sup>26</sup> 25 номеров — с 15 сентября 1860 г. до 31 декабря 1861 г.

<sup>27</sup> 6 номеров — с 27 марта по 12 июня 1862 г.

<sup>28</sup> 22 номера — с ноября 1862 до 28 июля 1864 г.

<sup>29</sup> В «Листке» (№ 1, ноябрь 1862 г.) была сочувственно перепечатана «Прокламация к русским», появившаяся в «Колоколе» (№ 140); в номере 4-м «Листка» появилась перепечатка из «Колокола» (№ 153) о революционном офицере Андрее Красовском. Номер 2-й той же долгоруковской газеты опубликовал материалы из «Колокола» (№ 151) о некоем Петре Новицком, будто бы донесшем на М. И. Семевского и других лиц; в номере 6-м (март 1863) — материалы «Колокола» (№ 161) о Польше; множество пересечений с герценовско-огаревскими изданиями в материалах «Листка» о Печерине (№ 12), Мартьянове (№ 16), III отделении (№ 8) и др. Разумеется, история связей Вольной печати Герцена с долгоруковским станком — большая тема для специального исследования.



ние некоторых близких к Пушкину людей, будто 3 ноября 1836 г. именно 19-летний Петр Долгоруков вместе с 22-летним Иваном Гагариным написали злобный анонимный «диплом»-пасквиль против Пушкина, приведший к смертельной дуэли. В ту пору многие, в том числе и Герцен, не поверили этой новости: очень уж «кстати» появилось обвинение против эмигранта. Долгоруков и Гагарин, разумеется, все решительно отрицали... 60 лет спустя графологическая экспертиза, проведенная по инициативе П. Е. Щеголева, нашла Долгорукова автором пасквиля. Хотя вопрос не считается до сих пор окончательно решенным, но тень от этой истории с 1863 г. лежит на всей биографии князя...

В политических боях и желчных взрывах Долгоруков временами, казалось, был склонен помириться с Петербургом, вернуться, но — снова вскипал и пускался на врага. Выполняя свое раннее обещание — написать историю России за полтора последних столетия, он начал публикацию своих «Записок о России». Первый том вышел на французском языке в 1867 г. и кончался временем Екатерины II. Отсюда следовало, что наиболее острые и интересные главы будут в следующих частях. Однако фактически еще много раньше, начиная с 1860 г., Долгоруков пустил в ход свои богатейшие знания о секретной истории России, собранные в различных архивах при работе над «Родословной книгой», той книгой, за которую автор еще в 1855 г. удостоился специальной награды Александра II.

Впрочем, по своим каналам он продолжал получать и новые материалы. 31 октября 1862 г. извещал Гагарина: «Я получил подлинник Записок Ермолова о 1812 годе, которые напечатаю»<sup>30</sup>. В специальных публикациях, а иногда «к слову», при разго-

<sup>30</sup> ЦГАЛИ, ф. 1245, № 3. Одним из корреспондентов П. В. Долгорукова был известный библиофил, автор эпиграмм, некогда приятель Пушкина, С. А. Соболевский. В большом письме к Долгорукову без даты, но явно относящемся ко времени эмигрантской издательской деятельности князя, Соболевский спрашивал о разных подробностях русской истории XVIII—XIX вв. и критиковал Герцена и Долгорукова за ошибки в публикациях разных стихотворений (ЦГАОР, ф. 728, № 1732).

воре о современной России Долгоруков касался переворотов 1762 г. и 1801 г., фактов — неизвестных или известных, но не опубликованных — о Ермолове, Денисе Давыдове и, конечно, о декабристах.

В борьбе за рассекречивание прошлого Герцен и Огарев часто, при всех разногласиях, блокировались с Долгоруковым. (Впрочем, в своем духе Долгоруков жаловался Гагарину в только что цитированном письме от 31/19 октября 1862 г.: «Между нами сказать, Герцен и Бакунин, коим весьма не нравилось, что я пишу не в их смысле, очень недовольны тем, что я учреждаю типографию, и тем более недовольны, что не буду у себя печатать никаких рукописей в защиту: 1) самодержавия (за это бы они еще не рассердились), 2) коммунизма и 3) атеизма»<sup>31</sup>).

Лучше всего это единство видно по декабристским публикациям. В книгах и трех газетах Долгорукова появилось немало статей и материалов о первых русских революционерах. В «Листке» печатались первые фрагменты из воспоминаний С. Г. Волконского (№ 9, 6 июля 1863 г.). «Будущность» впервые опубликовала записки Евгения Оболенского (№ 5—12) с извинением Долгорукова за то, что печатает материалы декабриста без его ведома<sup>32</sup>. При этом на замечание Оболенского, что восставшим невозможно было победить 14 декабря, Долгоруков отозвался, что победить было можно — следовало только восстать ночью<sup>33</sup>.

<sup>31</sup> ЦГАЛИ, ф. 1245, № 3.

<sup>32</sup> Возможно, это фиктивное извинение и Оболенский сам предоставил свою рукопись в распоряжение сначала близкого друга Е. И. Якушкина, а потом — заграничным изданиям.

<sup>33</sup> Не совсем ясными и доказательными представляются суждения некоторых историков и литераторов о том, что декабристы были обречены на стопроцентный неуспех. Действительно, слабости этого движения, отсутствие массовой основы определяли большую вероятность неудачи; и эта вероятность 14 декабря «сработала». Однако могла ведь осуществиться и меньшая вероятность: кто-то из декабристов (Якубович, например) мог бы, конечно, убить Николая I; восставшие лейб-гренадеры без труда могли бы завладеть дворцом. Об этих возможностях, как вполне реальных, вспоминал позже сам царь. Тогда могла бы образоваться ситуация, при которой власть в Петербурге перешла бы к восставшим. Историки очень не любят разговоров на темы «что было бы, если бы...», чем, кстати, отличаются от социологов, исследователей общест-

Записки Оболенского Герцен, видимо, собирался заимствовать у Долгорукова для «Записок декабристов» в известных сборниках 1862—1863 гг. (Г. XVI. 237); Долгоруков же специальный некролог посвятил (так же как и Герцен) Г. С. Батенькову («Листок» № 16, 22 декабря 1863 г.), А. Н. Муравьеву (№ 17, 28 января 1864 г.), публиковал сведения о Луние, Дивове и других декабристах. Когда враждебная печать задевала дворянских революционеров, Долгоруков с яростью бросался на защиту. Так, 1 сентября 1861 г. брюссельский «Nord» (группор петербургских властей) в статье за подписью М. Правдина грубо нападал на Сергея Трубецкого. Долгоруков отвечал через 3 дня<sup>34</sup>. Он же способствовал распространению сведений и о мужественных женах декабристов, в частности переписывался на эту тему с Ла Фитом де ла Пельпором, автором известного антикрепостнического памфлета, написанного от имени «вяземского мужичка Петра Артамова»<sup>35</sup>. Ла Фит готовил в 1861 г. за границей сборник «Знаменитые женщины», собираясь напечатать там очерки о трех примечательных русских деятельницах — Марфе Борецкой, Наталье Долгоруковой и Екатерине Трубецкой<sup>36</sup>. «Колокол» и «Будущность» сообща обрушились на нечестных родственников Александра Поджио и других, не пожелавших обеспечить возвратившихся из ссылки декабристов какими-либо доходами от имений, некогда принадлежавших амнистированным<sup>37</sup>.

---

венного мнения, которых интересуют и несбывшиеся, но возможные варианты событий. В случае хотя бы временного захвата столицы 14 декабря были бы изданы важные декреты — о конституции, крестьянской свободе, что, конечно, имело бы значительное влияние на историю. Этого не случилось, хотя, бывало, осуществлялись и куда менее вероятные события, например «сто дней» Наполеона, которые могли быть пресечены случайной пулей сторонника Бурбонов.

<sup>34</sup> П. Долгоруков. *Des réformes en Russie*. Брюссель, 1862, кн. 2; полемика с «Nord» напечатана в приложениях, стр. 283—284.

<sup>35</sup> Напечатано в герценовском издании «Голоса из России», кн. V, 1858.

<sup>36</sup> Три письма Ла Фита к Долгорукову (ЦГАЛИ, ф. 177, оп. 1, № 148; ЦГАОР, ф. 109, оп. 1, № 397, л. 191).

<sup>37</sup> «Колокол» № 103, 15 июня 1861 г.; «Будущность» № 15, 4 августа 1861 г.

Случалось даже, что князь высказывался более непримиримо, чем лондонские Вольные издания: Герцен и Огарев, полемизируя с Николаем Тургеневым, не принимали основной мысли его книги «Россия и русские» — будто в России никакого тайного общества не существовало<sup>38</sup>, но при этом относились к старейшему политическому эмигранту с большим почтением и печатали его работы в Вольных изданиях<sup>39</sup>.

Долгоруков же сурово обвинял Тургенева в «отступничестве».

К 1860-м годам относятся важные контакты Герцена и Долгорукова с одним из виднейших декабристов — Сергеем Волконским. Герцен вспоминал о встрече 1861 г.: «Старик, величавый старик, лет восьмидесяти, с длинной серебряной бородой и белыми волосами, падавшими до плеч, рассказывал мне о тех временах, о своих, о Пестеле, о казематах, о каторге, куда он пошел молодым, блестящим и откуда только что воротился седой, старый, еще более блестящий, но уже иным светом...

Я слушал, слушал его и, когда он кончил, хотел у него просить напутственного благословения в жизнь, забывая, что она уже прошла... и не одна она» (Г. XVIII. 91).

Отрывок из «Записок С. Г. Волконского» «Три предателя» (о Шервуде, Бошняке и Майборде) с маскирующей ссылкой на «умершего декабриста» появился в долгоруковском «Листке» (№ 9, 6 июля 1863 г.) и на 38 лет опередил публикацию этих воспоминаний в России<sup>40</sup>.

Публикация Долгорукова была снабжена обширными примечаниями об отдельных декабристах, вероятно, внесенными П. В. Долгоруковым: он ведь предполагал, как отмечалось, тайным реестром о каторжно-ссылной судьбе почти каждого члена тайного общества. О связи этого реестра с Записками Волконского свидетельствуют и некоторые подробности, со-

<sup>38</sup> «14 декабря 1825 и император Николай». Лондон, 1858.

<sup>39</sup> В. М. Тарасова. Декабрист Н. И. Тургенев — сотрудник «Колокола». — Сб. «Проблемы изучения Герцена». М., 1963, стр. 239—250.

<sup>40</sup> «Записки С. Г. Волконского». СПб., 1901. Глава о трех предателях, стр. 425—431.

хранившиеся в долгоруковских бумагах: вслед за 14-м, последним листом упомянутого декабристского «Алфавита»<sup>41</sup> следует лист с записями Долгорукова о намерениях отдельных деятелей тайных обществ; затем, на пяти листах (16—20), переписанная рукой Долгорукова глава без начала и конца о «трех предателях». Это подтверждает правдивость долгоруковского утверждения, что Волконский продиктовал отрывок (или дал скопировать рукопись?).

Соседство «Алфавита» и «Трех предателей» могло быть случайным, искусственным, если только реестр декабристских судеб тоже не был представлен князю-эмигранту князем-декабристом (ссылка на обширные сведения о разных деятелях 14 декабря, полученные от Волконского, находится в некрологе декабриста, написанном Долгоруковым).

На 21-м листе в том же комплексе долгоруковских бумаг находятся тексты, скорее всего восходящие к С. Г. Волконскому и не вошедшие ни в главу о «трех предателях», ни в полную рукопись мемуаров.

Под карандашным планом Иркутска и окрестностей рукой Долгорукова записано: «Когда хоронили Иосифа Поджию и католический священник шел за гробом, то при шествии мимо православной церкви Владимирской божьей матери на ... [отточие в тексте] улице священник православный вышел в облачении, присоединился к погребальному шествию и проводил того до кладбища».

Близость Волконского и братьев Поджию, похоронены И. Поджию, умершего в январе 1848 г. в доме Волконского в Иркутске, — все это позволяет видеть в этом тексте какой-то фрагмент, подготовительный материал к мемуарам С. Г. Волконского (как известно, доведенным автором только до начала 1826 г.).

Такие же фрагменты, возможно записи Долгорукова за декабристом (о дате смерти и о месте похорон нескольких ссыльных), находятся на следующих листах того же дела (л. 22—24).

Когда пришло известие о смерти С. Г. Волконского, некролог его был помещен в «Колоколе»<sup>42</sup>.

<sup>41</sup> ЦГАОР, ф. 728, № 1406.

<sup>42</sup> «Колокол» № 212, 15 января 1866 г., стр. 1733—1735.

Сначала Герцен:

«Сходят в могилу великие страдальцы николаевского времени, наши отцы в духе и свободе, герои первого пробуждения России, участники великой войны 1812 и великого протеста 1825...

Пусто... мелко становится без них...

Князь Сергей Григорьевич Волконский скончался 28 ноября (10 декабря) [...] Спешим передать нашим читателям некролог, присланный нам князем П. В. Долгоруковым».

Некролог-биография Волконского, составленная Долгоруковым (и также опубликованная в «Колоколе»), является важным дополнением к запискам декабриста.

«Все помещенные здесь факты, — писал Долгоруков, — сообщены мне Волконским вместе со многими подробностями о декабристах, которые будут напечатаны в моих записках. Он просил меня не обнародовать их при его жизни и только согласился напечатать продиктованную им мне статью «Три предателя», Бошняк, Майборода, Шервуд, но поставил условием, чтобы означено было, будто статья извлечена из записок умершего декабриста. Эта статья помещена в 9-м № моего журнала «Листок»»<sup>43</sup>.

Этот некролог не понравился некоторым людям, близким к умершему. Возмущение М. С. Волконского (сына декабриста, весьма преуспевающего в ту пору чиновника, будущего товарища министра) поддержал А. В. Поджио. В записках Н. А. Белоголового приводится краткое извлечение из бурного объяснения Поджио с Долгоруковым<sup>44</sup>. Мы не знаем, писал ли действительно Поджио за границу, но находим его развернутый протест в письме М. С. Волконскому (без даты, очевидно, 1866 г.). А. В. Поджио обвинял Герцена и Долгорукова в передаче «искаженного лика нашего старика», который будто бы «в первой встрече с незнакомым человеком становится весь нараспашку, с детской простотой говорит, рассказывает бль и небылицу, заявляет себя сотрудником загра-

<sup>43</sup> Там же, стр. 1733.

<sup>44</sup> Н. А. Белоголовый. Воспоминания. М., 1898, стр. 121—122. Об этом эпизоде в примеч. к кн. П. В. Долгорукова «Петербургские очерки», стр. 431.



ничной печати, сочиняет (конечно, не своим слогом) целую брошюру о трех доносчиках»<sup>45</sup>.

Страстный отклик Поджио был во многом несправедлив. Автограф воспоминаний, написанный характерным, крайне неразборчивым почерком Сергея Волконского, сохранился<sup>46</sup>. Долгоруков, разумеется, не инспирировал и не писал эти страницы за старого декабриста. Даже по свидетельству самого М. С. Волконского, отец его принялся за мемуары «лет за шесть до смерти» и работал над ними в течение 1860-х годов. За несколько страниц до главы о «трех предателях» находится определяющая дата фраза автора: «Пишу я... в 1862 году»<sup>47</sup>. Заметим, что даже через полвека, при издании воспоминаний С. Г. Волконского, предпринятом его сыном, были выпущены некоторые острые строки<sup>48</sup>.

В одном случае выпущенные строки касаются впечатлений Волконского, которого везут под арестом в Петербург: из газеты «Русский инвалид» он узнает о том, что некоторые арестованные декабристы сдались, назвали товарищей. Следующие строки выпущены в печати<sup>49</sup>: «И сознаюсь искренне в этом как наставление для тех, которые замешаны в политику, что политическому лицу, попавшему уже к правительству, никогда не надо доносить...»<sup>50</sup>

Еще более сильно звучали в 1860-х годах строки о тридцати годах ссылки, также не попавшие в публикацию. «Но все это не изменило вновь принятых мною убеждений и на совести моей не лежит гнева и упрека»<sup>51</sup>.

<sup>45</sup> ПД, ф. 57 (Волконских), оп. 3, № 183, л. 11—15.

<sup>46</sup> ПД, ф. 57, оп. 1, № 1.

<sup>47</sup> «Записки С. Г. Волконского», стр. 402.

<sup>48</sup> Намек на боязнь М. С. Волконского вспоминать о революционных убеждениях отца находим у внука декабриста, искусствоведа С. М. Волконского, 4 мая 1917 г. писавшего Б. Л. Моздалевскому (из-под Борисоглебска): «Воспоминания декабристов предстоит отдать в музей. Какой? Музей революции? Мой отец бы ужаснулся» (ПД, № 57 оп. 5, № 3, л. 53 об.).

<sup>49</sup> Ср. «Записки С. Г. Волконского», стр. 444.

<sup>50</sup> ПД, ф. 57, оп. 1, № 1, л. 317—317 об.

<sup>51</sup> Ср. «Записки С. Г. Волконского», стр. 402, и ПД, ф. 57, оп. 1, № 1, л. 286 об. В рукописи есть и несколько других неопубликованных мест.

Тем же крайне неразборчивым почерком Волконский записал в последние годы жизни стихотворные строки, скорее всего собственного сочинения<sup>52</sup>; это своеобразный комментарий к главе о «трех предателях»: мелькают черновые строки о Лунине, Акатуе, предателе Шервуде и между прочим:

Трем собакам дали зов —  
Шервуд верный,  
Шервуд скверный  
И Шервудкою без слов.  
Вас обидели, собаки,  
Дав название подлеца,  
С ним за то не бойтесь драки  
.....

По-видимому, в старом декабристе было куда больше энергии, огня и упорства, чем считали некоторые родственники и друзья.

Вокруг давно прошедших событий, имен, текстов, как видно, шли горячие, нервные споры. Слишком много и многие были задеты. Герцен и Долгоруков наносили ущерб противникам в прошлом и настоящем. Противники не оставались в долгу, и сражение не прекращалось.

В конце 1860-х годов мемуары Долгорукова (по сути не мемуары, а скандальная история двора и знати) приближались к 1800 г. Однако летом 1868 г. 52-летний князь просит спешно приехать Герцена, с которым незадолго перед тем были порваны отношения. Герцен застаёт Долгорукова при смерти и крайне раздраженным. Прежде он угрожал властям, что сделает какие-то особые, сокрушительные публикации, если в России тронут его сына, но теперь, когда единственный сын прибыл к умирающему отцу, последний подозревает, и не без оснований, что наследник хочет увезти в Россию и сдать властям все секретные бумаги. Герцену умирающий безмерно обрадовался и тут же распорядился своим архивом: рукописи завещал польскому эмигранту Станиславу Тхоржевскому, своему другу и многолетнему сотруднику Герцена, однако душеприказчиками, обязанными следить за сохранностью и последую-

<sup>52</sup> ПД, ф. 57, оп. 1, № 16, 22 листа.

шим опубликованием бумаг, объявлялись Герцен и Огарев.

Князь умер 6/18 августа 1868 г. О смерти его было доложено Александру II, и новый шеф жандармов П. А. Шувалов (сменивший «кузена» Василия Долгорукова и лично ненавидевший покойного за обличения семьи Шуваловых) получил несколько необычный царский приказ — добыть или уничтожить архив Петра Долгорукова. Прежде Александр II формально не спускался до «черной работы» III отделения и даже не всегда позволял ему докладывать о перехваченных письмах (это дело жандармских чинов, царь таких подробностей знать «не должен»). Однако здесь, в начале 1869 г., последовало недвусмысленное (разумеется, устное) «добыть» (т. е. выкрасть).

Петр Андреевич Шувалов (у Тютчева — «Петр по прозвищу четвертый, Аракчеев же второй») дал распоряжение своему помощнику Филиппеусу, заведовавшему секретной агентурой III отделения, и задание царя было доверено агенту Карлу-Арvidу Романну. Первый объект — архив Долгорукова. В инструкции подчеркивалось, что особенное внимание агент должен обратить на «частную переписку» покойного князя. Правительство боялось также опасных документов, которыми Долгоруков угрожал, если обидят сына.

Второе задание, полученное Романном, было связано с поисками Сергея Нечаева — революционера анархистского толка, не останавливавшегося перед средствами и незадолго перед тем убившего в Москве члена организации, студента Иванова, несогласного с его методами. Нечаев бежал за границу, но русские власти требовали его выдачи как уголовного преступника.

Агент Романн, которому теперь предстояло играть роль странствующего путешественника и отставного подполковника Николая Васильевича Постникова, конечно, был знатоком всего дела. Вообще III отделение не имело больших штатов и было организацией сравнительно примитивной. Во Франции, например, с ее буржуазными свободами и либерально-демократическими учреждениями аппарат тайной поли-

ции был куда более развит и многочислен. Отсюда, однако, вовсе не следовало, что III отделение слабее французских коллег. Наоборот, влияние его было большим, власть — громадной и долгое время достаточной. Эффект объяснялся страхом, темнотой, пассивностью большей части населения России, отсутствием каких-либо политических учреждений, действовавших в «ином плане». В России до поры до времени для всеобщего устрашения и усмирения было достаточно нескольких десятков сотрудников, сидевших в знаменитом доме у Цепного моста, и нескольких сотен вспомогательных персон: ведь по их приказу и министры, и губернаторы, и генералы были обязаны «всячески содействовать». Другое дело, когда работа «всероссийской шпионницы» переносилась за границу. Тут приходилось труднее, нужны были специальные (хотя бы знающие французский язык) кадры. Филиппеус позже гордо писал своему начальству, что именно он привлек настоящих сотрудников, в том числе Романна, в то время как при вступлении в должность обнаружил в штатах агентов весьма сомнительных: «Один убогий писака, которого обязанность заключалась в ежедневном сообщении городских происшествий и сплетен. Первые он зауряд выписывал из газет, а последние сам выдумывал... Кроме того, ко мне явились: один граф, идиот и безграмотный, один сапожник с Выборгской стороны — писать он не умел вовсе, а что говорил, того никто не понимал... двое пьяниц, одна замужняя женщина, не столько агентша сама по себе, сколько любовница и сотрудница одного из агентов, одна вловствующая, хронически беременная полковница из Кронштадта и только два действительно юрких агента...»<sup>53</sup>

Итак, летом 1869 г. Карл Романн, он же Николай Постников, выехал из Петербурга в Швейцарию, где находились многие русские эмигранты и где шпион надеялся выполнить обе свои миссии.

<sup>53</sup> Историк и библиограф П. А. Ефремов в декабре 1861 г. писал А. Н. Афанасьеву, что «в четверг в Знаменской гостинице собралось на обед все третье отделение. Не знаю, что праздновали, но кричали «ура» и выпили кроме других напитков 35 бутылок шампанского на 32 человека» (ЦГАОР, ф. 279 (Якушкиных), № 522).

Материалы III отделения, относящиеся к поездке и действиям Романна, были обнаружены еще в 1920-х годах историком и журналистом Р. М. Кантором, который рассказал о своем открытии в интересной работе «В погоне за Нечаевым», выдержавшей два издания (1925, 1926) и давно ставшей книжной редкостью. Однако обращение к тем же материалам III отделения, с которыми работал Кантор, показало, что некоторые любопытные документы и подробности в его книгу не вошли; не исключено, что особый интерес Кантора к истории погони за Нечаевым (о чем говорит и заглавие книги) несколько ослабил внимание автора к долгоруковской истории. Поэтому, рассказывая о «миссии Постникова» по Кантору, мы будем выделять и сопровождать архивными сносками материалы, публикуемые впервые.

Летом 1869 г. в Женеве Постникову понадобился примерно месяц, чтобы войти в доверие к эмигрантам. Его задача облегчалась трудным положением, в котором находились тогда Огарев, Бакунин и их друзья (Герцен жил в Париже). Вольная печать шла слабо, издание «Колокола» прекратилось, в России было сравнительно тихо: еще не ощущались подводные течения, несшие страну в горячие 70-е годы, к народничеству, цареубийству 1 марта 1881 г. и к первым рабочим союзам.

И вот в сферу апатии, эмигрантской нужды, бездеятельности вторгается энергичная личность, явно располагающая деньгами и стремящаяся разумно их отдать «общему делу». Огарев, Бакунин, Тхоржевский познакомились со странствующим подполковником и поверили ему. И до того агенты тайной полиции, конечно, появлялись вблизи эмигрантов, но не раз это кончалось их скандальным провалом.

Свои люди вовремя предупреждали Герцена о прибытии того или иного «гуся», и среди агентов одно время держался слух, будто у издателей «Колокола» имеются фотографии всех шпионов правительства: тех, кто появляется, сразу узнают и с позором разоблачают...

Правда, в 1862 г. шпион навел все же охранку на след одного из посетителей Герцена, у которого нашли важные бумаги, давшие повод к арестам; еще

кое-каким агентам удалось просочиться в русское подполье и сохранить инкогнито (что стало известно почти век спустя). Однако при всем том прежние агенты III отделения не обладали тем сплавом опыта и нахальства, не располагали такими средствами и полномочиями, как Романи. Из его отчетов, между прочим, видно, что он умел легко, даже талантливо настраиваться на либеральный или революционный лад. Возможно, агенту приходили на помощь воспоминания юности, когда эти убеждения ему были не чужды (недаром власть так ценила перебежчиков из противного лагеря). Романи, кажется, иногда до того входил в роль, что и впрямь — на минуты или часы — начинал мыслить, как его противники, и в те минуты-часы, когда беседовал с Бакуниным и Огаревым, искренне «не любил» самодержавие... Так или иначе, но он быстро продвинулся к цели: ни Тхоржевский, ни даже Герцен не могли в то время, при всем желании, издать рукописи покойного князя, Постников же объявил, что хочет купить и издать секретные бумаги за свой счет, т. е. исполнить завещание Долгорукова. Наступит день, когда Тхоржевский подаст Постникову (согласно отчету последнего от 2/14 сентября 1869 г.) «в красивом переплете тетрадь, на крышке которой золотыми буквами вырезано «Список бумагам князя П. В. Долгорукова»<sup>54</sup>. Тетрадь заключала в себе 56 страниц, исписанных одними заглавиями. «Список, насколько память мне позволила, — отмечал Романи, — сходен с нашим, только гораздо больше — многого у нас нет. Документы, доставшиеся ему [Тхоржевскому] после смерти князя, разделяются на две категории: французские и русские [...] Вся первая комната, за отделением небольшого прохода, от полу до стены аршина на два была наполнена кипами перевязанных пачек бумаг». Среди них агент выделил переписку Долгорукова с Виктором Гюго, Кавуром, Тьером, Бисмарком и бумаги Карабанова, которые «касаются Екатерины II вообще, ее двора и господствовавших при ней партий», а также сочинения Долгорукова, направленные против Наполеона III. «Тхоржевский сказал

<sup>54</sup> Следующий текст не опубликован.



мне, — пишет Романин, — что в ненависти к Наполеону покойный князь шел гораздо далее Рошфора. Да и сам Тхоржевский говорил, что давно пора бы сдохнуть этой скотине. Вот как паны чтут своего «благодетеля». А может быть, поляки со смертью Наполеона питают какие-либо надежды?»

Кроме того, в отчете упоминались «бумаги по поводу положения о майоратах царства польского: Долгоруков сильно восстает против дарования сих майоратов генералам: Милютину, Ушакову, Бельгарду и другим<sup>55</sup>; нотаты [наброски, черновики] для записок о декабристах суть собрания биографий и записок Бестужева, Рылеева, Муравьева и других, письмо Тьера, в котором он объясняет причины, заставившие его быть высокого мнения о Каткове; письмо императора Александра I к Кочубею о предпочтении им жизни частного человека».

«Больше просмотреть не успел, — жаловался Романин, — было уже поздно, и то на пересмотр я употребил около двух часов. Касательно писем Герцена Тхоржевский сказал мне, что из Брюсселя Герцен проехал в Лондон для заключения, между прочим, условия с Трюбнером по поводу издания Записок [Долгорукова], но что он, Тхоржевский, завтра, т. е. сегодня, напишет Герцену, чтобы он условия пока не заключал ввиду моего намерения купить для издания бумаги, а чтобы Герцен сообщил ему, когда он будет в Париже, и тогда он сообщит ему, что я к нему явлюсь»<sup>56</sup>.

На полях этого отчета резолюция, кажется, самого графа Шувалова: «Я прошу копию этого письма»; очевидно, некоторые подробности показались интересными на самом «верху» (возможно, копия для Александра II?).

Теперь агенту предстояло самое трудное. Тхоржевский и Огарев были согласны на продажу бумаг,

<sup>55</sup> Речь идет о стремлении самодержавия усилить русское влияние в Польше после восстания 1863—1864 гг. путем насаждения там русского наследственного неделимого землевладения.

<sup>56</sup> ЦГАОР, ф. 109 (III отделение), Секр. архив, оп. 1, № 397, л. 49. Здесь кончается неопубликованный отрывок. Далее у Р. Кантора со слов «Затем он вручил мне [...] на конверте свой адрес» (стр. 35).

но требовалось одобрение Герцена, который rozpoзнавал недругов много тоньше, чем его друзья. Однажды он писал Огареву, увлекшемуся одним русским беглецом, что «таких господ» чувствует на расстоянии, и оказался прав (хотя ни разу не видел того «господина»).

Проницательность Герцена была известна начальству Романна и даже учтена в инструкции. «Имея в виду Вашу инструкцию, — отчитывался агент Филиппеусу, — я воздерживался от свиданий с Герценом, пока не вынужден был к тому»<sup>57</sup>.

Необходимость встречи с Искандером усугублялась тем, что Романн боялся, как бы самые важные бумаги не ушли в Вольную типографию. За несколько месяцев до всего этого, 15 февраля 1869 г., вышло очередное «Supplement du Kolokol» («Приложение к «Колоколу»»; газета не выходила, но французские и русские приложения о ней напоминали). Постников осторожно намекал на нерадивость своего ведомства, не знавшего об этом издании даже летом того же года: «Вероятно, это не было известно по заграничному отделению, иначе оно было бы мне перелано при отъезде»<sup>58</sup>.

В «Приложении» публиковалось несколько исторических документов из архива Долгорукова; ни один из них не мог бы еще в ту пору появиться в России: письмо императрицы Марии Федоровны Плещееву (26 марта 1801 г.) о гибели Павла I; страшный документ о расправах в Польше после подавления восстания 1830—1831 гг. («Шанявский и Панкратьев»); фрагменты из записок Карабанова (о неудавшейся попытке Григория Орлова жениться на Екатерине II); несколько «сумасшедших» приказов Павла I: из секретной переписки духовного ведомства (1817 г.); мнение Государственного совета о помещиках Протасовых и их крестьянах; письма Никиты Муравьева, Волконского и Трубецкого иркутскому генерал-губернатору с отказом принять царскую милость — возвращение прав детям при условии пере-

<sup>57</sup> Отчет (не опубликован). 29 октября 1869 г. ЦГАОР, ф. 109, Секр. архив, оп. 1, № 397, л. 139—140.

<sup>58</sup> Там же, л. 56.

мены ими декабристских фамилий; наконец, документ о судьбе самого Долгорукова — письмо Бенкендорфа от 11 марта 1844 г. о разрешении наказанному «графу Альмагро» жить в столицах.

Готовясь к встрече с Герценом, Постников «внутренне перестраивался» и, видимо, для вхождения в роль первые отчеты из Парижа писал более развязно, чем прежние, а 16/28 сентября даже осмелился рекомендовать начальству реформу российской гвардейской жандармерии на манер французской. Тут он зарвался, потому что на полях отчета Филиппеус начертал: «Его не спросили!»<sup>59</sup>

Наконец в начале октября 1869 г. Герцен принял Постникова, и отчет агента об этой встрече заслуживает воспроизведения потому, во-первых, что у Кантора он опубликован неполно, отчего оставались неизвестными некоторые важные подробности последних герценовских мыслей и планов; во-вторых, доклад шпиона чрезвычайно характерен для подобного рода документов.

*Письмо К. А. Романна — К. Ф. Филиппеусу от 3.X.1869 г.*<sup>60</sup>

«Не оставалось другого выхода, как идти к Герцену, ибо затянуть к нему визит значило бы избегать с ним свидания, и в этом отношении я не ошибся, ибо Герцен меня уже поджидал. Я постиг этих господ: с ними надобно быть как можно более простым и натуральным.

Я не знаю, родился ли я под счастливой звездой в отношении эмиграции, но начинаю верить в особое мое счастье с этими господами. Признаюсь, я почти трусил за успех, но, очутившись лицом к лицу с Герценом, все мое колебание исчезло. Я послал гарсона сперва с моей карточкой спросить, может ли г. Герцен меня принять. Через минуту он сам отворил двери номера, очень вежливо обратился ко мне со словами «покорнейше прошу». Следовало взаимное

<sup>59</sup> Там же. л. 62.

<sup>60</sup> Р. М. Кантор. В погоне за Нечаевым. Изд. 2-е. Л., 1925, стр. 38—40. Ниже отмечены отрывки, неопубликованные или конспективно изложенные в книге.— ЦГАОР, ф. 109, Секр. архив, оп. 1, № 397, л. 68—71.

рукопожатие и приветствия, после чего Герцен сказал мне: «Я еще предупрежден был в Лондоне о вас, но, приехав сюда, я начал терять надежду вас видеть»<sup>61</sup>. Я ответил на это, что виною тому был Тхоржевский, выразившийся весьма неопределенно относительно права моего говорить с ним, Герценом, относительно бумаг.

Я был принят Герценом чрезвычайно хорошо и вежливо, и этот старик оставил на меня гораздо лучшее впечатление, чем Огарев. Хотя он, когда вы говорите с ним, и морщит лоб, стараясь как будто посмотреть вас насквозь, но этот взгляд не есть диктаторский, судейский, а скорее есть дело привычки и имеет в себе что-то примирительное, прямое. К тому же он часто улыбается, а еще чаще смеется. Он не предлагал мне много вопросов, а спросил только, где я воспитывался и намерен ли всегда оставаться за границей. На последний вопрос я отвечал осторожно, что надеюсь. Взамен скудости вопросов Герцен, видимо, старался узнать меня из беседы со мною. Он сам тотчас заговорил о деле. Я ему показал второе письмо Тхоржевского, на которое, улыбаясь, он сделал следующие замечания: 1) нельзя заключить, чтобы оно было писано бывшим студентом русского университета, 2) о других покупателях ему ничего не известно и 3) относительно того, чтобы ближе познакомиться, Герцен полагает достаточным нравственное убеждение, а не годы изучения человека. Есть нравственное убеждение, — как он говорил, — ну и достаточно.

Мы беседовали более двух часов и вот что постановили: 1) он, Герцен, на продажу мне бумаг совершенно согласен, о чем он Тхоржевскому и напишет и попросит у него решительного ответа в отношении условий, ибо он, Герцен, не хочет взять на себя быть судьей в цене. Он напишет Тхоржевскому на днях весьма обстоятельно и подробно, чтобы избежать всякого дальнейшего недоразумения и предоставить ему,

---

<sup>61</sup> Еще Р. Кантор обратил внимание на то, что нет никаких данных о пребывании Герцена в Лондоне осенью 1869 г. Возможно, наши сведения неполны; Герцен, может быть, счел нужным поддержать версию Тхоржевского, или, наконец, что-то путал Романи.

если он желает, самому приехать сюда и втроем решить дело. Во всяком случае, Герцен хотел или лично, или по городской почте дать мне ответ через неделю. При этом, когда я захотел написать свой адрес, то он проболтался и сказал, что его знает, назвал гостиницу. Адрес ему сообщил, конечно, Тхоржевский, и он уже справлялся.

После часовой беседы, исключительно посвященной намерению моему купить бумаги для издания, Герцен пригласил меня завтракать с ним. Я отказался, но он настоял. К завтраку вышла из другой комнаты жена и дочь — 11 лет<sup>62</sup>. Первая из них женщина уже в летах, носит волосы с проседью, коротко остриженными. Она более серьезна, чем муж, и расспрашивала меня о развитии женщины в России и не будет ли наконец основан женский университет. Дочь была одета очень опрятно и чисто, с гладко зачесанными и в косички заплетенными волосами, говорила с родителями по-французски. У Герцена лицо красноватое, губы черные, небольшая борода и назад зачесанные волосы, почти совершенно селые. Вообще я заметил, что как господин, так и госпожа Герцен в приемах своих люди обыкновенные смертные. За завтраком г-жа Герцен и дочь оставались недолго и ушли в свою комнату, причем дочь поцеловала отца...»

Постников, как видим, чувствует себя перед Герценом как перед высшим начальством противной стороны, и даже в отчете III отделению «по инерции» почтительно вежлив к самому Искандеру, удивляясь «совершенно обыкновенному смертному».

«Мы остались вдвоем, — сообщает далее Романн, — и продолжали беседу, которую мне невозможно передать в мельчайших подробностях<sup>63</sup>.

Но вот характерные ее черты: 1) Герцену очень понравилась выраженная мною ему мысль печатать бумаги отдельными брошюрами и выпусками, например, взяв какой-либо интересный исторический факт из жизни того или другого царствования<sup>64</sup>. «Если вы

<sup>62</sup> Н. А. Тучкова-Огарева и Лиза Герцен.

<sup>63</sup> Далее следует неопубликованный текст.

<sup>64</sup> Этому сообщению Романна можно верить. Оно интересно как рассказ об издательских приемах и взглядах Герцена.

так хорошо знакомы с делом издания, то бумаги не пропадут в ваших руках», — сказал он. В доказательство он привел изданную им недавно брошюру, название которой я не припомню.

2) Печатать, если я захочу, то удобнее всего в Женеве, ибо тогда Чернецкий не имеет права требовать возмездия за нарушение заключенного с ним условия<sup>65</sup>. В противном случае Герцен советовал бы мне печатать в Брюсселе, где печать обходится недорого.

3) Бумаги покойного князя, хотя и не все, Герцену положительно известны как документы высокого интереса в историческом или политическом отношении — за это он формально ручается.

4) Если бы я последовал его совету, то он указал бы мне на такие бумаги, которые можно бы порусски напечатать здесь и при участии какого-либо влиятельного лица испросить разрешения на продажу такого издания в России, где оно имело бы громадный успех, а потому дало бы большую выгоду<sup>66</sup>. Я поблагодарил его за совет, выразив все трудности исполнения такого плана.

5) Спросил меня, не желаю ли я избрать себе посредника в оценке бумаг. Я ответил, что позволю себе рассчитывать на его нравственный авторитет и собственную мою оценку. Герцен сожалел, что Касаткин умер, ибо он мог быть между нами отличным посредником<sup>67</sup>.

6) Обещал мне составить черновой контракт. Для него, как он говорил, это не составит никакого труда, ибо у него теперь есть черновая контракта, который

---

Как известно, Герцен в самом деле считал полезным издание «легких» брошюр-выпусков и в таком именно виде выпустил седьмую книгу «Полярной звезды», «Записки декабристов», приложения к «Колоколу».

<sup>65</sup> Людвиг Чернецкий, давний сотрудник Герцена, к которому в это время перешла Вольная типография.

<sup>66</sup> В последние годы жизни Герцен ставил перед Вольной заграничной печатью задачу — просачиваться на страницы легальных русских изданий и даже сам (разумеется, анонимно) напечатал в русской прессе несколько своих работ.

<sup>67</sup> Виктор Иванович Касаткин (1831—1867), деятельный корреспондент, сотрудник Герцена, с 1862 г. жил в эмиграции.



он теперь же заключает с книгопродавцем Франком на исправленное и дополненное им свое сочинение «La Russie et la revolution»<sup>68</sup>. Он показывал мне и книгу, и черновую контракта.

Не припомню всех остальных подробностей разговора моего с Герценом. Он рассказывал мне, смеясь, много анекдотов из собственной жизни покойного князя П. В. Долгорукова, с которым он, Герцен, в последнее время не был в хороших отношениях<sup>69</sup>.

Вообще я крайне доволен первым свиданием с Герценом. Дал бы бог скорее покончить благополучно; надобно вооружиться крайним терпением.

Р. С. Герцен заверял меня, что он снова намеревается издавать «Колокол»».

Постскрипtum содержит важное, прежде не опубликованное свидетельство: Герцен не раз говорил, что не считает «Колокол» прекращенным, что лишь «язык» его «временно подвязан». Теперь оказывается, что и за три месяца до кончины он готов был снова возобновить газету.

На следующий день Герцен и Постников снова встретились: «Ровно в 12 час. Александр Иванович зашел ко мне, якобы с визитом, — я был почти уверен в его деликатности, которую я, конечно, понимаю по-своему — очень хорошо, а потому его посещение меня нисколько не удивило.

\*<sup>70</sup> В полтора часа он ушел. Видно по всему, что и Тхоржевский согласен не только в действиях, но и во взглядах на предмет. Так, например, записки Карабанова, подобно Тхоржевскому, Герцен считает весьма важными и находит, что полнее их нигде нет. Из них-то Герцен советовал мне извлечь, напечатать и стараться о пропуске в Россию. На это, смеясь, я ему заметил, что он говорит так, как будто я уже купил бумаги. «Не беспокойтесь — уладимся»\*.

Отзыв о бумагах Карабанова, конечно, интересное свидетельство, расширяющее наши представления об исторических воззрениях и интересах Герцена.

За ним следовали разнообразные агентурные

<sup>68</sup> «Россия и революция» (фр.).

<sup>69</sup> Конец неопубликованного отрывка.

<sup>70\*</sup> Здесь и далее звездочками обозначаются границы неопубликованных отрывков из отчетов Романа.

наблюдения уже несколько на иную тему: «\* I. Здесь находится высланный на родину, потом бежавший за границу петербургский адвокат Вихерский, который ежедневно бывает после обеда в кафе «Ротонда». Он напечатал здесь свое письмо к Трепову, в котором бранит Колышкина, производя его от иудейского племени. Замечательнее всего, что Вихерский перепечатал целиком доклад Колышкина о его высылке»<sup>71\*</sup>.

В окончательном (неопубликованном) отчете Филиппеусу о нескольких встречах с Герценом Романи с гордостью сообщал о своих успехах<sup>72</sup>: «С этого визита [к Герцену] начался снова род испытаний, веденных уже Герценом более искусно, чем Тхоржевским и Огаревым. Он старался, видимо, узнать меня по беседам со мною, продолжавшимся всегда долго. Я догадывался, что Тхоржевский, рекомендуя меня Герцену, хотел лишь знать его обо мне мнение. Результаты моих свиданий с Герценом были самые лучшие: внимание его ко мне, приемы, переписка — доказывали мне, что и тут роль моя шла хорошо. Нам квартиры, якобы на год, и некоторые к сему обстоятельства еще более закрепили доверие ко мне Герцена. Он стал между Тхоржевским и мною посредником, не принимая, однако ж, на себя оценку бумаг. Эта оценка наконец сделана была в Женеве каким-то археологом и выразилась цифрою 7000 руб., о чем Герцен мне сообщил, не будучи, однако ж, в состоянии сказать мне, по какому курсу Тхоржевский считает рубль. Вместе с тем Герцен составил черновую [т. е. черновик] условия, для меня крайне странную. Я тотчас понял, что и это есть новый род испытания: я указал Герцену на пункты, которые при издании материально невозможны в своем исполнении, и на те, которые рушат всякое нравственное доверие и достоинство человека. Герцену это понравилось, и он поверил моей искренности.

<sup>71</sup> О Феликсе Вихерском и его брошюре «Письмо Ф. Вихерского к генералу Ф. Ф. Трепову» (где разоблачался, между прочим, начальник секретного отделения при петербургском обер-полицмейстер Колышкин) см. *М. Клевенский*. Герцен-издатель и его сотрудники.—ЛН, т. 41—42. М., 1941, стр. 586.

<sup>72</sup> ЦГАОР, ф. 109, Секр. архив, оп. 1, № 397, л. 140, 29 октября 1869 г.

На прощание Герцен не советовал мне целиком провозить бумаги во Франции, а по частям, ибо я рискую, что французская полиция отнимет. На то, чтобы бумаги печатать непременно в Женеве, он сильно настаивал.

Между прочим, Герцен сделал внезапно вопрос, где у меня деньги. Надобно было отвечать не задумываясь. Напомнить о каких-либо сношениях с Россией было опасно, а потому я смело ответил, что во Франции».

Агент все же попытался сэкономить жандармские деньги. «На замечание мое, — жаловался Романин, — что цена [...] чересчур высока, Герцен сказал, что по богатству материалов он ее не считает высокою, да об этом вообще я должен говорить с Тхоржевским. Конечно, я буду торговаться до последней возможности».

«Торговля» шла так. Тхоржевский называл цену из Женевы; Романин шифровкой передавал из Парижа в Петербург; оттуда посылался запрос в Ливадию, где находились царь и шеф жандармов. На запрос «7000» последовало из Ливадии: «Желательно не выше четырех, но можно и до пяти тысяч».

Но мало того, Герцен еще раз письменно подтвердил Постникову (и тот в доказательство своих успехов представил письмо в III отделение, где оно и было найдено советскими учеными), что основное условие продажи вот какое:

«Я полагаю, что Тхоржевский продает не безусловно в нашу собственность бумаги, а с определенным условием *все их издать*, и в особенности издать все относящееся к двум последним царствованиям. Вы, вероятно, ему дадите удостоверение в том, что начнете печатать через два месяца после покупки, и в обеспечение положите условленную сумму в какой-нибудь банк без права ее брать до окончания печати. Если из бумаг, относящихся к прошлому столетию, что-нибудь окажется негодным для печати или малоинтересным, то вы можете не печатать их — по взаимному соглашению с Тхоржевским.

Все бумаги и письма, относящиеся к семейным делам Долгорукова, исключаются» (Г. ХХХ. 218—219).

Конечно, проще всего Постникову было получить

ценой любых обещаний бумаги и скрыться. Но агент толков и честолюбив. Он не желает неприятностей своему правительству в случае огласки, экономит его финансы и к тому же предлагает обернуть все дело в пользу своих. Он-то сам достаточно умен, чтобы понять: многие исторические материалы из долгоруковского собрания можно опубликовать, особенно если подача материалов и комментарии будут легки и безобидны. На пороге 1870-х годов российская цензура сделалась сравнительно мягче, и многое, совершенно немыслимое к опубликованию за 15—20 лет до того, теперь можно позволить (кстати, ведь все равно за границей уже опубликовано немало...). Правда, если агент будет настаивать на этой мысли, начальство Постникова еще подумает, будто последний не считает архив Долгорукова опасным (что противоречит прежнему указанию царя) или что шпион имеет какой-то особый личный интерес во всей истории... Поэтому Постников пишет начальству со всей возможной «деликатностью», предлагая издать некоторую часть бумаг для сохранения сложившихся связей<sup>73</sup>: «Внутреннее содержание [бумаг Долгорукова] очень интересно, особенно то, что писал сам Долгоруков. В процессе Воронцова есть ненапечатанная часть, компрометирующая какого-то графа Петра Шувалова<sup>74</sup>, письмо к государю заключает в себе объяснение Долгорукова по поводу конфискации имения и лишения его княжеского титула, наряду с этим идет резкое и дерзкое письмо Наполеону (оно у меня в списке не значится), указы Екатерины II и Павла I действительно подлинники. Письмо Кавура представляет Россию монгольским и варварским государством, Катков распинается похвалами Н. Ф. Крузе и либеральничает<sup>75</sup>. Крайне интересны как придвор-

<sup>73</sup> ЦГАОР, ф. 109, Секр. архив, оп. 1, № 397, л. 122—123 из неопубл. отчета Романна. 25.X. 1869.

<sup>74</sup> Речь идет о скандальном процессе Долгорукова с графом Воронцовым (1861—1862). Романн знает, как заинтересовать начальство, и шеф жандармов Шувалов, конечно, не остался равнодушным, прочитав эти строки.

<sup>75</sup> Ясно, что речь идет о «либеральничании» Каткова и похвалах известному либеральному цензору фон Крузе в конце 1850-х годов, после чего Катков из умеренного либерала превратился в лидера реакционной, охранительной прессы.

ные интриги и исторические документы — это бумаги Карабанова. Много исторических, политических и финансовых вопросов, касающихся России, находится в бумагах князя. Краткость письма не позволяет изложить Вам подробно, ибо это вышло бы целое сочинение. Кроме того, Тхоржевский дает мне в задачу груду газет с заметками князя и обязывается не оставить у себя копий и не печатать их».

В отчете от 3 ноября Постников продолжает:

«По-моему, не столько важен для нас интерес самих бумаг, сколько лишение возможности их напечатания [...] Приведенные сколько-нибудь в порядок, бумаги составят, я думаю, предмет самого интересного чтения даже для государя. Например, времена Екатерины II, Петра I, Павла I и другие, как равно и документы новейшего времени, например, Аракчеева»<sup>76</sup>.

Исходя из этих соображений, Постников предлагает авантюрный план: действительно напечатать (как требует Герцен) часть бумаг и тем сохранить доверие эмигрантов, необходимое хотя бы для предстоящих поисков Нечаева.

Эта идея была высочайше одобрена, и Постников, торгуясь с Тхоржевским, стал готовиться к нелегальной публикации.

«Этот Постников, — жалуется Герцен Огареву, — меня мучил, как кошмар. Брал бы Тхоржевский деньги, благо дают, и — баста» (Г. XXX. 220).

Наконец сошлись на 6500 руб. (26 000 франков)<sup>77</sup>, и к 1 ноября 1869 г. Постников сделался обладателем тяжелого сундука рукописей.

«Три дня с утра и вечером, — докладывал агент, — я просматривал груду бумаг по каталогу Тхоржевского, и просмотр убедил меня, что бумаги, за небольшим исключением, совершенно согласны с моим списком. Когда я приступил к просмотру бумаг, то заметил, что все они находились нетронутыми в запыленных пачках на том же месте, где я их

<sup>76</sup> ЦГАОР, ф. 109, Секр. архив, оп. 1, № 397, л. 129.

<sup>77</sup> Общий же расход III отделения на приобретение долгуковских бумаг, по мнению Р. Кантора, приближался к 10 000 руб.

видел летом. Из сего я мог заключить, что бумаги оставались нетронутыми, тем более что Тхоржевский сам часто по каталогу не мог найти той или другой бумаги и часто ошибался. Если же оказывалось лишнее против каталога, то он отдавал мне для прочтения и суждения, годится ли для меня. Совершенно пустые вещи я, конечно, возвращал»<sup>78</sup>.

Получив бумаги, Постников на несколько недель исчез, затем снова появился за границей... За это время, понятно, сундук был доставлен в III отделение: круговорот долгоруковских бумаг Россия — эмиграция — Россия был завершен за десять лет...

Агент торопился не напрасно. Через несколько месяцев русский эмигрант М. Элпидин писал другому известному изгнаннику — П. Л. Лаврову: «Удалось мне напасть на одного Сахар Медыча и узнать, что III отделение отрядило своих агентов купить во что бы то ни стало у Тхоржевского долгоруковские бумаги и что этот агент — некто полковник Романин, живущий в Женеве под именем Постникова. И тут узнал, как гонялись последние четыре года за Герценом и как охотились за Нечаевым. Все эти вещи я вычитал в корреспонденциях III отделения. До 1870 г. письма из III отделения писались к заграничным шпионам Филиппеусом [...] Вовсе мне не хотелось бы навязываться к Огареву со своим предупреждением, так как я не раз был вышучиваем за таковые»<sup>79</sup>.

Точность информации Элпидина поразительна.

Постников меж тем старался погасить любые возможные слухи о своей настоящей профессии. Узнав о тяжелой душевной болезни старшей дочери Герцена, он послал весьма сочувственное письмо и получил ответ: «Душевно благодарю Вас за добрые строки. Я еду завтра. Все время провел в страшной тревоге — от болезни моей дочери. Ей лучше. Как только устроюсь в Париже, поставлю за особое

<sup>78</sup> ЦГАОР, ф. 109, Секр. архив, оп. 1, № 397, л. 141. Понятно, что «пустое», с точки зрения шпиона, может быть совсем не пустым с иной точки зрения. Видимо, некоторая часть материалов так и осталась в Швейцарии и либо где-нибудь сохранилась, либо затерялась.

<sup>79</sup> ЛН, т. 63. М., 1956, стр. 710—711.



удовольствие Вас навестить. Усердно кланяюсь. А. Герцен» (Г. ХХХ. 284).

Странно видеть это домашнее дружеское письмо среди реестров и секретных инструкций III отделения, ибо Романн, конечно, тотчас переправил его на Цепной мост. Вскоре вышел и 2-й том «Мемуаров Долгорукова»: человеку, не знающему всей подноготной, никогда и не вообразить, что скрывается за этим тоненьким эмигрантским изданием «Некоторых бумаг из архива Долгорукова» (Женева, 1870). Бумаги сравнительно безобидны, доход же от продажи сборника учли все в том же здании у Цепного моста... Но все же чего только не приходится делать на службе тайному агенту: дружить с революционером Герценом, издавать изгнанника Долгорукова, снабжать деньгами государственных преступников — Огарева, Тхоржевского, слоняться по Европе вместе с первым анархистом Бакуниным (Постников не знал, что Бакунин уже порвал с прежним другом Нечаевым и на этих путях вторую часть царского задания не исполнить). Осенью 1870 г., когда начались революционные события во Франции, Бакунин, разумеется, принял в них участие: вместе с «русским коллегой» Постниковым появляется в восставшем Лионе, и потом они едва уносят ноги от французских жандармов. Агент III отделения нечаянно вошел в историю не по своему ведомству...

Не найдя Нечаева, Постников вернулся в Россию и вскоре умер. Но еще раньше, в январе 1870 г., не стало Герцена, и теперь уж некому было по-настоящему разобраться, что издал и чего не издал странствующий подполковник. Одним маленьким выпуском посмертное издание долгоруковских бумаг и окончилось. Действующие лица сходили со сцены, в Европе 1870—1871 гг. зажигались новые войны и восстания — все смешалось, прошлое забывалось...

«Среди бумаг Романна, — писал в 1925 г. Р. М. Кантор, — сохранился полный перечень купленным бумагам.

Куда они девались — неизвестно...»

Вероятно, архив Петра Долгорукова погиб — такой приговор произнесли или напечатали многие спе-

циалисты за те полвека, которые прошли со времени находок Кантора.

Рассказывают, будто известный исследователь русского освободительного движения и пушкинист П. Е. Щеголев соглашался отдать годы жизни, если б мог найти архив «князя-республиканца» (Щеголев, конечно, надеялся найти в тех бумагах и новые сведения относительно пасквиля против Пушкина).

В своей книге Кантор не приводит жандармской описи долгоруковских бумаг, и тем более удивительно, что не было попыток проанализировать по крайней мере этот перечень украденного. Его и искать-то не надо — Кантор прямо сообщил, что опись приложена к отчетам Романна, и так оно и должно быть: шпион не сдает начальству трофеи без точной описи захваченного...

Опись оказалась даже в двух экземплярах, в каждом около 300 пунктов, и притом один пункт часто регистрирует объемистую пачку писем, толстый сборник или даже несколько томов<sup>80</sup>.

Дипломы, грамоты, переписка рода Долгоруковых, самого князя Петра, его родителей, дядей, пращуров: это естественно. Но среди родни — генералы, посланники, сенаторы, фавориты... Письма к Екатерине II, подписанные «монахиня Долгорукова», — от несчастной жертвы многолетних преследований, популярной в России «Натальи, боярской дочери».

Пачка материалов о Петре I. Заметки, нотаты о декабристах. Подлинные бумаги Ермолова, многочисленные проекты освобождения крестьян. Акт о восшествии Николая I и отречении Константина, переписка поэта Некрасова с Долгоруковым, анекдоты, биографии придворных, списки знатных лиц и сведения о них, собранные Карабановым, и еще, еще пачки бумаг под заглавием «Бумаги Карабанова», 11 тетрадей по генеалогии. Письма различных видных современников: Гарибальди, Гюго, Мадзини, Бисмарка, Луи Блана. Еще декабристские материалы из Сибири.

Подлинники стихов Огарева. Письма князя

<sup>80</sup> Основная опись — ЦГАОР, ф. 109, Секр. архив, оп. 1, № 397, л. 146—190.

И. С. Гагарина. Еще десятки названий — история, черновики статей для Вольных изданий, копии запретных стихов — документы двенадцати царствований, от Петра I до Александра II, и, сверх того, материалы по истории Франции, Германии...

Около некоторых пунктов сохранились пометы красным карандашом, кое-что, в частности перечень писем, слегка перечеркнуто... Подробный анализ описи должен явиться предметом специального исследования. Однако и без тщательного разбора ясно, что опись фиксирует громадное исчезнувшее собрание.

Следы украденного архива были неожиданно обнаружены автором в хорошо известном исследователям рукописном собрании библиотеки Зимнего дворца (ЦГАОР). Громадная библиотека русских императоров, естественно, состояла не из одних книг: множество писем членов императорской фамилии друг к другу, иностранным монархам, некоронованным особам; разнообразные государственные документы, по разным причинам не попавшие в Государственный архив, рукописные коллекции, собранные высокими или высочайшими персонами.

После 1917 г. к этому собранию обращались сотни ученых, извлекавших отсюда факты и документы, прежде скрытые под спудом.

В нескольких томах размещается опись — перечень материалов, составляющих громадную коллекцию: около 4000 названий.

Мысль о том, что эта опись постоянно «рифмуется» с какой-то другой, знакомой, появилась с первых минут изучения: многие из содержащихся в ней наименований, например «нотаты о декабристах», письма Петру Долгорукову от И. С. Гагарина, материалы к биографии Ермолова, анекдоты Карабанова, несомненно, были в реестре долгоруковских бумаг, похищенных Романном-Постниковым в 1869 г. и пропавших «без вести»...

Правда, рукописи Долгорукова на этот раз не сосредоточены в одном месте, но рассеяны среди тысячи других писем, государственных документов и отчетов...

Задача выглядела ясной, хотя и громоздкой. Опись захваченных Романном долгоруковских бумаг

(из фонда III отделения) сопоставить с описью фонда 728 (рукописей Зимнего дворца), выявить все «долгоруковские названия», рассыпанные среди царских бумаг, и ознакомиться с сохранившимися документами.

В рамках этой книги возможно показать только некоторые результаты этого изучения.

Молодого Ермолова боялся император Павел и заключил его на несколько лет в тюрьму; позже его побаивался Александр I и сильно опасался Николай I — цари знали о надеждах декабристов на этого генерала. Николай по сути отправил его в почетную ссылку, но насмешек старого Ермолова боялись все — от титулярного до тайного... Достигнув почти 90 лет, он удостоивается высочайших почестей — посмертной боязни четвертого по счету императора.

Вот как откликнулась, например, на смерть Ермолова Вера Аксакова, дочь писателя, сестра славянофильских публицистов (в письме П. И. Бартеневу без даты): «Прочла в газетах о смерти Ермолова, славы нашей 12-го года, и духом возмутилась, так и высказалась вся глупая трусость нашего правительства, вынос вечером и без обеды, отпевание и увозят в деревню завтра же! [...] Боже мой, отнимут его записки, и не достанутся они истории. Для этого и приезжал [вел. кн.] Михаил Николаевич и подлый Корф»<sup>81</sup>.

Но кто-то уже позаботился: документы Ермолова еще при жизни его печатались в Вольной печати Герцена, а сразу после смерти записки генерала отправляются к Долгорукову.

Возникает догадка, не причастен ли был сам престарелый генерал к таким приключениям его рукописей...

Мирно покоятся теперь некоторые бумаги Ермолова и об Ермолове среди рукописей Зимнего дворца — кажется, там, где следует быть бумагам полного генерала и члена Государственного совета. Но прежде чем попасть сюда, рукописи побывали в Брюсселе, Лондоне и возвратились в сундуке Романна... Еще

<sup>81</sup> ЦГАЛИ, ф. 46, оп. 1, № 572, л. 572.

предстоит сложная работа: опубликованное об Ермолове за сто лет в разных книгах и журналах сопоставить с тем, что осталось в долгоруковском архиве<sup>82</sup>.

Под одним из соседних архивных номеров лежат никогда не публиковавшиеся письма Ивана Гагарина. Историки, особенно пушкинисты, обязаны насто-рожитья. Это не просто переписка двух оригиналь-ных лиц, выброшенных судьбой в эмиграцию: над обоими — серьезнейшее обвинение в пасквиле на Пушкина. Долгоруков и Гагарин жили в ту злове-щую осень 1836 г. на одной квартире, были друзьями и, как видно из переписки, друзьями остались. Пись-ма говорят о многом как по обрисовке характера пишущих, так и по сообщаемым фактам. О Пушкине прямо — ни слова; возможно, осталось без ответа письмо Долгорукова, с возмущением сообщавшего Гагарину 29 июля 1863 г. о напечатанных в России обвинениях в их адрес<sup>83</sup>. Лишь одно место касается сходной ситуации — другого пасквиля, подложного письма, компрометировавшего графа Воронцова (в ав-торстве пасквиля серьезно подозревали все того же Долгорукова):

23/IX 1860 г. [Гагарин — Долгорукову]: «А ты в ноябре будешь в Париже. Говорят, что Воронцов вы-брал плохого адвоката Матье; говорят также, что они нашли эксперов [так!], которые решили, что знамени-тая записка писана тобою; но все знают, что на это суждение эксперов весу много давать нельзя»<sup>84</sup>.

Переписка поражает откровенностью и даже не-которой развязностью.

30 мая 1860 г.

«Княже Петре! [...] Посылаю тебе сегодня русские стихи, которых я перед отъездом твоим никак не мог отыскать. Их приписывают какому[то] поэту, извест-ному переводами песен Беранже: Курочкин или что-нибудь такое... □ здесь [в Париже] русские утвер-

<sup>82</sup> Материалы об Ермоллове из архива Долгорукова. — ЦГАОР, ф. 728, № 1516.

<sup>83</sup> Частично опубликовано М. И. Яшиным. — «Нева», 1966, № 3, стр. 186. Полный текст — ЦГАЛИ, ф. 384 (А. С. Пуш-кин), оп. 1, № 11.

<sup>84</sup> ЦГАОР, ф. 728, № 2652, л. 10.

ждают, что оба государства в теснейшей дружбе. Иные прибавляют, что очень может быть, что ты будешь жертвой такой дружбы, то есть что тебе не позволят жить в Париже. Я надеюсь, что это все пустяки и что скоро тебя опять увидим.

Король неаполитанский говорит, что он уже несколько раз победил Гарибальди. Гарибальди утверждает, что уже несколько раз победил неаполитанцев, я начинаю подозревать, что они вовсе не дрались.

На днях читал пятую книжку Шедо-Ферроти о военном устройстве<sup>85</sup>. Превосходно: по-моему, это самое тяжелое обвинение против Николая и так ясно показывает, какой он был мелкоумный, жертвуя пустякам самыми важными и жизненными вопросами»<sup>86</sup>.

1 сентября 1860 г. Гагарин сообщает Долгорукову лестную для того новость о предпочтении некоторыми читателями долгоруковских изданий перед герценовскими: «Имел я случай на днях много и откровенно разговаривать с одним молодым русским офицером артиллерийским, очень умным; я дал ему читать, по его просьбе, «Колокол» и твою книгу. Хотя он и одобрял многие статьи «Колокола» против злоупотреблений, бывающих у нас в России так часто, или, лучше сказать, составляющих не исключения, а правило, он поражен был этою мыслию, что Герцен не выражает мысли России и даже, по его словам, не хорошо знает ее; твою же книгу он читал с восторгом: вот, говорил он мне, человек, который положительно и основательно знает Россию и мнений и управлений, и ход дел: при том он выражает то, что думает, и то, чего желает вся Россия. Он недавно из внутренности России приехал и утверждает мне, что почти все без исключения желают конституционного правления, что самодержавие отжило свой век и корней никаких не имеет в народе. По его словам, как скоро будет приведено в исполнение освобождение крестьян, тотчас дворянство и крестьянство заодно будет действовать против чиновничества. Я хотел

<sup>85</sup> Брошюра Ф. И. Фиркса (Шедо-Ферроти) «Le militaire» («Военный»), опубли. в 1860 г.

<sup>86</sup> ЦГАОР, ф. 728, № 2652, л. 6.



передать тебе эти разговоры, потому что они служат новым доказательством истинной почвы и истинного успеха твоей книги»<sup>87</sup>.

Долгоруков радостно и тщеславно поддерживает эту тему (выше цитировались его колкости в адрес Бакунина, Герцена и Огарева). Понятно, сторонникам либерального конституционализма платформа Долгорукова импонировала больше, чем «крестьянский социализм» Герцена. Последнему противопоставлены даже такие наивные утопии, как приведенное Гагариным суждение «артиллерийского офицера» об отсутствии корней у самодержавия и мифическом блоке дворянства и крестьянства против чиновников.

Архив Долгорукова бросает исследователя из одних десятилетий в другие, касается целой галереи лиц. Немалый интерес представляет декабристская часть бумаг. Здесь копии официальных документов («Донесение следственной комиссии» и др.), сочинения Лунина, Бестужева и других декабристов, напечатанные в различных Вольных изданиях, а также некоторые подготовительные материалы к публикациям Долгорукова (выше говорилось о документах, связанных с С. Г. Волконским).

Однако некоторые из декабристских долгоруковских бумаг остались неиспользованными при жизни владельца: возможно, они должны были войти в незавершенные мемуары князя. О любопытнейшем декабристском «Алфавите» конца 1840-х годов уже упоминалось не раз.

Долгоруков какими-то, пока неизвестными для нас, путями получил небольшой комплекс бумаг декабриста А. М. Муравьева, младшего брата Никиты Муравьева: воспоминания Муравьева, документы о конфликте его жены Ж. А. Муравьевой с тобольским генерал-губернатором (1850—1851)<sup>88</sup>. Между прочим, некоторые декабристские публикации 1920—1930-х годов, почерпнутые из архива Зимнего дворца, были связаны именно с долгоруковскими бумагами, однако в то время это не было замечено исследователями. Таково, например, стихотворение Ф. Ф. Вад-

<sup>87</sup> Там же, л. 7.

<sup>88</sup> ЦГАОР, ф. 728, № 2157.

ковского «Желание» и его же краткая запись о требованиях тайного общества<sup>89</sup>.

Ермолов, Бенкендорф, Гагарин, декабристы — это лишь частица сохранившегося долгоруковского архива; бумаги о помещицьем буйстве в Тульской губернии перед 1861 г. (Долгоруков сам — тульский помещик), заметки о 1730 г. (восшествие на престол Анны Иоанновны), о перевороте 11 марта 1801 г., о 12 царствованиях — от Петра I до Александра II...

Все это требует изучения и будет сопоставлено с опубликованным материалом. Многие были неизвестно в ту пору, когда Долгоруков владел этими бумагами, но посмертный их арест лишил ряд последующих публикаций «долгоруковского эффекта».

Сопоставление описи, составленной Романном, и долгоруковских материалов, рассеянных в собрании Зимнего дворца, показывает, что здесь сохранилась примерно половина похищенных в 1869 г. материалов<sup>90</sup>. К сожалению, не имеется в наличии писем видных исторических лиц к Долгорукову, которым такое значение придавали начальники Романна-Постникова, автографов Гюго, Гарибальди, Мадзини, Кавура, Бисмарка.

Для истории долгоруковских бумаг важно, каким образом захваченные агентом III отделения документы столь мирно осели в архиве царской фамилии?

Дворцовое собрание рукописей в основном сложилось из трех элементов. Прежде всего из громадного собрания материалов и сочинений Модеста Корфа. Около многих пунктов «описи» — архивные пометы «СА», чем удостоверяется, что рукопись вышла из собрания великого князя Сергея Александровича (дяди последнего царя, убитого Каляевым в 1905 г.). Наконец, третья коллекция, явившаяся фундаментом собрания Зимнего дворца, принадлежала князю Алексею Борисовичу Лобанову-Ростовскому. Князь, родившийся в 1825 г., окончил в 1840-х годах Александровский лицей, затем успешно служил по дипло-

<sup>89</sup> «Красный архив», 1925, № 3(10), стр. 317—319.

<sup>90</sup> В некоторых случаях, впрочем, не удалось достаточно точно установить, из долгоруковского архива или иного источника попал в библиотеку Зимнего дворца тот или иной материал.

матической части, в 1859—1863 гг. был посланником в Константинополе, позже — орловским губернатором, в 186—1877 гг. состоял при министерстве внутренних дел, затем посланник в Лондоне, Вене и в конце жизни — министр иностранных дел Российской империи. Много лет, не жалея времени и денег, Лобанов-Ростовский собирал старые книги и рукописи, которые завещал царской фамилии.

Чиновники, производившие опись библиотеки Лобанова-Ростовского, оценили ее в 20 000 руб., отметив среди книг разнообразные материалы и первоисточники «о славянах, крестовых походах, Византии, императоре Павле I, мальтийском ордене, королеве Марии Стюарт», литературу по геральдике, нумизматике, археологии. Рукописи князя состояли из «Автографов императорской фамилии» (13 царствований — от Петра I до Александра III), «Автографов замечательных лиц, имеющих значение для России», «Материалов по истории французской эмиграции» и других бумаг<sup>91</sup>.

Как оказалось, около каждой без исключения долгоруковской бумаги в архиве Зимнего дворца стоит помета: «Из собрания кн. Лобанова-Ростовского».

И теперь картина в общих чертах проясняется...

Постышков-Романи доставил сундук с бумагами Долгорукова и расписку на 6500 руб. Затем наиболее интересные документы безусловно были представлены царю, следившему за ходом всей операции. Но III отделение, не останавливавшееся перед средствами, любило возмещать свои расходы. Князь Лобанов, важная персона, состоящая при министре иностранных дел, бывший посол и губернатор, будущий посол и министр иностранных дел, конечно, очень скоро узнал о доставке долгоруковского собрания, и это известие должно было привести коллекционера в трепет. К тому же Лобанов интересовался родословиями и позже участвовал в (следующем после Долгорукова) издании родословных книг, предпринятом В. Руммелем, для чего были необходимы тетради и черновики Долгорукова. Остальные — ясно... Именно

<sup>91</sup> ЦГАОР, ф. 728, № 3315.

А. Б. Лобанов-Ростовский в 1871—1877 гг. (вскоре после операции Романна-Постникова) публикует многие рассказы и заметки П. Ф. Карабанова в недавно созданном М. И. Семевским историческом журнале «Русская старина». Вероятно, III отделение уже получило от князя свой гонорар.

Таким образом, можно констатировать, что собрание Долгорукова не исчезло бесследно, что через 100 лет после похищения оно существует, но, увы, многого и очень важного в описи Зимнего дворца не обнаруживается.

Повторим, что как раз отсутствуют многие волнующие воображение письма — нет Гюго, Гарибальди, Мадзини, Кавура, Бисмарка, Каткова, Тьера, их нет не только в царском собрании — знатоки Гюго вообще не знают его писем к Долгорукову. Однако в отчетах Романна мы ловим отдельные фразы этих посланий<sup>92</sup>.

Как уже говорилось, в жандармской описи названия этих документов легонько зачеркнуты и возле них пометы красным карандашом. Подобные бумаги, особенно письма государственных деятелей, обычно сохраняют, а не уничтожают; скорее всего именно они были представлены на прочтение Александру II (ведь царь велел обратить особое внимание «на частную переписку князя»). Но что же потом стало с перепиской, где она? По многим книгам, справочникам, путем «опроса экспертов» разыскивались любые, пусть самые незначительные, письма к Долгорукову. Ведь «письма к...» — это послания, которые князь получил, а после агент Романн захватил.

Поиски долго были абсолютно без результата, но однажды в книге В. Невлера «Эхо гарибальдийских сражений» (вышедшей в 1963 г.) встретилось факсимиле письма Гарибальди к П. В. Долгорукову: 10 сентября 1867 г. итальянский революционер благодарит за посланные ему мемуары князя. В примечаниях к тексту архивная сноска: Центральный госу-

<sup>92</sup> Две записки Н. А. Некрасова к Долгорукову недавно были обнаружены именно в этом собрании См. И. Т. Трофимов. Два письма Н. А. Некрасова. — «Советские архивы», 1971, № 6.

дарственный исторический архив в Ленинграде, фонд 931, опись 2, дело 21, лист 1.

Фонд 931 — это архив князей Долгоруковых; разумеется, не Петра Владимировича, но его родственников, для которых «князь-республиканец» был вредным побегом на старинном родословном древе.

Поскольку письмо Гарибальди значилось в списке Романна, легко конструировалась следующая гипотеза: фамилия Долгоруковых слишком знатна, чтобы оставлять ее в неведении насчет захваченного архива. Даже часть переписки осужденных декабристов, не имевшая прямого отношения к следствию, была после приговора возвращена родственникам. Переписку князя Петра Долгорукова царю неудобно было не вернуть в семью (за исключением лишь таких документов, как письма Ивана Гагарина: Гагарин почти эмигрант, в письмах говорится о Герцене, порицается православие...). Но если в фонде 931 сохранилось письмо Гарибальди, то, по логике, там же, рядом, должны лежать и другие...

Был обследован весь фонд 931 — архив Долгоруковых, состоящий в основном из бесконечной семейной переписки: рядом с опубликованным письмом Гарибальди Петру Долгорукову хранились еще два послания тому же адресату: Англия, 1860-е годы, подпись *Вудхауз*. Они значатся и в описи Романна — любопытные послания английского общественного деятеля, явно сочувственные эмигранту<sup>94</sup>. Но более ничего... Поиск «долгоруковских бумаг» необходимо продолжать.

От князя-эмигранта видимые и незримые нити тянутся к тайнам двенадцати царей, пяти государственных переворотов, к сотне ссыльных декабристов, десяткам номеров эмигрантской прессы, ко многим страницам Герцена и, наконец, к преддуэльным дням Пушкина.

---

<sup>94</sup> Лорд Джон Вудхауз (Вудгауз) — в 1856—1858 гг. английский посол в России, в 1864—1868 гг. — вице-король Ирландии. П. В. Долгоруков спрашивал о нем у В. С. Печерина 18 января 1865 г. (*В. Сливовская*. Два эпизода из жизни князя Петра Долгорукова. — «Przegląd historyczny», 1967, с. LVIII, № 2, стр. 316.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Название воспоминаний Герцена «Былое и думы» явилось и своего рода формулой освещения «темных» десятилетий и веков: связь прошедшего, бывшего с думами о настоящем.

Хотя некоторые материалы Вольной типографии касались допетровской Руси (например, издание «Стоглава», воспроизводившее в 1860 г. документы 1550-х годов), но, как не раз отмечалось, *былое* для Герцена и Огарева — прежде всего и больше всего российская история XVIII — первой половины XIX столетий. Нелегко подсчитать, сколько раз Вольная печать обращалась к историческим темам: ведь кроме публикаций запрещенных документов и сочинений, эти сюжеты непрерывно присутствовали в книгах, статьях, заметках Герцена, Огарева и их корреспондентов. При этом герценовская печать часто координировала свои публикации с П. В. Долгоруковым и другими издателями-эмигрантами 1860-х годов. Достаточно заметить, что только в «Колоколе» и его приложениях, где меньше всего представлено прошедшее, а больше всего — сегодняшнее, злободневное, упоминания о Петре I находятся на 114 страницах; почти на 200 страницах встречается декабристская тема, и декабристские имена. Если же учитывать только публикации и статьи, специально посвященные рассекречиванию *былого*, то мы получим следующие результаты.

*XVIII* век (до 1801 г. включительно) представлен в Вольной русской печати приблизительно 30 материалами; о времени Петра I и следующих десятилетиях (до воцарения Екатерины II) — еще сравнительно немного. Это самое далекое время «петербургского периода» еще более или менее можно было разрабатывать в России. Поскольку же документы о народной жизни XVIII столетия были слабо выявлены, а общественная, освободительная мысль той эпохи еще сравнительно неразвита, естественно, главные герценовские публикации о том времени были так или иначе связаны с тайной историей двора. В этих исторических документах присутствовала отмеченная Герценом особенность: «... постоянно забывалось одно — *Россия*



и народ,— о них даже не упоминали. Вот черта, характерная для эпохи».

Одним из таких исторических документов было, между прочим, письмо А. И. Румянцева к Д. И. Титову — документ, возможно, позднего происхождения, но касавшийся реального, строго засекреченного эпизода (чему посвящена глава III данной книги).

Та же тема — секретная история «верхов», борьба за власть (1740—1760 гг.) — продолжается в «Мемуарах» Екатерины II; однако другое вольное издание, посвященное почти всему XVIII в., — «О повреждении нравов в России» М. М. Щербатова — уже представляет одно из направлений оппозиционной общественной мысли. Вообще начиная со второй половины XVIII в. тема общественного сопротивления, освободительной борьбы становится все более заметной, а затем основной среди исторических публикаций Герцена: печатается «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, «О праве государственном» («Рассуждение...») Д. Фонвизина (судьба которого рассмотрена в IV и V главах книги), воспоминания Е. Р. Дашковой, а также относящиеся к концу XVIII — началу XIX в. записки и материалы И. В. Лопухина, В. Н. Каразина. Непосредственно к этим материалам примыкают и некоторые публикации «Исторических сборников...» и «Полярной звезды», написанные отнюдь не революционными или оппозиционными мыслителями, но посвященные острым, запретным политическим сюжетам: таковы отрывки из записок Л. Н. Энгельгардта, материалы А. И. Михайловского-Данилевского, наконец, семь документов о царствовании Павла I и перевороте 11 марта 1801 г. (ИС. I, II).

Кроме общественного движения и внутриворонской борьбы за власть для конца XVIII в. уже обозначена столь же существенная, сколь и труднодоступная тема народной жизни и борьбы: «Серьезное слово о русском народе,— писал Герцен,— Екатерина слышала лишь гораздо позже — когда казак Пугачев во главе армии восставших крестьян стал угрожать Москве». Восстание Пугачева (в основном в связи с пушкинским трудом) — один из сюжетов Вольной печати, которому посвящена и одна из глав этой книги.

Первую половину XIX в., т. е. для Вольной печати недавнее прошлое, представляют более ста материалов (считая отдельно каждый исторический документ). Народ — «спящее озеро, подснежных течений которого никто не знал», от которого «страшно далеки» даже лучшие люди из дворян, — народ все же появляется не раз в воспоминаниях декабристов, Герцена. Судьба и мечты миллионов угадывались за историей ссыльного поселенца Афанасия Петрова (см. главу VI), в «переписке по делу об убийстве арачевской Настасьи» («Колокол», 1 декабря 1863 г., л. 174), в воспоминаниях о страшном взрыве народной ненависти — новгородских бунтах 1831 г. (глава VII — «Замечания о бунте»).

Придворные тайны, эпизоды из истории «верхов» в этот период почти слиты с фактами общественной борьбы. Даже описания важных политических событий, вышедшие из правительственного лагеря, являются в Вольной печати дополнением к документам и воспоминаниям противоположной стороны. Так, секретно приготовленная по приказу Александра I «Государственная уставная грамота» (ИС. II) непосредственно относится к истории декабристов и польского восстания 1830—1831 гг.

Общественное сопротивление, прогрессивная мысль начала XIX в. представлены в виде разнообразных сочинений, мнений, писем, связанных с такими деятелями, как Н. С. Мордвинов<sup>1</sup>, А. П. Ермолов<sup>2</sup>, М. М. Сперанский<sup>3</sup>. Именно этих трех сановников, не разделявших революционные мнения, но желавших существенных перемен в стране, декабристы, как известно, намечали в состав правительства в случае победы. В их суждениях и мнениях Герцен справедливо видел предысторию первого революционного выступления в России.

<sup>1</sup> «Мнения» Н. С. Мордвинова, а также приписываемое ему письмо к Александру I (ИС. I, II).

<sup>2</sup> Два письма Ермолова и воспоминания о нем декабриста Н. Р. Цебрикова (ИС. II; посвященный Ермолову отрывок из пушкинского «Путешествия в Арзрум» — ПЗ. VI).

<sup>3</sup> О Сперанском — так называемое «Письмо графа Ростопчина к Александру I» (ИС. I) и отрывок «Арестование Сперанского» (ИС. I).

Декабристская тема, понятно,— одна из основных в исторических публикациях Вольной типографии. Преимущество первых и следующих дворянских революционеров («Наши мечты, мечты декабристов...») была неоднократно провозглашена в «Полярной звезде», «Былом и думах» и других герценовских изданиях. История тайных обществ, восстаний на севере и юге, сочинений декабристов, их жизнь в Сибири, на Кавказе, после амнистии, а также защита революционеров от клеветы и оскорблений, некрологи умершим — вот далеко не полный перечень декабристских материалов, опубликованных Герценом и Огаревым. Кроме того, Вольная типография напечатала и перепечатала более 300 стихотворений 1820—1860-х годов, среди которых выделяются свободолюбивые стихотворения Пушкина, Рыльева, А. Бестужева, А. Одоевского и других поэтов<sup>4</sup>.

Не считая стихов, в герценовской печати появилось более 50 материалов самих декабристов или о них (в нашей книге декабристская тема в нескольких главах: в связи с историей борьбы Герцена против книги Корфа — главы I и II; в главе VIII и др.).

Общественная мысль последекабристского времени была для Герцена и Огарева уже частью их собственного былого... Регулярно печатавшиеся в Лондоне и Женеве мемуары Герцена имели значение важнейшего исторического памятника 1820—1860-х годов. Ряд впервые публиковавшихся рукописей, несомненно, являлся своеобразным приложением к «Былому и думах». Они как бы комментировали, документально подкрепляли страницы герценовских воспоминаний. Такой характер имели, в основном опубликованные в «Полярной звезде», материалы о Чаадаеве, Печерине, Киреевском, о переписке Белинского с Гоголем и др.

Видное место среди документов об этом периоде принадлежало неизвестным прежде страницам биографии и творчества Пушкина, от неопубликованных

<sup>4</sup> См. Е. Г. Бушканец. Особенности изучения памятников революционной поэзии XIX века. Казань, 1962; вступительные заметки и примечания С. А. Рейсера в сб. «Вольная русская поэзия второй половины XVIII — первой половины XIX века. Л., 1970.

фрагментов воспоминаний И. И. Пущина до сборника документов о гибели поэта (см. глава VIII «Адские козни»).

Особое место в вольных изданиях занимали добытые «из-под спуда» зловещие факты о последних годах николаевского царствования. Это было время, когда начинала создаваться Вольная русская типография в Лондоне; грань между прошлым и настоящим уже почти не видна. Не случайно, например, обширные публикации о петрашевцах появляются как в специальных исторических изданиях Герцена и Огарева, так и в «Колоколе»<sup>5</sup>.

В «Полярной звезде», «Исторических сборниках» и «Колоколе» фигурирует также немало документов о «правительственном неистовстве» последних лет николаевского царствования.

Смерть, в некоторых отношениях загадочная, Николая I рассматривалась Герценом как важная грань между прошлым и настоящим. Однако, объявляя о начале «Полярной звезды» — издания для «юной России, России будущего», ее основатель тут же, с первых строк напоминал о прошедшем: «Русское периодическое издание, выходящее без цензуры, исключительно посвященное вопросу русского освобождения и распространению в России свободного образа мыслей, принимает это название, чтоб показать непрерывность предания, преемственность труда, внутреннюю связь и кровное родство».

Создатели Вольной русской печати мечтали о том времени, «когда «Полярная звезда» потонет при полном дневном свете и «Колокол» не будет слышен при громком говоре свободной русской речи дома».

Они не дождались того, о чем мечтали, но понимали, что сделано многое. «Всякому поколению свое, — писал Герцен незадолго до смерти, — мы не ропщем на наш пай. Мы дожили не только до красной полосы на востоке, но и до того, что враги наши ее видят. Чего же больше ждаты от жизни, особенно когда человек, положя руку на грудь, с чистой со-

<sup>5</sup> О петрашевцах см. ПЗ. VII. вып. I; ИС. II; а также «Колокол», л. 49—53 (1 августа — 1 октября 1859), л. 92 (15 февраля 1861 г.), л. 140 (1 августа 1861 г.).

вестью может сказать: «И я участвовал в этой гигантской борьбе, и я внес в нее свою лепту»».

В этой книге говорилось только об одной стороне «гигантской борьбы» — отвоевывании прошлого для своего и следующих поколений. В 1850—1860-х годах многое было добыто, хотя и нелегкой ценой, иногда через потери и неудачи. Некоторые обнаруженные эпизоды прежде утаивались 100—150 лет, иные же секреты продержались всего несколько месяцев. В то же время, как показывают произведенные подсчеты, исторические материалы в Вольной печати Герцена и Огарева в среднем опережали примерно на 30 лет соответствующие публикации в России и долго являлись единственным источником многих сведений, важных для общественной мысли и науки<sup>6</sup>.

Расширительное толкование государственной тайны, безгласность были органически свойственны в той или иной степени всякой абсолютной монархии. Признавая свои семейные тайны делом чести, не подлежащим стороннему обсуждению, вмешательству, самодержавие легко включало (поскольку «государство — это я») в систему семейных, интимных секретов общие проблемы, касающиеся экономики, политики, культуры... Поэтому с первой группой «табу-фактов», династических, придворных, касающихся смены властителей, дворцовых переворотов и т. п., обычно были связаны ограничения на правду о революции, восстаниях, конституционных движениях и других видах оппозиции властям. Постоянное вето накладывалось на многие литературные произведения, или историю литературы (как часть революционной оппозиции или народного сопротивления).

Анализируя тип государственной тайны в России XVIII—XIX вв., мы не должны забывать о неграмотности основной части населения, которое не воспринимало «запретные факты» в их письменном выражении, но получало более или менее объективную устную информацию посредников (грамотных крестьян, разночинцев, сочувствующих дворян). Еще чаще важный «табу-факт» являлся в виде слуха, более

---

<sup>6</sup> «Исторический сборник Вольной русской типографии в Лондоне». Факсим. изд., кн. III. М., 1971, стр. 18.

или менее искажающего (иногда и «создающего») историческое событие.

С другой стороны, придворные круги, аристократия хорошо знали многое из секретной истории просто по своему положению, семейной традиции, преданию: в архивах таких фамилий, как Воронцовы, Строгановы, Румянцевы, Панины, обнаруживаются разнообразные документы, не подлежавшие опубликованию. Еще в декабристские времена большая часть заговорщиков узнавала важные подробности внутренней жизни страны и ее прошлого из разговоров, писем и рукописей. Впрочем, известны и неудавшиеся декабристские попытки нелегального печатного распространения своих идей (Трубецкой, Лунин).

Спустя 30 лет после 14 декабря 1825 г. число интересующихся потаенным «сегодня» и «вчера» более велико — 6 процентов грамотных в середине века — это около 400 тыс. человек, среди которых дворян примерно половина.

За вычетом народа, питавшегося слухами о важных событиях, и верхов, «все знавших», остается часть дворянства и разночинцев, весьма восприимчивая к информации о реальном положении в стране и страдающая от ее недостатка. Именно эта часть народа и была в XVIII—XIX вв. максимальной «стихией мятежей» (выражение Пушкина), именно эти люди и были главной аудиторией для Вольных изданий Герцена и Огарева.

Открытие XVIII и первой половины XIX в. было как бы завещано Герцену и Огареву их предшественниками, боровшимися в иные времена, в иных условиях против «рабьего молчания» (В. И. Ленин). Вольная печать 1850—1860-х годов была в этом, как и в ряде других отношений, прямой наследницей Радищева, Фонвизина, декабристов, Пушкина.

Продолжение изысканий «на стыке» Вольной печати и политической истории XVIII—XIX вв. кажется очень перспективным. Богатые возможности ожидают еще исследователей первых бесцензурных публикаций Радищева, Щербатова, Дашковой, мемуаров Екатерины II и сопровождающих их документов, комплекса материалов о перевороте 11 марта 1801 г., различных документов о Рылееве и других



декабристах, о петрашевцах, Денисе Давыдове, Ермалове, Мордвинове, Сперанском и некоторых других деятелях. Наконец, остаются еще малоизученными некоторые герценовские издания (отсутствует, например, подробный научный комментарий «Колокола»), почти совсем не исследована бесцензурная печать Долгорукова и других эмигрантов 1860-х годов. И разумеется, требует новых, углубленных размышлений герценовская концепция русской истории XVIII—XIX вв.

Этим далеко не исчерпываются возможные пути важных розысков. Громадный пласт российской культуры, Вольная печать, еще полностью не поднят и не дал всего, что имеет...

Даже в самые тяжкие, трустные годы изгнания Герцен верил в будущее своей страны, своего народа, надеялся на встречу с друзьями на родине в лучшие времена.

«Сердце отказывается верить, — писал он, — что этот день не придет, замирает при мысли вечной разлуки. Будто я не увижу эти улицы, по которым я так часто ходил, полный юношеских мечтаний; эти дома, так сроднившиеся с воспоминаниями, наши русские деревни, наших крестьян, которых я вспоминал с любовью?.. Не может быть! — Ну а если? — Тогда я завещаю мой тост моим детям и, умирая на чужбине, сохраню веру в будущность русского народа и благословлю его из дали моей добровольной ссылки!»

## ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Адлерберг А. В. 309  
 Адлерберг В. Ф. 16, 18, 27,  
 36, 37, 40, 41, 44, 49, 52,  
 191, 304, 309  
 Аксакова В. С. 341  
 Александр I 30, 40, 42, 43,  
 49—51, 96, 133—143,  
 145—147, 150—154, 157,  
 164, 165, 167, 172, 179,  
 182, 183, 186, 187, 189,  
 191, 224, 229, 231, 232,  
 326, 341, 351  
 Александр II 12, 13, 17, 18,  
 28, 33, 35, 37, 38, 42, 43,  
 46, 50—53, 71, 126, 204,  
 295, 303, 304, 308, 323,  
 326, 340, 345, 347  
 Александр III 19, 168, 258,  
 346  
 Александра Павловна 189  
 Александра Федоровна 27  
 Алексеев (Алексеевский)  
 А. Г. 164—166, 170, 171,  
 174, 175, 180  
 Алексей Михайлович 299  
 Алексей Петрович 56, 57,  
 59—63, 65—79, 81, 83—  
 86, 89, 92, 93, 95  
 Аммосов А. Н. 266, 278,  
 282, 292—294  
 Анна Ивановна 64, 345  
 Анна Павловна 189, 279  
 Анненков Н. Н. 309  
 Анненков П. В. 106, 107,  
 169, 170, 246, 250—254,  
 258, 293—294  
 Анненков Ф. В. 169  
 Апраксин С. С. 270  
 Апраксин Ф. М. 61  
 Аракчеев А. А. 50, 165, 166,  
 179, 185, 186, 189, 206,  
 209, 231, 322, 336  
 Аргамакова Ф. И. 158  
 Аргиропуло П. Э. 52  
 Армфельд А. Г. 309  
 Арсеньев К. И. 72  
 Афанасий Петрович (Пет-  
 ров) 164—169, 171, 172,  
 174—188, 351  
 Афанасьев А. Н. 98, 99,  
 158, 159, 254, 257, 290,  
 296, 323  
 Д. Аршняк О. 263, 282, 285  
 Бабкин Д. Г. 189  
 Базанов В. Г. 152, 153  
 Байрон Д. 248  
 Бакунин М. А. 197, 311,  
 315, 324, 325, 338, 344  
 Бакунин П. В. 115, 117  
 Баллейдье А. 35, 46  
 Баранов Д. О. 253  
 Баранова Ю. Ф. 309  
 Баратынский Е. А. 251  
 Барбес А. 311  
 Бардин 94  
 Барсков Я. Л. 107, 168  
 Бартенев П. И. 98, 107, 234,  
 266, 267, 276—278, 289,  
 304, 305, 341  
 Бярятинский А. И. 309  
 Бярятинский И. С. 40  
 Бярятинский Ф. С. 133  
 Батеньков Г. С. 34, 35, 44,  
 303, 316  
 Бахрушин С. В. 303, 308,  
 312  
 Башуцкий 30  
 Безродко А. А. 131, 133,  
 134, 189, 190  
 Бекетов И. П. 152  
 Бекетов П. П. 117  
 Белинский В. Г. 84, 169,  
 195, 248, 249, 258, 352  
 Белоголовый Н. А. 319  
 Белосельская Е. П. 293  
 Бельгард К. А. 326  
 Бельчиков Н. Ф. 261  
 Беляев П. П. 303  
 Белянчиков Н. Н. 187  
 Бенеvский М. 113  
 Бенкендорф А. X. 48, 153,  
 208, 217—222, 226, 227,  
 239, 250, 251, 259, 262—  
 279, 281—283, 285—287,  
 289—294, 300, 328, 345  
 Беннигсен Л. Л. 136  
 Беранже П.-Ж. 342  
 Бестужев А. А. 101, 152,  
 352  
 Бестужев А. П. 112  
 Бестужев М. А. 151, 296,  
 326, 344  
 Бестужев Н. А. 23, 211, 296  
 Бибииков А. А. 211  
 Бибииков А. И. 212, 232—  
 234, 237, 241, 256—258

- Бибииков М. И. 44  
 Биллов Х. 243  
 Бильбасов В. А. 77, 88, 91,  
 126, 147  
 Бирон Э. 64  
 Бисмарк О. 325, 339, 345,  
 347  
 Благой Д. Д. 214  
 Блан Л. 339  
 Блок Г. П. 210, 214  
 Блаудов Д. Н. 10, 12, 13, 17,  
 18, 26, 50, 67, 68, 70, 71,  
 135, 155, 309  
 Блаудова А. Д. 10, 18  
 Блаудовы 12  
 Богданович М. И. 22  
 Богомолова П. 19  
 Бонч-Бруевич В. Д. 301  
 Борецкая М. И. 316  
 Боровков А. Д. 22, 24  
 Бошняк А. К. 317, 319  
 Брандт Я. И. (Брант) 243  
 Бригген А. Ф. 165, 169—  
 172, 188—190, 296  
 Брикнер А. Г. 133, 136, 137,  
 140, 146, 147  
 Бринкен Р. Е. 231  
 Броневский Б. В. 248  
 Брюс П.-Г. 69  
 Булгаков А. Я. 283, 284  
 Булгарин Ф. В. 293  
 Буркова М. И. 191, 309  
 Бутков В. П. 309  
 Бутурлин И. И. 74, 75  
 Бушканец Е. Г. 6, 352  
 Бушуев С. К. 6  
 Быстрицкий А. А. 296  
  
 Вадковский Ф. Ф. 23, 296,  
 344, 345  
 Валленштерн К. 243  
 Вацууро В. Э. 111  
 Виельгорский М. Ю. 261  
 Вильгельм Оранский 280  
 Висковатов А. В. 31  
 Витворт Ч. 137  
 Вихерский Ф. 333  
 Воинов 204, 205  
 Войт В. К. 309  
 Волков А. А. 285  
 Волконский М. Н. 114, 230  
 Волконский М. С. 319, 320  
 Волконский (Репнин) Н. Г.  
 163  
 Волконский П. М. 27  
 Волконский С. Г. 23, 34,  
 201, 303, 315, 317—321,  
 344  
 Вольтер Ф.-М. 62, 66, 258  
 Воронцов Я. В. 204  
 Воронцов А. Р. 102  
 Воронцов М. С. 134  
 Воронцов С. М. 335, 342  
 Воронцов С. Р. 135, 136, 146  
 Воронцовы 66, 136, 355  
 Вудхауз Дж. 348  
 Вульф Л. Н. 216  
 Вяземская В. Ф. 267, 276,  
 289  
 Вяземский П. А. 111, 118,  
 121, 151, 152, 154, 159,  
 237, 249, 259, 261, 266,  
 275—279, 283—285, 289—  
 291, 294  
  
 Гавриил 115  
 Гагарин И. С. 301, 308—311,  
 314, 315, 339, 340, 342—  
 345, 348  
 Галкин И. И. 174—176  
 Гамалеи 42  
 Гарибальди Дж. 339, 343,  
 345, 347, 348  
 Гастфрейнд Н. А. 68  
 Геверс И. 282  
 Гейкинг К.-А. 138  
 Геккери Л.-Б. 263—265,  
 268, 271—275, 277, 278,  
 281—283, 285, 290, 291,  
 293  
 Гельбиг Г. 67  
 Георг III 137  
 Георг IV 139  
 Гербель Н. В. 170, 296  
 Герверг Г. 195, 196  
 Герман Ф. И. 152, 153, 155  
 Герпен А. И. 5—7, 9, 11—  
 13, 20, 21, 24, 25, 27, 28,  
 33, 34, 38, 39, 44—53, 55,  
 56, 72, 73, 76—79, 96—  
 103, 106—111, 126, 129,  
 133, 134, 139, 142, 151,  
 158—162, 168—172, 174,  
 187, 191, 192, 194—198,  
 202, 207, 219, 239, 249—  
 251, 254—258, 266, 282,  
 290—292, 295, 296, 300,  
 302, 309—317, 319, 321,

322, 324—334, 336—338,  
341, 343, 344, 348—356  
Герцен Е. А. 330  
Гессен С. Я. 22  
Гиллельсон М. И. 111  
Гиртль 15  
Гоголь Н. В. 352  
Голиков И. И. 61, 66, 86,  
92, 94  
Голицын А. Н. 27, 237  
Голицын А. Ф. 309  
Голицын Д. В. 178—180,  
183—186, 297  
Голицын Н. А. 180, 181, 184  
Голицын П. М. 236, 237, 256  
Головин И. Г. 301  
Головкин Г. И. 61, 73  
Голубева А. П. 223  
Голубева О. П. 220, 223  
Голубцов В. В. 203  
Гончарова Е. Н. 263  
Гончарова (Пушкина) Н. Н.  
220, 263  
Гончаровы 220  
Горбачевский И. И. 52  
Грибоедов А. С. 144, 145  
Громницкий П. Ф. 23  
Грот Я. К. 107, 108, 142,  
143, 287, 288, 305, 306  
Грубер В. 14, 15  
Гудович А. В. 224  
Гусарова Ф. П. 6  
Густав III 235, 253  
Гюго В. 325, 339, 345, 347  
  
Давыдов Д. В. 284, 315, 356  
Данзас Б. К. 24  
Данзас К. К. 266, 276, 278,  
282, 283, 291, 293, 294  
Дантес Ж. 263—265, 271,  
273, 276, 278, 281, 293  
Дашков Д. В. 156, 285  
Дашкова Е. Р. 56, 99—103,  
108, 115, 116, 129, 157,  
350, 355  
Де-Би Я. 63  
Декалонг (де Калонг) И. А.  
243  
Деларю М. Д. 221, 223  
Демарин (де Марин) О. Х.  
243  
Деперер 200  
Державин Г. Р. 142—144,  
151, 235, 236, 258

Деянова К. 184  
Дивов В. А. 303, 316  
Диц 243  
Дмитриев И. И. 213, 234—  
236, 248, 253, 283, 284  
Добролюбов Н. А. 11, 12,  
20, 38, 79, 81—83, 99,  
108, 109  
Добрушкин И. 95  
Довнар-Запольский М. В. 22  
Долгорукая Н. Б. 316, 339  
Долгорукий Я. Ф. 61  
Долгоруков В. А. 305, 306,  
322  
Долгоруков П. В. 7, 13, 63,  
162, 295—310, 312—322,  
325—328, 332, 334, 335,  
338—349, 351, 356  
Достоевский Ф. М. 257  
Дрыжакова Е. Н. 6  
Дубельт Л. В. 270, 281  
Дубровин Н. Ф. 22  
Дуве О. И. 243  
  
Евгений Вюртембергский  
191  
Евдокия Федоровна 67  
Евфросинья 59, 73  
Егоров Н. С. 32  
Екатерина I 64—66  
Екатерина II 6, 7, 13, 56,  
61, 67, 78, 96, 99—103,  
106, 108—115, 117, 118,  
120, 122, 129, 133, 134,  
139, 141, 146, 148, 150,  
153, 157, 162—164, 192,  
210, 229—234, 237, 242,  
244, 255, 258, 297, 307,  
314, 325, 327, 335, 336,  
339, 349, 350, 355  
Елена Павловна 230  
Елизавета Петровна 65, 66,  
162—164, 186, 187, 228,  
229  
Енохин И. В. 15, 17  
Ермолов А. П. 132, 233,  
314, 315, 339—342, 345,  
356  
Ефремов П. А. 98, 159, 254,  
296, 323  
  
Жандр А. А. 144, 145, 147,  
150  
Желвакова И. А. 6, 108, 170

- Жеребцова О. А. 139  
 Жуковский В. А. 220, 248,  
 263, 269, 270, 273—275,  
 277, 279—282
- Заблоцкий-Десятовский  
 М. П. 108  
 Загряжская Н. К. 234, 263  
 Заикин 205  
 Заичневский П. Г. 52  
 Зиновьев В. П. 157  
 Зиновьев П. В. 157  
 Зубков В. П. 24  
 Зубов П. А. 40, 142, 143  
 Зубовы 139
- Иван Антонович 139, 232,  
 255  
 Иван Грозный 56, 57, 310  
 Иванов Вс. В. 188  
 Иванов Вяч. Вс. 188  
 Иванов И. И. 322  
 Иванов 61  
 Ивановский А. А. 24, 77  
 Иллерицкий В. Е. 6
- Кавелин К. Д. 52  
 Кавкасидзев В. С. 85—94  
 Кавур К. 325, 335, 345, 347  
 Казанский Б. В. 262, 267,  
 273, 278  
 Каляев И. П. 345  
 Канкрин Е. Ф. 226, 262  
 Кантор Р. М. 324, 326, 328,  
 329, 336, 338, 339  
 Капнист 90  
 Капцевич П. М. 164, 169,  
 175  
 Кар В. А. 228, 230, 243,  
 253—255  
 Карабанов П. Ф. 298, 325,  
 327, 332, 336, 339, 340,  
 347  
 Каразин В. Н. 50, 350  
 Каракозов Д. В. 239  
 Карамзин Н. М. 42, 56, 133,  
 141  
 Карамзины 274  
 Карл VI 57, 59, 93  
 Карлос 62  
 Каррель А. 17, 18  
 Касаткин В. И. 98, 296, 331  
 Катифор А. 65, 86, 92—95
- Катков М. Н. 326, 335, 347  
 Келер Д. Е. 69  
 Кельсиев В. И. 292, 311  
 Кирджали 236  
 Киреевский И. В. 352  
 Киселев П. Д. 11, 18, 309  
 Клевенский М. М. 333  
 Клейнмихель П. А. 48  
 Княжнин Я. Б. 103  
 Ковалевский Е. П. 142, 304  
 Кожевников А. Л. 36  
 Кокошкины 48  
 Колышкин 333  
 Кондоиди П. З. 186  
 Кононов Н. 176  
 Константин Николаевич 13,  
 28, 309  
 Константин Павлович 27,  
 30, 31, 36, 37, 165, 179,  
 189, 224, 339  
 Коншин Н. М. 208  
 Коростылев 61  
 Корф А. 234, 243  
 Корф М. А. 14, 21, 25—54,  
 341, 345, 352  
 Кочубей В. П. 40, 43, 49,  
 50, 136, 173, 174, 177,  
 183, 244, 326  
 Краевский А. А. 84, 89, 93,  
 148  
 Крамер А. 75  
 Красовский А. А. 313  
 Креницыны П. и А. 256  
 Крестова Л. В. 24  
 Крузе Н. Ф. 335  
 Крылов И. А. 234, 288  
 Кубалов Б. Г. 172  
 Кудряшов К. В. 187, 188  
 Куракин А. Б. 133  
 Куракины 66  
 Курбский А. М. 310  
 Курочкин В. С. 342  
 Кутузов М. И. 140, 304  
 Кюстин А. де 24
- Лавинский А. С. 174, 175,  
 178, 179  
 Лавров П. Л. 337  
 Лагарп Ф. Ц. 138  
 Лазарев А. П. 36  
 Лакруа П. 35  
 Ланжерон А. Ф. 136  
 Ланской Д. С. 166, 167  
 Ланской С. С. 309

- Ла Фит де ла Псельпор В. 316
- Лебедев П. С. 111, 114
- Левкович Я. Л. 263
- Лейкина-Свирская В. Р. 6
- Лемке М. К. 52, 299, 301
- Ленин В. И. 5, 129, 355
- Лермонтов М. Ю. 7, 237
- Лилиенанкер 183
- Литке Ф. П. 152
- Лобанов-Ростовский А. Б. 126, 146, 147, 182, 345—347
- Лопухин П. В. 178, 183
- Лорис-Меликов М. Т. 127
- Лотман Ю. М. 100, 101
- Луи-Филипп 237
- Лукулл 289
- Лунин М. С. 23, 125, 154, 188, 296, 303, 316, 321, 344, 355
- Лурье Я. С. 95
- Любимов Л. Д. 187
- Ляхов 175—177
- Майборода А. И. 317, 319
- Майков Л. Н. 216, 250
- Макаров А. В. 66
- Маковицкий Д. П. 295
- Макогоненко Г. П. 113, 116, 117, 122, 129
- Маколей Т. Б. 298
- Мандт М. 12, 14, 15, 17—19
- Марат Ж.-П. 196, 211
- Мария Александровна 308
- Мария Павловна 280
- Мария Стюарт 346
- Мария Федоровна 146, 147, 166, 188, 189, 327
- Маркович М. А. (Марко Вовчок) 162
- Маркус 16
- Мартьянов П. А. 313
- Матвеева М. А. 63
- Матье П.-А. 342
- Маццини Дж. 339, 345, 347
- Мейер Д. И. 84, 90
- Мекленбург-Стрелицкие 284
- Меллин 243
- Мельгунов Н. А. 53
- Меншиков А. Д. 61—64, 73
- Меншиков А. С. 31
- Миллер И. С. 144
- Миллер Н. В. 223
- Миллер П. И. 217, 220—223, 227, 240, 250, 251, 254, 267—271, 273, 275—279, 285—289, 291, 292, 294
- Миллер 178, 180
- Милорадович М. А. 52, 288
- Милютин Н. А. 326
- Минсеев Ф. 237
- Мирович В. Я. 139, 211
- Митьков М. Ф. 303
- Михаил Николаевич 11, 341
- Михаил Павлович 27, 30, 31, 190, 207, 216, 231, 237, 238, 266, 279, 284
- Михаил Федорович 299
- Михаил Черниговский 297, 307
- Михайловский-Данилевский А. И. 108, 187, 350
- Михельсон И. И. 243, 258
- Мишле Ж. 47
- Модзалевский Б. Л. 77, 90, 169—171, 276, 302, 320
- Модзалевский Л. Б. 272, 278
- Мозалевский А. Е. 296
- Мордвинов А. Н. 218
- Мордвинов Н. С. 143, 356
- Муза Е. В. 279
- Муравьев А. М. 326, 344
- Муравьев А. Н. 316
- Муравьев М. Н. 309
- Муравьев Н. М. 23, 125, 127, 152—154, 159, 165, 211, 327, 344
- Муравьева Ж. А. 344
- Муравьев-Апостол М. И. 23, 34, 44, 51, 296
- Мурзакевич Н. Н. 60
- Муррей 44, 45
- Муфель К. 243
- Муханов Н. А. 304
- Муханов П. А. 286
- Муханов С. И. 189
- Мухановы 286
- Мятлев И. П. 40
- Наполеон I 137, 203
- Наполеон III 313, 325, 326, 335
- Наранович 15
- Нарышкин Д. Л. 262
- Нарышкин М. М. 302



- Нарышкина А. Д. 185, 186  
 Настасья (Минкина) 351  
 Наталья Алексеевна 113,  
 115, 189, 190  
 Нащокин В. В. 227—229,  
 234  
 Нащокин П. В. 228, 229,  
 284  
 Невлер В. Е. 347  
 Некрасов Н. А. 79, 239,  
 347  
 Нессельроде К. В. 67—69,  
 226, 244, 267  
 Нечаев С. Г. 322, 324, 328,  
 336, 338  
 Нечкина М. В. 6, 22  
 Николай Н. П. 136  
 Николай I 9—16, 18—22,  
 25, 27—33, 35—39, 41,  
 42, 45—50, 52, 67—69,  
 71, 88, 113, 135, 146,  
 152—156, 188—190, 201—  
 204, 206, 208, 213—215,  
 217—219, 222, 224, 225,  
 227, 229, 231, 234, 239,  
 242, 245, 250, 252, 257,  
 262, 263, 267, 274, 279—  
 281, 284, 288, 291, 293,  
 297, 299—301, 315, 339,  
 341, 343  
 Николай Николаевич 11  
 Новиков Н. И. 99, 101, 295  
 Новицкий 313  
 Новосильцов Н. Н. 142,  
 143, 150  
 Норов А. С. 18, 71
- Оболенский Е. П. 315, 316  
 Обольянинов П. X. 190  
 Овчинников Р. В. 211, 213,  
 215, 221, 247  
 Огарев Н. П. 5—7, 21, 23,  
 24, 27, 32, 33, 39, 47—  
 53, 73, 84, 97, 98, 103,  
 106, 107, 110, 159—161,  
 168—170, 187, 192, 194,  
 198, 219, 255, 257, 266,  
 282, 290, 292, 295, 296,  
 309—311, 315, 317, 322,  
 324, 325, 327, 329, 333,  
 336—339, 344, 349, 352—  
 355  
 Одоевский А. И. 145, 166,  
 167, 183, 352
- Одоевский В. Ф. 280  
 Оксман Ю. Г. 6, 207, 208,  
 212, 217  
 Окунь С. Б. 138, 187  
 Оленин А. А. 151  
 Ольга Николаевна 29, 263  
 Орлов А. Г. 133, 134, 237,  
 253  
 Орлов А. Ф. 27, 30, 149,  
 150, 201, 206, 209  
 Орлов Г. Г. 115, 122, 327  
 Орлов М. Ф. 149, 150  
 Орлов Н. А. 304  
 Орлов Ф. 204  
 Орлова С. В. 149
- Павел I 13, 56, 77, 96, 111,  
 113—118, 120, 121, 123,  
 124, 131—140, 147, 148,  
 150, 154, 155, 158, 162—  
 171, 175, 179, 183, 186—  
 191, 224, 227, 230, 234,  
 254, 255, 298, 327, 335,  
 336, 341, 346, 349, 350  
 Падуров Т. И. 241, 242, 253  
 Пален П. А. 136, 138, 140,  
 149, 155  
 Панаев Н. И. 198—207, 210  
 Панаева М. Н. 200  
 Панин В. Н. 70, 144, 147,  
 154  
 Панин Н. И. 7, 100—103,  
 111—120, 122—124, 127,  
 130, 132, 134—138, 143,  
 149, 151—154, 159  
 Панин Н. П. 126, 132—136,  
 142—149, 154  
 Панин П. И. 100, 111, 113—  
 117, 120, 121, 123, 124,  
 127, 129, 130, 132, 195,  
 196  
 Панины 12, 118, 123, 126,  
 128, 129, 134, 147, 258,  
 355  
 Панкратьев 327  
 Паренсов П. 140  
 Пассек П. Б. 40  
 Пекарский П. П. 81—84, 86,  
 89, 90  
 Пеликан А. А. 14, 15  
 Пеликан В. В. 14, 18  
 Перовская С. Л. 239  
 Перовский Л. А. 27  
 Персон С. 19

- Перфильев А. П. 239  
 Перцов В. П. 197  
 Пестель И. И. 158, 197, 317  
 Петерсен М. В. 223  
 Петерсен С. В. 223  
 Петр I 5, 10, 25, 42, 55—  
 60, 62, 63, 65—71, 74,  
 76—78, 80, 82, 85, 88,  
 89, 91—93, 100, 113, 125,  
 141, 146, 224, 234, 244,  
 254, 299, 336, 339, 340,  
 345, 346, 349  
 Петр II 64, 69, 307  
 Петр III 13, 96, 103, 114,  
 138, 164, 173, 182, 197,  
 223—225, 230, 235, 254,  
 255, 307  
 Петров П. Н. 79, 90  
 Петрунина Н. Н. 214, 215,  
 247—249  
 Печерин В. С. 313, 348, 352  
 Пигарев К. В. 116, 122, 124,  
 152, 211  
 Пиксанов Н. К. 24  
 Пирумова Н. М. 6  
 Писарев Д. И. 79  
 Писарев С. И. 65, 66, 92,  
 94  
 Плейер О.-А. 63  
 Плещеев С. И. 327  
 Плимак Е. Г. 100  
 Повало-Швейковский Н. П.  
 291  
 Погодин М. П. 68, 77, 247,  
 248  
 Поджио А. В. 316, 318—  
 320  
 Поджио И. В. 303, 318  
 Подъяпольская Е. П. 229  
 Покровский М. Н. 214  
 Поленов В. А. 69, 72  
 Полетика А. В. 91  
 Полетика В. Г. 91, 92  
 Половцов А. А. 19  
 Полторацкий С. Д. 251, 254,  
 258, 298, 299  
 Поляков А. С. 261, 270  
 Помяловский И. В. 77  
 Попов П. С. 68  
 Порох И. В. 6, 27, 38, 44,  
 48  
 Потапов А. Л. 309  
 Потемкин Г. А. 122, 236,  
 237  
 Потемкин П. С. 114, 240  
 Почижерцов (Посежерский)  
 М. П. 164, 171  
 Правдин М. 316  
 Предтеченский А. В. 81  
 Прозоровский А. А. 121  
 Прокопович Ф. 240  
 Пугачев Е. И. 5, 42, 83, 99,  
 100, 110, 114, 129, 130,  
 155, 173, 193—195, 197,  
 207, 210—217, 221, 223,  
 225—228, 234—236, 238—  
 240, 242—250, 252—258,  
 350  
 Пугачева А. Е. 213  
 Пузыревский 121, 134, 159  
 Пулавский А. 240  
 Путята Н. В. 251, 304  
 Пушкарев Л. Н. 52  
 Пушкин А. С. 5—7, 13, 24,  
 25, 34, 44, 55, 56, 60, 68,  
 69, 76, 78, 83, 84, 98,  
 102, 111, 121, 124, 126,  
 133, 152, 154, 156, 193—  
 197, 206—210, 212—252,  
 254—256, 258—295, 297,  
 300, 313, 314, 339, 342,  
 348, 351, 352  
 Пушин И. И. 23, 24, 34,  
 39, 44, 52, 156—158, 242,  
 296, 353  
 Пушин М. И. 24  
 Пыпин А. Н. 133, 143, 153  
 Пьянов Д. Д. 235, 236  
 Радзивилл К. 256  
 Радищев А. Н. 5, 7, 61, 97,  
 99—111, 128, 132, 150,  
 157, 210—212, 295, 351,  
 355  
 Радищев П. А. 107, 108  
 Разин С. Т. 83  
 Разин С. 256  
 Рейнгольдт 16  
 Рейнсдорп И. А. 225, 226,  
 243  
 Рейсер С. А. 6, 81, 168,  
 352  
 Рейхель М. К. 106  
 Репнин Н. В. 115, 116  
 Рибас О. М. 136  
 Ришелье Ж.-А. 58  
 Робеспьер М. 211  
 Розен А. Е. 168, 169

- Розендвейг К. Ф. 136, 137  
 Романи К.-А. (Постников  
 Н. В.) 322—330, 332—  
 341, 345—348  
 Романовы 32, 36, 164, 169,  
 197, 207, 297, 298, 300,  
 307  
 Ростовцев Н. Я. 304  
 Ростовцев Я. И. 36, 204  
 Ростопчин А. Ф. 184  
 Ростопчин Ф. В. 133, 134,  
 188—191, 204, 351  
 Рошфор А. 326  
 Рубинштейн Н. Л. 77  
 Рудницкая Е. Л. 6, 13  
 Руммель В. В. 203, 346  
 Румянцев А. И. 58, 59, 61,  
 63—66, 72—74, 76—80,  
 84, 86—89, 92—96, 350  
 Румянцев Н. П. 64  
 Румянцев П. А. 64, 87, 88,  
 241, 253, 258  
 Румянцев С. П. 64  
 Румянцевы 66, 355  
 Рылеев К. Ф. 23, 34, 326,  
 351, 352, 355  
 Рычков П. И. 234  
 Рюрик 307  
 Рюриковичи 237, 301  
  
 Салтыков С. В. (дед) 162—  
 164, 168  
 Салтыков С. В. (внук) 162,  
 163  
 Салтыковы 40  
 Сальдерн 117  
 Сальери А. 236  
 Сахаров И. П. 247  
 Светлов Л. Б. 6  
 Свечин Н. С. 253  
 Свистунов Н. П. 166, 167  
 Свистунов П. Н. 167  
 Сеземан Д. В. 279  
 Селиванов А. В. 90  
 Семевский А. И. 77  
 Семевский В. И. 22, 158  
 Семевский И. Е. 205  
 Семевский М. И. 77—80, 84,  
 86, 90, 93, 98, 156, 157,  
 204, 205, 296, 313, 347  
 Семенников В. П. 100  
 Сергей Александрович 140,  
 345  
 Сиверс А. А. 302  
  
 Сивков К. В. 100  
 Сигизмунд 165  
 Сидоров А. А. 92  
 Скоропадский А. П. 125,  
 126  
 Сливовская В. 24, 308, 348  
 Смирнов Н. М. 231  
 Смирнова А. О. 249  
 Соболевский С. А. 314  
 Соллогуб В. А. 271—274  
 Солнцев Г. 155  
 Соловьев В. Н. 296  
 Сонцов М. М. 284  
 Сороко И. 52  
 Сперанский М. М. 7, 27, 28,  
 142, 150, 173, 211, 217,  
 247, 356  
 Сталь Ж. де 300  
 Станкевич Г. В. 249  
 Старцов И. В. 164—166,  
 171—183, 185  
 Стедингк 136, 137  
 Стеллинг-Мишо С. 13  
 Страхов Н. Н. 257  
 Строганов С. А. 189  
 Строганова С. В. 248, 283  
 Строгановы 355  
 Суворов А. В. 114, 212,  
 228, 241, 256, 258  
 Сукин А. Я. 183  
 Сулакадзев А. И. 94  
 Сулин Я. 52  
 Султан-шах М. П. 270  
 Сухозанет Н. О. 31  
 Сушков Н. В. 153  
 Сыроечковский Б. Е. 53,  
 156  
 Сю Э. 84  
  
 Талызин С. А. 136  
 Тарасова В. М. 317  
 Татищев А. И. 77  
 Татищев В. Н. 95  
 Татищевы 90  
 Тацит, Гай Корнелий 248,  
 298  
 Телль В. 42  
 Теплов В. 146  
 Теплоухова Н. А. 189  
 Теробенина Р. Е. 6  
 Тизенгаузен В. К. 163, 165  
 Тизенгаузен К. 163  
 Тимашев А. Е. 162, 304,  
 309

- Титов Д. И. 72, 73, 77—79,  
84, 86, 89, 90, 92, 96, 350  
 Толстой А. К. 64, 304  
 Толстой А. Н. 64  
 Толстой Д. А. 157  
 Толстой Л. Н. 22, 64, 295  
 Толстой П. Александр. 208,  
297  
 Толстой П. Андр. 59—61,  
64, 70, 73—75, 86  
 Толстой Я. Н. 299  
 Томашевский Б. В. 272, 278  
 Трепов Ф. Ф. 333  
 Трофимов И. Т. 347  
 Троицкий Д. П. 143  
 Трубецкая Е. И. 316  
 Трубецкой С. П. 296, 300,  
303, 316, 327, 355  
 Трюбнер Н. 45, 292, 326  
 Тургенев А. И. 133, 282,  
291  
 Тургенев И. С. 47, 106, 107,  
169, 304  
 Тургенев Н. И. 24, 151, 317  
 Тучков А. А. 23  
 Тучкова-Огарева Н. А. 330  
 Тхоржевский С. 321, 324—  
327, 329, 330, 332—334,  
336—338  
 Тьер А. 325, 326, 347  
 Тютчев Ф. И. 10, 251, 304,  
322  
 Убри Я. Я. 117  
 Уваров С. С. 287, 289  
 Уваров Ф. А. 188  
 Урусов В. А. 235  
 Устинья Петровна (Кузне-  
цова) 240  
 Устрялов Н. Г. 22, 57, 69—  
72, 77—84, 86, 89, 92, 99  
 Ушаков А. И. 74, 75  
 Ушаков А. К. 326  
 Федор Кузьмич 187, 188  
 Фейнберг И. Л. 67—69  
 Феодосий 74  
 Фет А. А. 84  
 Филарет 27  
 Филипп II 62  
 Филиппеус К. Ф. 322, 323,  
327, 328, 333, 337  
 Философов 284  
 Фонвизин Д. И. 5, 7, 97,  
99—102, 110, 111, 113,  
115—119, 121—124, 128,  
129, 134, 135, 141, 143,  
148, 151—155, 157—159,  
211, 212, 350, 355  
 Фонвизин И. А. 151, 152,  
156  
 Фонвизин М. А. 23, 115,  
116, 118, 120, 124, 145,  
148, 150—154, 156—159  
 Фонвизин П. И. 121  
 Фонвизина (Пущина) Н. Д.  
156, 158  
 Франк А. 332  
 Фрейман Ф. Ю. 243, 253  
 Фридрих VI 137  
 Харлов Э. 226, 227, 253  
 Хомяков А. С. 80  
 Храповицкий А. В. 235  
 Христиан VII 137  
 Цветаева М. И. 246, 247  
 Цебриков Н. Р. 296, 351  
 Цявловская (Зенгер) Т. Г.  
214, 221, 251, 257  
 Цявловский М. А. 269, 270,  
276  
 Чаадаев П. Я. 206, 232, 240,  
241  
 Чарторыйский А. 137, 138  
 Череповы 92  
 Чернецкий Л. 331  
 Черных В. А. 54  
 Чернышев А. Г. 229  
 Чернышев А. И. 27, 209  
 Чернышевский Н. Г. 79  
 Чернышевы 48, 253  
 Чертков В. А. 87  
 Чистов К. В. 62, 65, 187  
 Чистович И. А. 142, 143  
 Чичерин Б. Н. 21  
 Чумиков А. А. 194, 195, 250  
 Чхеидзе А. И. 213, 214, 217  
 Шанявский 327  
 Шарлотта 82  
 Шау 44, 45  
 Шаховской Ф. П. 303  
 Шванвич М. А. 207, 210,  
237, 238, 243, 253  
 Шедо-Ферротти (Фиркс Ф.  
И.) 343

- Шекспир В. 46  
 Шеншо 154, 156  
 Шепелев П. А. 236, 237  
 Шервуд И. В. 317, 319, 321  
 Шереметев Б. П. 61, 62  
 Шигаев М. Г. 239  
 Шильдер Н. К. 14, 18, 22,  
 40, 116, 117, 126, 131, 134,  
 138, 140, 190, 191, 208  
 Ширинский-Шихматов П. А.  
 70  
 Шлоссер Ф.-Х. 83  
 Шнейдер Ф. 298  
 Штакельберг Н. С. 11, 15—  
 17, 19  
 Штейнгель В. И. 34, 152,  
 155, 159, 296  
 Шувалов А. П. 304  
 Шувалов И. И. 66  
 Шувалов П. А. 322, 326,  
 335  
 Шульгин А. С. 184  
 Шульгин И. П. 251, 257  
 Шумигорский Е. С. 120, 123,  
 135  
 Щебальский П. К. 82  
 Щеголев П. Е. 260, 265,  
 267, 270, 272, 279, 281,  
 282, 284, 308, 314, 339  
 Щепин-Ростовский Д. А. 303  
 Щербатов М. М. 7, 61,  
 99—101, 106—109, 129,  
 157, 351, 355  
 Щербатов Ф. Ф. 241  
 Эйлер А. Х. 200  
 Элидин М. К. 337  
 Энгельгардт Л. Н. 350  
 Энно 154, 156  
 Юшневский А. П. 201  
 Яковлев В. И. 290  
 Якубович А. И. 315  
 Якушкин В. Е. 127  
 Якушкин Е. И. 98, 127,  
 252—255, 257, 258, 296,  
 315  
 Якушкин И. Д. 23, 34, 156,  
 158, 296  
 Яшвилъ В. М. 140  
 Яшин М. И. 263

# ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5
Глава I Сквозь тридцатилетнее молчание	9
Глава II «Не время ли теперь?..»	33
Глава III 1718—1858	55
Глава IV «Столетье безумно и мудро»	97
Глава V «На шестьдесят лет...»	131
Глава VI Обратное провидение	161
Глава VII «Замечания о бунте»	193
Глава VIII «Адские козни»	259
Глава IX Долгоруковские бумаги	295
Заключенные	349
Указатель имен	357





Натан Яковлевич  
Эйдельман

ГЕРЦЕН  
ПРОТИВ  
САМОДЕРЖАВИЯ

Редактор Ю. В. Мочалова  
Младший редактор В. М. Кузнецова  
Оформление художника А. А. Брантмана  
Художественный редактор В. И. Суриков  
Технический редактор Ж. М. Конобеева  
Корректор С. С. Новицкая

Сдано в набор 28 декабря 1972 г. Подписано в печать 23 июля 1973 г.  
Формат бумаги 84×100<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. № 1. Усл. печатных листов 17,94.  
Учетно-издательских листов 19,1. Тираж 25 000 экз. (1 завод 1—20000 экз.)  
А03030. Цена 1 р. 63 к. Зак. 3046.

Издательство «Мысль». 117071. Москва, В-71, Ленинский проспект, 15.

Московская типография № 5 «Союзполиграфпрома» Государственного  
комитета Совета Министров СССР по делам издательств,  
полиграфии и книжной торговли. Москва, Мало-Московская, 21.

Эйдельман Н. Я.

Э 30 Герцен против самодержавия (секретная политическая история России XVIII—XIX вв. и Вольная русская печать). М., «Мысль», 1973.  
367 с.

Книга рассказывает об одной из ярких страниц деятельности Герцена — политическом обличении царского самодержавия. В секретных архивах императорская власть хранила зловещие подробности о подавлении народных восстаний, о борьбе против революционеров и «крамольной» литературы, а также о дворцовых переворотах и схватках за власть между различными претендентами. Автор повествует о деле царевича Алексея, секретных конституционных проектах XVIII в., цареубийстве 11 марта 1801 г., Пушкине и декабристах, похищении Тайной полицией архива князя Долгорукова и т. д.

Вольная русская печать сыграла важную роль в борьбе передовой общественной мысли того времени.

Э 0164-0211 -79-73  
004(01)-73

9(С)1



---

Издательство  
«Мысль»